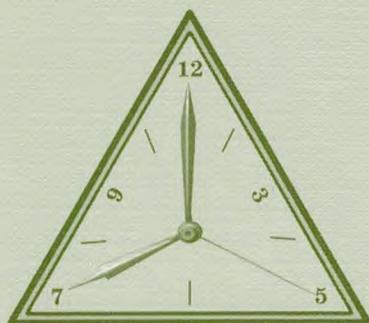


Александр МЕЛИХОВ

КОЛЮЧМЯ
ТРЕУГОЛЬНИК



ПУШКИНСКИЙ ФОНД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ММХІІІ



Александр МЕЛИХОВ

КОЛЮЧЬИ
ТРЕУГОЛЬНИК

КНИГА

ПУШКИНСКИЙ ФОНД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ММХІІІ

ББК 63.3(0)3
М47

Марка издательства работы
С. Семёнова

ISBN 978-5-89803-232-6

© А. Мелихов, 2013

**РУССКИЕ,
ЕВРОПЕЙЦЫ,
РУССКИЕ ЕВРОПЕЙЦЫ**

Роман России с Европой — многовековой, страстный и мучительный, мечущийся от пылкой любви до сильнейшей досады, граничащей с ненавистью, особенно если понимать под Европой всю европейскую цивилизацию, включая Америку. И те, кого в России можно назвать русскими европейцами, становятся то необыкновенно престижной группой, то, наоборот, чем-то вроде пятой колонны — русскими европейцами, то восхищаются, то, наоборот, ненавидят. И солидная толика этой ненависти частенько достается евреям, которых ошибочно принимают едва ли не за лидеров европейской модернизации.

Из-за этого вечного еврейского проклятия — мнимого лидерства — невозможно поговорить о русских европейцах, не припутывая евреев. Что придает разговору совершенно ненужное напряжение. Попробуем же заранее разрядить его, обратившись к абсолютно внеидеологическому советскому юмористу.

ЗОЩЕНКО И ЕВРОПА

Уже смешно — где Зоценко и где Европа? Кого в Европе можно поставить рядом с ним, родившимся из пены коммунальных стирок и тёрок? Ведь любая личность, спустившаяся из европейских заоблачных высей, непременно обладает ослепительным гардеробом, одеколоном, фотоаппаратом, брюкодержателем и так далее. А у нас что? Вот выйдешь, например, в поле, за город... Домишко какой-нибудь за городом. Забор. Скучный такой. Коровенка стоит этакая скучная до слез... Бок в навозе у ней... Хвостом треплет... Жует... Баба этакая в сером трикотажном платке сидит... Делает что-то руками. Петух ходит.

Ох, до чего это скучно видеть!

Да и в городе не лучше. Хотя, конечно, в данном случае, в этой скучной картине городской жизни автор берет людей мелких, ничтожных, себе подобных и отнюдь не государственных деятелей или, скажем, работников просвещения, которые действительно ходят по городу по важным делам и обстоятельствам...

Так примерно рисует Зоценко современную ему советскую действительность, а веселого читателя, «который ищет бойкий и стремительный полет фантазии и который ждет пикантных подробностей и происшествий», автор с легким сердцем отсылает к иностранным авторам».

Сам же автор «просто не рискует сочинять небывлицы о тамошней иностранной жизни.

Конечно, какой-нибудь опытный сочинитель, дорвавшись до заграницы, непременно бы тут пустил пыль в глаза читателям, нарисовав им две или три европейские картинки с ночными барами, с шансонетками и с американскими миллиардерами.

Увы! Автор никогда не ездил по заграницам, и жизнь Европы для него темна и неясна».

Иногда он, впрочем, позволял себе заграничные зарисовки, объясняя, почему у них, у буржуазных иностранцев морда более неподвижно и презрительно держится, чем у нас — как взято у них одно выражение лица, так и смотрится с этим выражением на все остальные предметы. Ибо буржуазная жизнь довольно беспокойная, без такой выдержки они могут ужасно осрамиться: там уж очень исключительно избранное общество, кругом миллионеры расположились, Форд на стуле сидит, опять же фраки, дамы, одного электричества горит, может, больше как на двести свечей...

Западная «красивая жизнь» в глазах Зоценко годилась лишь для пародирования. Или не для самого Зоценко, но лишь для его Повествователя? После сталинского удара, обрушившегося на голову невинного, казалось бы, юмориста, его жена написала лучшему другу писателей длиннейшее письмо, в котором среди излишней любви к вождю и оправданий своего суженого упомянула и о том, что Зоценко всегда отказывался от заграничных приглашений, «так как не видел для себя никакого интереса в этих поездках».

В конце письма самоотверженная заступница выражает робкую надежду, что ее несчастный спутник жизни когда-нибудь все-таки сумеет изобразить красоту и величие наших людей и нашей неповторимой эпохи — теперь он ясно осознал всю необходимость для народа именно такой «положительной» литературы, «воспитывающей сознание наших людей, особенно молодежи, в духе наших великих идей». Вряд ли Сталин поверил хоть на миг в способность Зоценко воспитывать молодежь в духе сталинских идей, но продолжение могло его заинтересовать: «Если же такая работа окажется выше его сил и возможностей, может быть, он напишет... сатирическую комедию, осмеивающую жизнь и нравы капиталистической эпохи».

Даже любопытно, что можно написать про капиталистическую границу, никогда не бывая там и не видя в том никакого интереса. Однако социальный заказ заключался именно в этом. Написанную впоследствии комедию так

никто и не увидел, но продовольственную карточку Зоценко восстановили. В соответствии с девизом Остапа Бендера «Европа нам поможет!»

Комедия называлась «За бархатным занавесом» (с намеком на занавес железный), и действовал в ней миллионер барон Робинзон, который, опасаясь покушений, завел себе двойника по имени Браунинг, а Браунинг, не будь дурак, подменил миллионера собственной персоной.

Комедия была отвергнута из-за недостаточной злобности по отношению к миру чистогана, недотянув до таких шедевров, как «Русский вопрос» Симонова, «Голос Америки» Лавренева, «В одной стране» Вирты и «Миссурийского вальса» Погодина (оскоромился и гениальный Платонов, попытавшийся вписаться в холодную войну «Ноевым ковчегом»). И все же насмешка над шикарной европейской жизнью в этой несостоявшейся комедии наверняка была неподдельной. Ибо не только о брюкодержателях, но и о европейских писателях Зоценко отзывался с явной иронией (с подтекстом: у нас хоть и серенькая, зато правда, а у них пусть и блеск, зато фальшь).

«В самом деле — иностранцы очень уж приятно пишут. Кругом у них счастье и удача. Кругом полное благополучие. Герои все как на подбор красивые. Ходят в шелковых платьях и в голубых подштанниках. В ваннах чуть ли не ежедневно моются. А главное — масса бодрости, веселья и вранья».

Разумеется, как всегда у Зоценко, это на три четверти, если не на девять десятых, пародия, но в подтексте опять-таки истинное чувство: ничего серьезного они сказать нам не могут — слишком уж разная у нас жизнь. А потому каждый, кто в Советской России корчил европейца, носил имя Теодор или Андреус, в мире Зоценко оказывался особенно смехотворным. А Мишель еще и жалким до слез. Тогда как естественные порождения российско-советского быта жалкими не были.

Зоценко населил советское мироздание невероятно забавными куклами, как и у Гоголя, лишенными внутреннего мира, — лишенными теплых и горьких воспоминаний, любви

к родителям и детям, ночной тоски, тревог за будущее, — что позволяло потешаться над ними, не испытывая сострадания. Хотя, если бы мы признали их существами, подобными нам самим, нами бы овладел ужас: все их жизненные силы отданы борьбе за хоть какое-то подобие нормального («мелкобуржуазного») человеческого существования. Но если им выпадают два билета в театр для развлечения пригланувшейся дамочки, то их кресла непременно оказываются в разных местах, а в антракте у них не хватает денег на пирожные. В бане у них «смывается» привязанный к ноге номерок, по которому им должны выдать пальто в гардеробе. В больнице их укладывают в одну ванну с неизвестной старухой — словом, они всегда терпят смехотворные неудачи, но при этом никогда не приходят в отчаяние: советский абсурд для них в порядке вещей.

В этом мире любые иностранные имена прозвучали бы пышной нелепостью — скажем, Великобритания. Или лорд Байрон, чемпион романтического пессимизма. А между тем Зоценко в своих воззрениях на человеческий род куда больший пессимист, чем Байрон. Байрон презирает людей с высоты неких идеалов — в мире Зоценко идеалисты ломаются первыми, превращаясь в лучшем случае в хамов и жуликов, а в худшем прямо-таки в троглодитов, прячущихся под землей. В мире Байрона есть по крайней мере две стихии, которые он ощущает величественными — это история и природа, — в мир Зоценко природа проникает разве что в самом затрапезном виде, а в его истории («Голубая книга») действует такое же жлобье, как в любой коммуналке.

Зоценко оскорблен не столько властью тиранов, сколько вообще властью материи над духом, «анатомической зависимостью». По обыкновению изображая простачка, он оскорбляется вещами более чем серьезными — почему, например, человек главным образом состоит из воды, что он, гриб или ягода? Да и все остальное в человеке в высшей степени посредственное, уголь, кажется...

В энтомологическом мире Зоценко все настолько посредственное, что требуется некоторое умственное напряжение, чтобы понять, что это тот самый тоталитарный мир, который послужил источником мрачного вдохновения самому

Оруэллу. В мире Оруэлла возможна трагедия: любовь, встающая против власти лозунгов, критическое мышление, посягающее на тотальный контроль, — в мире Зоценко нет ни лозунгов, ни любви, ни мышления, его герои сходятся и расходятся в силу примитивнейших житейских обстоятельств, а лозунги в их речь проникают лишь в пародийном обличье. В этом мире нет места идеологии, царит там лишь одна тотальная власть — власть куска хлеба и уголка жилплощади. Если туда и проникает история — скажем, в виде юбилея Пушкина, — то на обитателях этого мира он сказывается единственным образом: их выселяют из чудом добытой каморки, которую поэт «осчастливил своим нестерпимым гением».

И все же Зоценко был почти любим творцами советской истории, покуда его сатира воспринималась как обличение «мещанства», «родимых пятен старого мира». Однако по окончании войны Сталин понял, что под пером Зоценко не только рядовые «советские люди», но и любые кумиры, сколько ни поливай их сиропом, все равно обретут черты забавной марионетки. И Сталин подал сигнал...

Вот тогда-то в августе 1946-го в докладе партийного босса А. Жданова Зоценко был назван пошляком и подонком, проповедником гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, лишен «рабочей» продуктовой карточки; издательства, журналы и театры стали разрывать заключенные с ним договоры, требуя возврата авансов...

Писатель-орденоносец перебивался переводами, распродал вещи и даже пытался подрабатывать в сапожной артели. Стараясь хоть немного «отмыться», он написал Сталину письмо, поразительное по искренности и наивности.

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

Я никогда не был антисоветским человеком. В 1918 году я добровольцем пошел в Красную Армию и полгода пробыл на фронте, сражаясь против белогвардейских войск.

...Меня самого никогда не удовлетворяла моя сатирическая позиция в литературе. И я всегда стремился к изображению положительных сторон жизни. Но это было нелегко сделать — так же трудно, как комическому актеру играть героические образы.

...Прошу мне поверить — я ничего не ищу и не прошу никаких улучшений в моей судьбе. А если и пишу Вам, то с единственной целью несколько облегчить свою боль. Я никогда не был литературным пройдохой или низким человеком, или человеком, который отдавал свой труд на благо помещиков и банкиров. Это ошибка. Уверяю Вас».

Однако никакой ошибки не было: Сталин и не предполагал, что Зощенко трудится на благо помещиков и банкиров — достаточно было того, что мироощущение Зощенко не совмещалось не только с коммунистическим, но и ни с каким другим пафосом: «Жизнь, на мой ничтожный взгляд, устроена проще, обидней и не для интеллигентов».

В этой жизни нет места ни подвигам, ни иностранцам. И надо же судьбе было так повернуть фабулу, чтобы заключительный удар певцу советской затхлости нанесли англичане...

После смерти Сталина положение Зощенко начало было чуточку налаживаться, но тут в мае 54-го, во исполнение все того же лозунга «Европа нам поможет!», туристическая группа английских студентов попросила устроить им встречу с Зощенко и Ахматовой. Одержимые благими намерениями юнцы пожелали знать, согласны ли те с инквизиторским постановлением. Ахматова гордо сказала «да» (ее сын находился в Гулаге), а Зощенко ответил, что кое с чем не согласен.

Новая волна травли ввергла его в глубокую депрессию, которая в сущности и свела его в могилу. Незадолго до смерти, на юбилее Евгения Шварца Зощенко произнес печальные слова: «Когда-то я хотел от людей доблести, потом хотел порядочности, а сейчас хочу только приличий».

Он хотел немногого, но и этого не получил...

Зато его герои, пропустив над головой все идеологические цунами, не позволили идеократии проникнуть в глубину бытия. Можно сказать, что именно они гораздо в большей степени, чем интеллектуалы, подготовили явление демократии и либерализма.

* * *

В 2010 году Россию объявили главным экспонентом лондонской книжной ярмарки. Итоговое впечатление: детей и внуков тех английских студентов мало интересуют российские писатели в каком-то ином качестве, кроме как в качестве жертв тоталитарного режима.

И это совершенно нормально — каждый народ создает свою культуру для эстетизации собственной, а не чужой жизни. Попробуйте найти в классической русской литературе возвышенный образ иностранца, хоть того же англичанина. Если это не Байрон. Или француза. Если это не Наполеон.

Тем не менее, когда Наполеон двинул свою рать на Россию, его романтические поклонники все как один поднялись на борьбу с ним. И лишь после его падения начали снова воспевать его скалу, гробницу славы, где погружались в хладный сон воспоминанья величавы...

Вновь увлекшись европейским духом только после материальной победы.

Так всегда и бывает — экзистенциальное побеждает социальное. Ибо в эмоциональном слиянии со своим потенциально бессмертным народом — вернее, с его идеализированным образом, созданным системой иллюзий, чье имя «национальная культура» — человек ищет спасения от чувства незащитности перед смертью, старостью, болезнями, утратами, тогда как в социальной борьбе он стремится всего лишь к комфорту. Поэтому в межнациональной конкуренции соблазн эффективнее насилия.

Чтобы победители Гитлера вослед победителям Наполеона не принесли с Запада нового декабризма, Сталин почти сразу же после войны развернул борьбу с «низкопоклонством перед Западом». Велась она методами крайне топорными, что, впрочем, не означает ее неэффективности по отношению к малообразованной массе: чувство превосходства над Западом укрепляло ее экзистенциальную защиту и тем самым укрепляло и привязанность к своей стране. Зато интеллигенция, защищенная чувством принадлежности

к более высокой цивилизации, до сих пор изображает эту кампанию вполне анекдотической — «Россия — родина слонов».

В этом и заключается одна из важнейших функций всякой культуры или субкультуры — в изображении своих врагов смешными и отвратительными (по контрасту с собой). И сегодня мы можем тешить себя уверенностью, что все талантливые, а особенно гонимые сталинизмом творцы относились к антизападной кампании с осознанным презрением, ибо все они были тайными русскими европейцами. Однако же Зощенко русским европейцем не был, он принял участие в этой кампании хотя и без успеха, но, скорее всего, по зову сердца. Его скепсис носил не избирательный, но тотальный, экзистенциальный характер и относился ко всему роду человеческому, а отнюдь не к одной лишь шестой части суши. Он готов был осмеивать всякого, кто стал бы воображать о себе слишком много. А Европа, ему казалось, именно так о себе и воображала, как будто буржуазные иностранцы не состоят из той же самой персти земной, что и обитатели коммуналок — как гриб или ягода.

И то, что Сталин не подключил Зощенко к антизападной пропаганде, было его несомненным упущением.

Политики слабо разбираются в экзистенциальном, все они живут под низким, социальным небосводом, видят главных врагов друг в друге, тогда как главным врагом человеческого рода является физика — материальная, подверженная распаду природа человека.

При всем при этом Сталин вообще-то старался не упустить случая очаровать западную интеллигенцию коммунистической грезой с собою во главе.

ЕВРОСТАЛИНИЗМ

В петербургском БДТ имени Товстоногова шиллеровский «Дон Карлос» идет с успехом прочным, но не оглушительным, поскольку оглушительной бывает только пошлость. А театр платить эту дань не желает, тем более что и мир Шиллера с самого начала задумывался как мир высоких страстей, противостоящий миру суеты. В этом мироздании даже канонический злодей Филипп Второй, которого гениально играет Валерий Ивченко, предстает бесконечно одиноким, тоскующим по элементарной человечности, трагическим рабом своей католической химеры, убежденным, что доверчивость и милосердие губительны для властителя, ведущего Большую Игру в клубе (в клубке) великих держав. Такова природа трагедии — любой серьезный конфликт изображать как столкновение двух правд, а не как столкновение добра и зла.

Зато народный эпос, не менее величественно воссозданный Шарлем де Костером в «Легенде об Уленшпигеле», изображает Филиппа мерзким садистом, истязавшим людей безо всякой идеологии, из бескорыстной любви к истязаниям: еще ребенком, хилым уродцем, он сжигает невинную обезьянку, а взрослым правителем заставляет кошек «играть» на клавишине, прижигая им хвосты. Для эпического сознания усмотреть в личности врага какие-то человеческие черты означает искать ему оправдания, изменить своему народу.

Вот два главных метода исторической памяти — либо возвышать всех, либо предельно поляризовать друзей и врагов — в друзьях ни пылинки зла, во врагах ни искорки добра.

Интеллигентское сознание эпично. В наиболее чистом своем воплощении оно воображает Сталина бескорыстным садистом,

творящим зло исключительно из ненависти к красоте и добру. В более же идеологизированной версии (например, солженицынской) Сталин — приглуповатый раб коммунистической химеры («Учения»), стремящийся подчинить ей все страны и языки без всякой выгоды для собственного государства. На этом, отечественном фоне особенно интересно рассмотреть, каким виделся вождь мирового пролетариата его выдающемуся младшему современнику Джорджу Оруэллу, мечтавшему послужить этому самому пролетариату, хотя бы и ценой жизни, в Испании, сражаясь в рядах наиболее последовательной компартии POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista — Объединенная марксистская рабочая партия). У Оруэлла не было причин ненавидеть Сталина за уничтожение и унижение наших кумиров, он наверняка не слышал имен Вавилова, Мандельштама, Платонова; ни он сам, ни его близкие никоим образом не участвовали в борьбе за власть в Стране Советов и нисколько не пострадали от сталинских репрессий — Оруэлла волнует отнюдь не судьба советской интеллигенции, более всего волновавшая ее самое и ее наследников, но именно, без дураков, борьба за освобождение рабочего класса. То есть он судит Сталина именно как преданный слугитель коммунистической химеры.

И его возмущало прежде всего то, что Сталин этой химере изменил: «Коммунистическое движение в Западной Европе началось как движение за насильственное свержение капитализма, но всего за несколько лет оно выродилось в инструмент внешней политики России». Политики вполне традиционной — поиска сильных союзников, способных дать отпор потенциальному агрессору, при очень слабой озабоченности их идеологической окраской. Иными словами, по мнению Оруэлла, договоры с капиталистическими державами во имя единого антифашистского фронта сделались для Сталина важнее международного рабочего движения — он предал коммунистическую грезу во имя государственных интересов Советской России. Оруэлл использует даже страшное клеймо из коммунистического словаря — оппортунист!

Мало того, сталинские ставленники из Коминтерна ради умиротворения своих капиталистических союзников были готовы расправиться (и расправлялись, Оруэлл сам едва унес ноги) с теми, кто оставался верен делу рабочего класса!

Тем не менее как истинный интеллеktуал Оруэлл сильнее ненавидит даже не тех, кто расправлялся, находясь на передовой исторической борьбы, а тех, кто оправдывал измены и расправы, сидя в безопасной Англии — «людей, духовно раболепствующих перед Россией и не имеющих других целей, кроме манипулирования британской внешней политикой в русских интересах». Он называл их рекламными агентами России, солидаризирующимися с русской бюрократией, готовыми во вторник считать гнусной ложью то, что еще в понедельник было безоговорочной истиной.

«Пришел к власти и стал вооружаться Гитлер; в России стали успешно выполняться пятилетние планы, и она вновь заняла место великой военной державы. Поскольку главными мишенями Гитлера явно были Великобритания, Франция и СССР, названным странам пришлось пойти на непростое сближение. Это означало, что английскому и французскому коммунисту надлежало превратиться в добропорядочного патриота и империалиста, то есть защищать все то, против чего он боролся последние пятнадцать лет. Лозунги Коминтерна из красных внезапно стали розовыми. «Мировая революция» и «социал-фашизм» уступили место «защите демократии» и «борьбе с гитлеризмом». Однако самым поучительным во всех этих метаморфозах для Оруэлла было то, что именно в антифашистский период молодые английские писатели потянулись не к демократическому, но к коммунистическому антифашизму.

И причины этого были, как всегда, не материальные, но психологические, экзистенциальные — желание слиться с чем-то могущественным, долговечным и несомненным. «Вот оно, все сразу — и церковь, и армия, и ортодоксия, и дисциплина. Вот она, Отчизна, а — года с 35-го — еще и Вождь. Вся преданность, все предубеждения, от которых интеллект как будто отсекся, смогли занять прежнее место, лишь чуточку изменив облик. Патриотизм, религия, империя, боевая слава — все в одном слове: Россия. Отец, властелин, вождь, герой, спаситель — все в одном слове: Сталин. Бог — Сталин, Дьявол — Гитлер, Рай — Москва, Ад — Берлин. Никаких оттенков. «Коммунизм» английского интеллеktуала вполне объясним. Это патриотическое чувство личности, лишенной корней».

Упиваясь обретением этих корней, ученики начинают воспевать убийства, возносясь даже выше своих учителей. «Мы добровольно повышаем шансы смерти, Принимаем вину в неизбежных убийствах» — об этих строках Одена из поэмы «Испания» Оруэлл отзывается следующим образом: «Так мог написать только человек, для которого убийство — фигура речи, и не более. Лично я не мог бы бросаться такими словами с легкостью. Мне довелось во множестве повидать убитых — не погибших в бою, а именно жертв убийства. И у меня есть кое-какое представление о том, что означает убийство, — это ужас, ненависть, рыдания родственников, вскрытие, кровь, зловоние. Для меня убийство — нечто такое, чего допускать нельзя. Как и для любого нормального человека. Гитлеры и сталины считают убийство необходимостью, но и они не похваляются своей задубелостью, не говорят впрямую, что готовы убивать: появляются «ликвидация», «устранение» и прочие успокоительные эвфемизмы. Аморальность, демонстрируемая Оденем, возможна лишь при том условии, что в момент, когда спускается курок, такой аморалист находится в другом месте».

Намек достаточно прозрачен? Сталинизм заполняет пустоты, выжженные индивидуалистическим либерализмом, замыкающим человека в его личной шкуре. Те, кто ощущает себя частью чего-то бессмертного — народа, науки, искусства, церкви или даже семейного клана — в подобных суррогатах вечности не нуждаются. «Для душевной потребности в патриотизме и воинских доблестях, сколько бы ни презирали их зайцы из левых, никакой замены еще не придумано», — так вот умел выразиться главный обличитель тоталитаризма!

Однако лично я склонен думать, что патриотизм и воинские доблести были только служебными средствами более глубокой потребности — потребности ощущать себя большим и сильным, прокладывать новые пути в Истории, а для этого нужно было идентифицироваться с могучим игроком — пока Советская Россия оставалась слабой, никакого «советского патриотизма» в рядах британской интеллигенции не наблюдалось: «История русской революции от смерти Ленина до голода на Украине абсолютно не затронула английское сознание. Все эти годы Россия означала только одно: Толстой, Достоевский и бывшие графы за рулем таксомоторов».

Знали бы левые интеллектуалы, что ненавистная им буржуазия тоже способствовала темпам советской индустриализации, торопила Сталина побыстрее купить то оружие, которым он намеревался с нею сразиться. Когда, встревоженный нарастающим голодом, в 1931 году отец народов попросил у своих западных партнеров дозволения убавить масштабы советского экспорта, ему было отказано в очень строгой форме.

Так, например, британский торговый советник передал, что невыполнение принятых обязательств вызовет отказ в дальнейших кредитах, а будущие экспортные поставки и даже советская собственность за границей вплоть до оказавшихся там судов могут быть конфискованы для покрытия долгов. В этом же духе в начале 1932 года высказался немецкий канцлер Брюнинг: или платите — или более никаких кредитов.

В Большой Игре скидок не делают. Если даже впоследствии придется расплачиваться самим.

Меры строгости тоже подталкивали Сталина к сталинизму...

* * *

Но каков же урок? Европа соглашается ценить только ту Россию, которая является одним из творцов истории. А любить лишь ту, которая несет ей какую-то красивую сказку, укрепляет износившуюся экзистенциальную защиту. Повторять Западу: «Мы тоже европейцы, мы тоже нормальная европейская страна или, по крайней мере, хотим ею быть!» — означает напрашиваться на ответ: «Тогда зачем вы нам нужны? Зачем нам копия, если у нас уже есть оригинал — мы сами?» Ощущать себя единственными цивилизованными людьми в варварской стране — для личной экзистенциальной самообороны это, может быть, и неплохо, но для дела совершенно контрпродуктивно: даже самые очевидные уроки принимаются лишь от тех, кто ощущается «своим», укрывается с молчаливым большинством под общей экзистенциальной крышей.

КОММУНИЗМ, НАЦИОНАЛИЗМ, ЛИБЕРАЛИЗМ — КОНКУРЕНЦИЯ ГРЕЗ

Заранее прошу прощения, если читателю уже известно, что я рассматриваю историю человечества прежде всего как историю зарождения, борьбы и распада коллективных фантомов, коллективных иллюзий, коллективных грез, и так называемая история общественной мысли для меня есть главным образом история общественных грез, являющихся под маской рациональности. Иногда требующих, как, скажем, марксизм или расизм, серьезного квазинаучного оснащения и все-таки овладевающих массами благодаря, в первую очередь, вечно живым сказкам, пульсирующим под сухим панцирем подтасованных цифр и полувыдуманных фактов.

Собственно говоря, и всякое мышление, по-видимому, есть не что иное как подтасовка, подгонка фактов под желаемый результат, и от ученого можно требовать разве что соблюдения главных пунктов научного кодекса: быть открытым чужим подтасовкам и не обращаться за поддержкой к толпе. А в остальном...

Доказанных утверждений вообще не бывает — бывают лишь психологически убедительные, то есть очаровывающие, поражающие воображение. На поверхностный взгляд, чарующие грезы делятся на коллективные и индивидуальные, но на самом деле практически все значимые личные фантазии могут существовать лишь в качестве ответвлений коллективных, а коллективные становятся материальной силой только тогда, когда им удается очаровать индивида, — обычно наделяя его воображаемой картиной мира, внутри которой он начинает представляться себе красивым и, может быть, даже бессмертным — или хотя бы уж причастным к чему-то прекрасному и долговечному. Именно отсюда берется та огромная фора, которую социальные грезы имеют перед индивидуальными, ибо даже самый силь-

ный и прославленный человек в трезвые минуты не может не ощущать своей мизерности и мимолетности перед лицом грозной вечности.

Однако национальные фантазии имеют серьезное преимущество даже перед фантазиями корпоративными, ибо индивиду трудно удовлетвориться воодушевляющей сказкой о себе, которая не включала бы какой-то красивой легенды о его происхождении, а из сказок корпоративных лишь очень немногие уходят в таинственную поэтическую древность, из которой истекают все национальные сказки: сказка личности почти невозможна без сказки рода. Либеральная же, индивидуалистическая греза, боюсь, останется совершенно неконкурентоспособной, если не придумает и не будет настаивать на каком-то своем древнем благородном происхождении, на какой-то форме служения чему-то бессмертному (наследуемому), ибо не страдать от ощущения собственной мизерности и мимолетности умеют, повторяю, лишь немногие счастливы, сверхчеловеки и недочеловеки.

* * *

Борьбу народнической грезы с монархической, марксистской с народнической, интернациональной с национальной мы знаем только по книгам, но вот рождение западной, а точнее американской сказки я самолично наблюдал на рубеже шестидесятых в глубочайшей провинции, откуда Кокчетав смотрелся солидным столичным городом, и наблюдал притом в социальных низах, безусловно далеких от разлагающей столичной культуры. Однако и эта святая простота не жила без возвышающих обманов: для высоких, патетических переживаний — мы русские, мы советские, мы самые крутые; немцы — фашисты, но мы им вломили, французы, англичане — да есть ли они вообще? — единственный заслуживающий внимания народ — американцы, наглецы, которые всюду суют свой нос, но, в сущности, трусы (любую деревушку два часа бомбят прежде чем сунуться) и дурачье: один американец засунул в анус палец и думает, что он заводит патефон. Бытовая же красота, ощущение собственной крутости обеспечивалось в основном блатной романтикой: фиксы желтого металла, насаженные на здоровые зубы, финки за подвернутым кирзовым голенищем, расплывчатые

наколки и душераздирающие романсы, повествующие о том, как отец-прокурор приговорил к расстрелу собственного, им же когда-то позабытого-позаброшенного сына...

«А Гарри, он сражался за двоих, он знал, что ему Мери изменила», «Дочь рудокопа, Джанель, вся извиваясь, как змей, с шофером Гарри без слов танцует танго цветов», — все это было и в те кристальные времена, но — без малейшего низкопоклонства, извечная бесхитростная музыка иностранных имен, так пленяющая слух в позах Северянина: «принцесса Юния де Виантро». Но вот когда миллионы юношей и девушек переименовывают лимонад в кока-колу, пляску святого Витта в рок, жевательную «серу» в чингвам, а улицу Ленина в Бродвей, тут же сокращенный до ласковой фамильярности Брода (хотя, казалось бы, в огне Брода нет): ходят все по Броду и жуют чингвам, и барабара-барают стильных дам, — здесь уже явственно зазвучала современная американская мечта...

Вплоть до таких, скажем, нюансов: в ресторане (где ни рассказчик, ни слушатели никогда не были, — до ближайшего ресторана верст этак сто пятьдесят) какой-то распоясавшийся негр (до ближайшего негра верст этак тысячи три) начал тащить девушку танцевать, а ее парень вступиться не смел — как же, мол, дружба народов и всякое такое, — но тут встает благородный незнакомец и ка-ак врежет!.. Негр, естественно, улетает под стол, а избавитель покровительственно разъясняет: «Мы их в Америке вот так и учим». Заимствовать так заимствовать. Такая вот всемирная отзывчивость русского человека.

Доброй мечте все впрок: даже в фильмах о несчастных безработных, которые демонстрировались для нашего устрашения, мы выискивали какую-то романтику. «Последний дюйм» — безработному летчику акула отгрызает руку, — ну так и что: зато пальмы, кораллы, риск... Всяко покрасивше, чем наша тусклота! И этот трагический мужественный бас за кадром: какое мне дело до всех до вас, а вам до меня... Это для тех, кто попозже подсел на Ремарка: никакой политики, никакой философии — только друг, любимая, ром, красивая смерть... И у Хемингуэя все трагедии тоже красивые, с красивыми напитками: кальвадос, дайкири...

Но надо отметить, пресловутого «низкопоклонства» в наших чувствах не было ни тени, как и во времена аристократического западничества: так какой-нибудь Герцен, убежденный, что России необходимы все западные институты, защищающие личность от государственного произвола, относился к англичанам, французам, немцам не то чтобы на равных, но даже несколько свысока, то с благодушной, то с саркастической насмешкой. Так только и может быть достигнуто гармоничное сожительство народов: каждый, расшаркиваясь в совершеннейшем почтении, тайно считает себя все-таки получше — как, скажем, шахматист в глубине души презирает ломовую силу штангиста, а штангист — неспособность этого дохляка перекреститься хотя бы пудовой гирей.

Вот и в кружке моих университетских друзей, поклонников Ремарка и Хемингуэя, решительно все были русскими европейцами, однако никому и в голову не приходило сделаться немцами либо американцами — мы хотели, чтобы тамошние романтические штуки были и у нас, и не более того, — чтобы они нам служили, а не мы им.

Новую грезу, как и во все времена, творило прежде всего искусство, которому ничего невозможно возразить, потому что оно ничего прямо и не утверждает, но лишь очаровывает. И верх берет та сказка, в которой человек чувствует себя более красивым, более крутым. Именно поэтому коммунистическая сказка даже у романтиков (а они-то и составляют авангард всякой «идеи», то бишь химеры) в наши шестидесятые начала искать пищи исключительно в прошлом, где только и водились «настоящие коммунисты» — Ленин в Лонжюмо, комиссары в пыльных шлемах... Это была агония: полнокровная химера не отворачивается от фактов, но умеет интерпретировать их в свою пользу.

К восьмидесятым годам западническая греза обрела уже и рациональную либеральную маску: рынок, частная собственность, свободные выборы, разделение властей, подлинная дружба народов... Ведь это же только осточертевшие коммунисты ссорят нас с Западом! В наиболее раскрепощенной версии либеральной сказки насилью вообще предстояло быть вытесненным взаимовыгодным обменом.

Как и всякая другая туманная мечта, либерализм обретал и обретает относительную отчетливость в самых противоположных версиях от свирепого социал-дарвинизма (каждый за себя, что не продается, то и ничего не стоит, и проч.) до глубоко человеческого желания освободить многострадальную личность от любых оков вплоть до стен собственного дома; общее у них только одно — недоверие ко всему сверхличному. Это нормально, коммунизм тоже одним грезились в виде всеобщей дружбы и любви, а другим в виде стальных когорт, скованных железной дисциплиной, — но и там, и там все должно было делаться сообща.

* * *

Сегодня коммунистическая греза скорее мертва, чем жива. Все вроде бы на месте — генсек, партия, знамена, Ленин, Сталин, но нет сказки, сплошной прагматизм: пенсии, зарплаты, изъятие природной ренты... Ни грана поэзии, ни проблеска дивного нового мира, без России, без Латвий, без конкуренции и эксплуатации. Издыхающая коммунистическая химера пытается подпереться национальной, но и та, если судить по почвенническим толстым журналам, погружена в уныние и безнадежность: всемирному потоку эгоизма, рациональности, потребительства, американизации в сегодняшней картине мира, похоже, уже ничего не противостоит, да и никакое светлое национальное будущее ниоткуда не светит, — одна надежда на Бога и Историю, на русскую духовность и великих предков. Единственная свежая версия всемирного потопа встретила лишь у г-на Любомудрова, в баснословные года перестройки явившегося из туч в пророческом облачении: то, что мы называем американским духом, есть на самом деле еврейский дух, американский народ сделался жертвой еврейской агрессии и сам нуждается в интернациональной помощи. Но этот парадокс излагается так вяло, без огонька, как будто в еврейский фантом не верят и сами те, кто пытается морочить им других. Тем более что и окончательное решение еврейского вопроса в России (окончательная ассимиляция последних еврейских могикан) дело одного-двух поколений.

Словом, либеральной, западнической грезе ничего бы не стоило уложить на лопатки столь хилых соперниц, если

бы — если бы и она сама не пребывала при последнем издыхании: сегодняшняя борьба грез («идей») напоминает параолимпийские игры, в которых состязаются инвалиды. Борцы вроде бы пыхтят, но все они парализованы. И в западной сказке сегодня тоже почти не ощущается никакой обольстительной, поэтической компоненты, которая позволила бы ее приверженцам ощутить себя солью земли. Искусство, чья главная функция и заключается в формировании коллективных иллюзий, практически не занимается ни поэтизацией будущего России как «нормальной европейской страны», ни героизацией пионеров модернизации, ни, наконец, воспеванием прелестей скромной частной жизни для тех, кто не поспел в ногу с веком. Случайно включая телевизор, натыкаешься либо на идиллическое советское прошлое, либо на бандитское настоящее. Телевидение почему-то находит более выгодным транслировать субкультуру неудачников, которым легче уважать себя, если верить, что все кругом куплено, честь и закон в презрении, в институт без взятки не поступить... Впрочем, если в стране неудачниками себя ощущает большая часть населения, то это вполне рациональная позиция.

Можно сказать, что западники выиграли в мире реальностей, но проиграли в мире фантазий, в котором люди в основном и пребывают, отбирая и интерпретируя реальные факты в соответствии с воображаемой картиной мира. Ветераны оппозиционной либеральной публицистики сами сетуют на то, что молодые журналисты стремятся не к борьбе за идеалы свободы и демократии, а прямо к бабкам, — но ведь и это можно считать победой индивидуалистической рациональности, ибо за право человека служить личной корысти первыми всегда подымались идеалисты, покуда подлинными корыстолюбцами выжидали, чья возьмет.

В этой мелкотравчатой расчетливости есть и свои серьезные плюсы: меньше романтиков — меньше авантюристов и властолюбцев, ибо святая ненависть борцов за свободу слишком часто порождается завистью неудавшихся тиранов к удавшимся. Да, упадок коллективных грез приводит к росту самоубийств, алкоголизма, наркотизации, но он же уничтожает утопические химеры. Жаль только, что наиболее опасные химеры и оказываются наиболее живучими — распространенное свойство низших организмов. Несмотря

на то что в почвеннических журналах царит уныние, под почвой бурлят силы уж не знаю, насколько мощные количественно, однако качественно поистине чудовищные: какая же одержимость требуется, чтобы убивать не просто ни в чем не повинных людей, отклоняющихся от закрепившегося в воображении убийц антропологического стандарта, но еще и детей, девочек!...

Нет, лучше уж политическая апатия, ибо нормальный фашист — это всего-навсего простой человек, решивший без отлагательств спасти родину, — пусть уж лучше он мирно пьет пиво и смотрит телесериалы. Жаль только, что и они не столько умиротворяют, сколько будоражат человека, обладающего простой, непротиворечивой моделью социального бытия, хотя лишь в умиротворении примитивных и заключается единственный эффективный метод профилактики фашизма. Простой человек может быть только мирным жителем либо фашистом, у него просто нет иного выбора, поскольку фашизм и есть бунт простоты против трагической сложности и противоречивости социальной жизни.

Впрочем, об опасности фашизма в приличном обществе говорить не положено, дабы не отступить от первой и последней заповеди либерального интеллигента: несть зол, аще не от власти.

Умиротворить же простого человека, равно как и любого из нас, можно единственным способом: внушить ему картину мира, в которой бы он чувствовал себя красивым и значительным, экзистенциально защищенным. Последние мигом либеральной пропаганды, замороженные собственной сказкой, поступают крайне необдуманно, с пренебрежением относясь к чужим иллюзиям, требуя, чтобы ординарные люди жили в мире реальных фактов, несомненно вредоносных для правящего режима, но оставляющих и рядового россиянина без психологической защиты. Отнимая одни защитные иллюзии, нужно немедленно выдавать новые, оставаться голыми на морозе вселенского хаоса соглашаются одни лишь самоубийцы.

Впрочем, простой человек и сам сумеет постоять за территориальную целостность своих иллюзий, где нужно, прямо затыкая уши, а где можно — перетолковывая неприятные

факты в пользу своей, а не чужой сказки. Вот эта-то оборонительная неформальная цензура в тысячу раз более непроницаема для рациональных разоблачений, чем формальная цензура казенная. Поэтому почти бесполезно разоблачать чужие сказки — нужно обольщать собственными.

Что невозможно без помощи искусства.

Однако вожди российских либеральных западников пребывают от всякой художественности, пожалуй, даже еще дальше, чем вожди коммунистов от коммунизма. Справедливо сетуя на то, что пространство свободы слова в последние годы чрезвычайно сузилось, либеральные оппозиционеры забывают о том, что при советской власти это пространство практически полностью отсутствовало, зато общество с невообразимой сегодня жадностью ловило любые дискредитирующие власть намеки в толстых журналах, в кино, в театрах, — и эти неустанно творимые и ловимые обществом формально аполитичные образы постепенно превратили советскую сказку из сияющего облака в вонючий клуб дыма.

Почему же сегодня ничего подобного не происходит при несравненно более благоприятных внешних условиях? Почему ни серьезные художники не рвутся сотворить нечто эзоповское, ни публика не стремится подставить жаждающее правды ухо? Да потому, что прежняя правда дарила людям надежду, альтернативную воодушевляющую сказку, а нынешняя, как им кажется, отнимает последнюю. Уж мир-то творческих фантазий сегодня совершенно свободен, и тем не менее ни один серьезный писатель не фантазирует на социально-оптимистические темы, в том числе и либерально-западнического толка, — никто не очарован грезой, которая была бы способна вытеснить своих полуживых соперниц. Поэтому, если даже внезапно все рупоры и экраны распахнутся для свободного слова, утратившая иллюзии публика сама потребует цензуры — или замкнет и зрение, и слух.

Но прятаться особенно и не от кого: даже журнальная критика, этот вечный интеллектуальный авангард российской публицистики не пытается сделаться политической силой, хотя и на нее заметного давления не оказывается —

слишком уж мизерно наше потенциальное влияние на злободневность, а ничем иным сегодняшняя власть и не интересуется.

Однако в качестве индикатора, барометра общественного политического настроения мы, литераторы, печатающиеся в толстых журналах, все-таки чего-то стоим. И барометр этот показывает великую сушь и глубокий штиль. Среди которого особенно явственно слышно клокотание протофашистского массолита.

Впрочем, я опять забыл, ведь любые разговоры на эту тему льют воду на мельницу власти, открывая ей возможность играть роль защитницы общества от наступающего фашизма, — поэтому фашистскую угрозу в ультралиберальной публицистике полагается считать мифом, который себе на потребу творит, естественно, сама власть, — кто же еще, ведь несть же зол, аще не от власти!

Критик Елена Иваницкая, правда, рискнула исследовать кипящие помой, извергнувшиеся на все книжные лотки от потрясенного Кремля до стен мобильного Китая, и выделила, в частности, следующие повторяющиеся схемы.

1. Была могучая, богатая, счастливая страна, а демократические власти ее погубили, причем начал все это агент Запада Горбачев.
2. Демократические власти объявили свободу вероисповедания и тем погубили могучую, богатую, счастливую православную империю, но, к счастью, на пути сатанистов-демократов стоит объединенная сила в лице спецназа и православного священника (например, у автора Горшкова, название продукта «Нечисть»).
3. Погубив счастливую страну, демократы позволили распоясаться инородцам, прежде всего чеченцам, которые одержимы дьяволом (например, у автора Деревянко, название продукта «Перевернутый крест»), но им опять-таки противостоит православие плюс спецназ.
4. Гибнущую Россию спасают тайные, стоящие над законом «конторы», организованные либо легальными спецслуж-

бами, либо православными патриотами. Что же касается прямых выпадов против «так называемых прав человека», то это постоянная приправа массолитовской кухни.

Воля ваша, но мне трудно поверить, что все это творится в рамках некоего секретного госзаказа...

* * *

Разумеется, российская демократия несовершенна до такой степени, что позволяет желающим и вовсе не считать ее демократией. Однако если бы Россия каким-то чудом превратилась, скажем, во Францию, обставленную по всем правилам евростандарта, — ну, там, честные выборы, свобода слова, гарантии собственности, разделение властей, независимый суд и прочая, и прочая, — весьма значительная часть населения все равно отказалась бы перебраться в этот европейский дом, покуда он не будет утеплен воодушевляющими иллюзиями, способными дарить ощущение собственной красоты и значительности.

Точнее, перебраться-то сгоряча они перебрались бы, — чтобы тут же затосковать по России, которую они потеряли, по утраченному дому, в котором, по крайней мере, было тепло. Непонятно почему, но тепло.

Однако либеральные средства массовой информации вполне успешно соперничают со своими врагами в стремлении максимально выстудить его. Этим самым русские европейцы ослабляют более себя, нежели противника, ибо прямые, рациональные разоблачения чужой грезы лишь мобилизуют ее сторонников вокруг своей элиты. Разоблачения бессильны, если им не предшествует соблазн. Однако его-то и не видать.

Уж и не знаю, о чем думают либеральные лидеры, эти вожди русских европейцев, казалось бы, более всех прочих заинтересованные в реанимации своей сказки... Или они и сами мертвецки трезвы, а потому бессильны и опьянить других? Или, напротив, они упоены собой до такой степени, что не в силах подумать о ком-то еще? Нарциссы редко пользуются успехом у противоположного пола: как,

я, такой красавец, еще и должен дарить цветы, говорить комплименты?.. Что, эти уроды тоже хотят считать себя красивыми?!

Не дождутся!

Да никто, собственно, уже и не ждет. Русские европейцы уходят в грезы корпоративные о своей высокой отверженности, а масса — в грезы национальные о своем особом пути, отличном от западного.

Ибо для всякого народа убежденность в своей уникальности есть не вопрос комфорта, а вопрос жизни и смерти.

ГЕНИИ ПРОТИВ СЕПАРАТИЗМА

Британский историк Эли Кедури ушел из жизни в 1992 году, но написать о нем совсем не поздно, если учесть, что его классический труд «Национализм» (СПб: «Алетейя», 2010) вышел в России лишь через полвека после публикации на английском и за это время не только не утратил актуальности, но, напротив, сильно ее нарастил. Вопреки ожиданиям самого автора, по его собственному признанию, начинавшего свою работу как чисто академическое исследование по истории общественной мысли, имеющее слабое отношение к современной рациональной цивилизации. Тем не менее его идейное завещание следует прочесть всем, кто желает сколько-нибудь квалифицированно размышлять о будущем многонациональной России и еще более многонационального земного шара.

Хотя начинается Кедури с предметов почти неземных — с Канта и его категорического императива: Кедури считает, что от идеи нравственного самоопределения человека националистам было легче легкого перейти к идее самоопределения национального. Так это или не так, и вообще, в какой мере националистические страсти питаются идеями философов, а в какой сами их порождают, — об этом можно спорить, однако Кедури исследует прежде всего идеи: Кант, Гердер, Фихте, Шлейермахер... (Сплошные немцы, между прочим!)

Прежние творцы истории, озабоченные практическими целями, наверняка просто не поняли бы, «что общего имеет философия с государственным управлением», прочитав в «Лекциях о назначении ученого» (1794) пламенного Фихте, что «ученый — воспитатель человечества». Кедури тоже видит в этих занятиях не слишком много общего: «Это великое притязание не выдерживает серьезной критики, но оно появилось вовремя, чтобы широко распространиться

в Европе и за ее пределами. Благоговение античности перед законодателями и основателями полисов теперь перенеслось на публицистов и профессоров. Эрудированные филологи, запутавшиеся и труднодоступные для понимания экономисты стали признанными основателями влиятельных политических движений, черпая вдохновение из нелегкого словаря философских прений. Необходимый элемент такого положения — идеологический стиль политики».

Кедури называет национализм идеологией, стараясь развести подальше друг от друга политику идеологическую и конституционную.

«В конституционной политике предметом рассмотрения выступают общие вопросы конкретного общества, защита его от нападения, урегулирование разногласий и конфликтов между различными группами, опирающееся на политические институты, законодательство и юстицию и поддерживающее закон от воздействия внешних и внутренних интересов, какими бы влиятельными и важными они ни были.

Идеологическая политика состоит в ином. Ее задача — установить положение дел в обществе и государстве так, чтобы все, как говорится в старомодных романах, жили долго и счастливо. Чтобы добиться этого, идеолог смотрит, если заимствовать аналогию из Платона, на государство и общество, как на холст, который следует очистить, а затем писать на этой “чистой доске” свое видение справедливости, добродетели и счастья.

...А следующий шаг мысли уже ясно продемонстрирует, что одна лишь попытка очистить холст повлечет за собой произвол, беззаконие и насилие такой непомерной силы, что идеологическое видение вечного мира и радости будет отступать все дальше и дальше за горизонт».

Но, покуда прекрасная химера еще брезжит на горизонте, такие низменные категории, как интересы, необходимость или целесообразность, считаются недостаточными для оправдания политических действий — они должны быть одобрены метафизическими системами. И правители ставят метафизику себе на службу: «Такой политический стиль создаст новые литературные жанры: Ленин будет рас-

суждать об эмпириокритицизме, а Сталин излагать вопросы языкознания, Гитлер начнет карьеру с “Моей борьбы”, а Абдель Насер успешно завершит государственный переворот “Философией революции”».

Когда два эти ремесла еще не смешивались и творцы чарующих грез не вмешивались в практическую политику, все выглядело куда изящнее. Разве это не прекрасно, когда вместо эгоистических целей обороны или завоевания, процветания или умиротворения конкретных государств перед политиками ставится задача сохранения всемирного разнообразия — прямо прото-ЮНЕСКО: поскольку Господь выделил нации, они не должны объединяться. «Каждому народу, — заявляет Шлейермахер, — суждено представлять особую сторону божественного образа, благодаря особому устройству и своему месту в мире... Ибо каждой нации Господь прямо определил конкретное предназначение на земле и вселил в нее конкретный дух, чтобы восславить себя через каждую нацию только ей одной свойственным образом».

Нации, таким образом, суть отдельные естественные существа, которым надлежит оберегать свою самобытность в отдельных государствах, а многонациональные империи, по мнению Гердера, являются государствами испорченными, развращенными. Оскверняет не только совместное проживание, но даже пользование чужим языком — прежде всего французским, поскольку к концу восемнадцатого века именно французский язык считался языком высшего общества. Даже шишковская «Беседа любителей русского слова» не доходила до такой ненависти: «Так выплюнь же, перед порогом выплюнь противную слизь Сены. Немецкий твой язык, мой немец!» (Иоганн Готфрид Гердер.)

После наполеоновских завоеваний эта ненависть, естественно, удесятерилась — поражение прусской военной машины списывалось на франкофилию: «Да будем же яростно ненавидеть французов и особенно наших французов (курсив мой. — А.М.), обесчещивающих и оскверняющих нашу работоспособность и невинность!» (Эрнст Мориц Арндт.) И не вызывали смеха филиппики «отца гимнастики» Фридриха Яна, публично утверждавшего, что изучение французского языка толкает девушек на проституцию, — языку приписывалась почти мистическая власть над умами и душами.

Первые слова, по Гердеру, не были звукоподражаниями или чистыми условностями — «они выражали любовь или ненависть, проклятие или благословение, покорность или сопротивление!», — языки и спустя тысячелетия несут в себе невидимые отпечатки давно забытых чувств и событий; человек, говорящий на иностранном языке, обречен жить искусственной жизнью (ведь так просто провести границу между естественным и искусственным в человеческом мире, где искусственно все!). Фихте же пытался доказать, что одно лишь присутствие в языке иностранных слов способно загрязнить источники политической нравственности.

Ну а если народ вообще переходит на иностранный язык, то он усваивает с ним и иностранные пороки (но почему-то не достоинства): так французы, перешедшие с германского диалекта на новолатинское наречие, и донныне страдают «от несерьезности в отношении к общественным делам, самоунижения, бездушного легкомыслия».

«Только один язык, — говорит Шлейермахер, — прочно врос в индивида. И именно ему индивид принадлежит целиком, сколько бы других языков он ни выучил впоследствии... Для каждого языка существует особый способ мышления, и то, что мыслится в одном языке, никогда не может быть тем же образом выражено в другом... Таким образом, язык, как церковь или государство, есть выражение особой жизни, создающей внутри него и развивающей через него единое языковое тело».

Не только, стало быть, поэты, но даже целые нации суть органы языка...

Итак, подытоживает Кедури, по мнению первых националистов, миром правит разнообразие, и человечество естественным образом разделено на нации; язык же главный критерий, по которому нация может быть признана существующей и имеющей право формировать собственное государство. Притом в тех границах, которые она сочтет зоной распространения своего языка. Кедури не останавливается на критериях различия самостоятельных языков и так называемых диалектов, очевидно, понимая, что убедительность подобным филологическим изысканиям придает лишь вооруженная сила, — ему не нравится уже и то, что «такой

акцент на языке преобразовал его в политическое дело, ради которого люди готовы убивать и уничтожать друг друга, что прежде было редкостью. Языковой критерий осложняет к тому же жизнеспособность сообщества государств. Чтобы такое сообщество функционировало, государства должны быть разумно стабильными, с ясно выраженным единством, известным и признанным на всем пространстве контролируемой ими территории, с четко зафиксированными границами, обладать характерной принудительной силой. Но если язык становится критерием государственности, ясность о сущности нации растворяется в тумане литературных и академических теорий, и открывается путь для двусмысленных претензий и неясных отношений. Ничего иного не приходится ждать от теории национализма, которая открыта учеными, никогда не стоявшими у власти и мало что понимавшими в необходимости и обязательствах, присущих взаимоотношениям между государствами».

Кедури считает «неблагодарным делом» классифицировать формы национализма по каким-то отдельным аспектам — язык, раса, культура, даже религия: как только возникает греза о нации, которая превыше всего, любые ее аспекты эта греза немедленно превращает в служебные атрибуты верховного существа — даже религия объявляется не более чем орудием национального объединения и торжества над нациями-соперниками: Авраам был не какой-то там пророк, узревший единого Бога, но вождь бедуинского племени, подаривший ему сознание национальной самобытности; Мухаммед, может быть, попутно и нес миссию Пророка, но главное — он был основателем арабской нации; Лютер был блестящим воплощением германизма; Гус — предшественником Масарика. Объявляя всех крупных деятелей своими предшественниками, националисты простирают существование наций в такую древность, когда люди, по мнению Кедури, ни о чем подобном и не помышляли: подданные суверенных государств, если даже те уже носили современные названия, до появления идеологии национализма не образовывали наций в том смысле, который придается им националистической философией и антропологией.

«Насколько ничтожен человек, скитающийся туда-сюда без якоря национального идеала и любви к отечеству; как скучна дружба, покоящаяся лишь на личном сходстве

в расположении и склонностях, а не на чувстве великого общего единства, за спасение которого можно отдать жизнь; насколько потеряно женщиной величайшее чувство гордости, если она не чувствует, что родила и воспитала детей также и для своей родины, и что дом и домашние заботы, заполняющие все ее время, принадлежат великому целому и занимают свое место в единении народа!» — в этом высказывании Шлейермахера Кедури усматривает суть национализма.

Который ни в коем случае нельзя путать с патриотизмом и ксенофобией: «Патриотизм, то есть любовь человека к своей стране или народу, верность институтам этой страны и рвение ее защищать — чувства, знакомые всем людям; то же и с ксенофобией, неприязнь к иностранцам, чужакам, нежелание признавать их частью своего мира. Ни то, ни другое чувство не требуют особой антропологии и не утверждают особой доктрины государства и отношения к нему индивида. Национализм, напротив, делает и то, и другое... Вовсе не будучи универсальным феноменом, национализм является плодом европейской мысли последних ста пятидесяти лет. (Написано в конце пятидесятых. — А.М.) Если и существует путаница, то потому, что учение о национализме заставило эти повсеместно испытываемые чувства обслуживать особую антропологию и философию. Поэтому неточно и некорректно говорить (как иногда делают) о британском или американском национализме, описывая мышление тех, кто проповедует верность британским или американским политическим институтам. Британский или американский националист должен был бы определять британскую или американскую нацию в терминах языка, расы или религии, требовать, чтобы все те, кто подходят под это определение, принадлежали бы британскому или американскому государству, а все, кто не подходят, потеряли бы гражданство, а также, чтобы все британские и американские граждане подчинили бы свою волю воле сообщества. Сразу понятно, что политическое мышление подобного рода незначительно и маргинально в Британии и Америке».

К слову сказать, оно маргинально и незначительно и в сегодняшней России, кто бы и что ни говорил о националистической политике российского государства: оно не делает ни малейших попыток ни собрать всех русских под свое крыло, ни лишить кого-либо гражданства по параметрам

расы, религии или языка, тогда как для истинного националиста чужак, сколь угодно хорошо овладевший его языком, все равно остается чужаком. Шарль Моррас печатно уверял, что ни еврей, ни семит не могут овладеть французским языком так, как им владеет настоящий француз, — мне же лишь единственный раз пришлось услышать, — разумеется, от писателя, — что русский язык во всей глубине открывается только православным. Нужно ли добавлять, что в серьезной российской политике подобное направление мыслей никак не представлено.

Там же, где оно всерьез бралось за бразды правления, немедленно возникала угроза тому балансу сил, на котором покоилась система европейской безопасности.

«Мир действительно разнообразен, слишком разнообразен для классификаций националистической антропологии. Расы, языки, религии, политические традиции и связи так перемешаны и запутаны, что нет убедительной причины понять, почему люди, говорящие на одном языке, но чья история и отношения различны, должны образовывать одно государство, или почему люди, говорящие на двух различных языках, но сплоченные историческими обстоятельствами, не должны образовывать одно государство», — пожалуй, эти слова Кедури и подводят итог его критике национализма как идеологии.

Обычно в оправдание культа национального самоопределения националисты ссылаются на межнациональные конфликты внутри многонациональных государств, — не замечая, что эти конфликты в огромной степени являются плодом их собственного вероучения. По мнению же Кедури, национальное самоопределение само по себе не избавило ни один народ ни от бедности, ни от коррупции, ни от тирании, а часто лишь усугубило их и закрепило, снабдив тиранов дополнительными идеологическими вожжами. Национальные же меньшинства в новых национальных государствах, как правило, стали подвергаться гораздо худшей дискриминации, чем это было в «развращенных» империях: «Вместо того чтобы укреплять политическую стабильность и политические свободы, национализм на территориях со смешанным народонаселением провоцирует трения и взаимную ненависть».

Более того, национализм сеет смуту даже в империях, предоставляющих меньшинствам обширные культурные права: «Культурная, языковая и религиозная автономия возможна для различных групп многонациональной империи только в том случае, если она не укрепляется и не оправдывается националистическим учением. Подобного рода автономия существовала в Османской империи несколько столетий (эта система называлась «миллет») именно потому, что о национализме в ту пору еще никто ничего не знал».

Теперь мы знаем, к чему он стремится и на что он способен и, словно издевки ради, по-прежнему считаем чем-то священным и само собой разумеющимся право наций на самоопределение, которое литератор Ленин провозгласил ради разрушения многонациональных «буржуазных» государств, — то есть всех, кроме его собственного, — а президент Вудро Вильсон, похоже, из благородного, но неосуществимого желания уравнивать сильных и слабых: «Очевидный принцип управляет всей предоставленной мною программой. Это принцип справедливости по отношению ко всем народам и национальностям, а также их права жить друг с другом на равных условиях свободы и безопасности, независимо от того, сильны они или слабы». И это при том, что именно борьба сильных за влияние на слабых, чья кротость, как выяснилось, порождалась лишь бессилием, спровоцировала Первую мировую войну, да и во Второй «благородная нарезка» европейской карты существенно облегчила задачу агрессоров, противопоставив им вместо крупных сильных государств россыпь малых стран, которые было очень соблазнительно проглатывать поодиночке.

«С уверенностью можно сказать, что создание национальных государств, унаследовавших положение империй, не было прогрессивным решением. Их появление не способствовало ни политической свободе, ни процветанию, их существование не укрепляло мир. По сути, национальный вопрос, который, как надеялись, будет решен с возникновением этих государств, лишь обострился».

Раз за разом припечатывая национализм подобными формулировками, Кедури вместе с тем отказывается даже обсуждать, какие общие причины объясняют его возникновение в самых различных по множеству параметров обществах:

«Этот поиск общего объяснения, обобщения можно назвать социологическим соблазном».

Попробуем, однако же, поддаться этому соблазну.

Мне кажется, что универсальная функция, которую выполняет национализм везде и всюду, это экзистенциальная защита личности, ее защита от абсолютно обоснованного чувства своей эфемерности и незащитности перед безжалостным мирозданием. И с тех пор как многократно ослабела экзистенциальная защита, даруемая религией, так же многократно обострилась человеческая потребность прильнуть к чему-то сильному и хотя бы потенциально бессмертному — по крайней мере, не обреченному гибели в заранее отмеченный срок. Подавляющему (и экзистенциально подавленному) нетворческому большинству такое суррогатное бессмертие проще всего заполучить через причастность к нации. В особенности если эта нация гремит или блистает на исторической арене, оставляя долговечный («бессмертный») след в человеческой памяти.

Иными словами, борьба за национальное самоопределение — это вовсе не борьба за экономическое процветание, свободу или чистоту нравов, но борьба за бессмертие, а терроризм — оружие безнадежно проигрывающих в этой борьбе. Борьбе, выражаясь помудренее, за историческую субъектность. Концентрирующуюся чаще всего в исторических личностях, при этом почти безразлично, вошедших в историю со знаком плюс или со знаком минус. Тем более что общечеловеческих плюсов пока что не предвидится: ведь их обычно выставляют за победу над кем-то, но не может же человечество восторжествовать над самим собой! Вот освобожденные от советского диктата монголы и устанавливают памятник Чингисхану, мы никак не можем забыть Сталина, а сербы называют улицу в Белграде именем Гаврилы Принципа, спровоцировавшего череду поистине чудовищных бедствий.

Правда, именем одного из отцов электрической цивилизации Николы Теслы в сербском Белграде назван аж целый аэропорт, да и в Подгорице (главный город Черногории), и в Загребе (столица Хорватии) имеются улицы его имени. Видите, скольким народам сразу один-единственный гений

укрепил экзистенциальную защиту! Причем у всех у них есть основание считать себя причастными к его становлению: серб по национальности, Тесла родился в Хорватии, а учился в Австрии и Чехии, — немало он стран перевидал, пока не реализовался в Америке, где ему тоже установлен памятник, и не каждый вспомнит, что вся история его становления на самом деле протекала в одной стране — в Австро-Венгерской империи.

А если бы перечисленные страны уже тогда были разделены государственными границами, еще неизвестно, как сложилась бы его судьба, сформировался его талант. Хотя даже в самом счастливом случае реализовать свой дар в маленьком государстве он все равно бы не сумел, ибо грандиозные проекты, для которых был рожден Тесла, для небольших государств неподъемны. Наш Король тоже не обрел бы бессмертие, если бы не имел в своем распоряжении целую промышленную империю.

Намек ясен? Отделяясь от империй, малые народы не укрепляют, но ослабляют свою экзистенциальную защиту, не укрепляют, но ослабляют свою историческую субъектность — оказываются еще дальше от исторического творчества, от возможности оставить бессмертный след в истории. В Большой Игре великих держав, чье величие измеряется прежде всего возможностями наносить неприемлемый ущерб, они все равно остаются пешками. Но, самое обидное, — с обретением независимости у них резко падает возможность возвращать собственных гениев, являющихся, на мой взгляд, главным достоянием человечества, главным оправданием его земного бытия и главной — для его атеистической части — экзистенциальной защитой. Вспомнив имена Бетховена, Микеланджело, Толстого, Ньютона, даже самый заматерелый циник невольно почувствует: да, человек — это, пожалуй, звучит все-таки довольно гордо.

Но, чтобы возвращать гениев, нужно забрасывать сеть очень широко и воспитывать их на общении с высочайшими образцами. И есть огромная разница, выбирать из миллионов или из тысяч.

Дело, впрочем, не только в количестве молодежи, из которой производится отбор, хотя и в нем тоже, — дело еще

и в качестве ее воспитателей. Представим, что какая-то российская область в силу особенностей происхождения или языка вообразила себя отдельной нацией (а нация и создается системой грез) и выделилась в самостоятельное государство. Тогда декан местного пединститута сделался бы президентом Национальной академии, краеведческий музей превратился тоже в Национальный, единственный член Союза художников оказался бы родоначальником национальной живописи, а член Союза писателей автоматически вырос в национального классика. При этом все они, даже будучи милейшими и одаренными людьми, поневоле оказавшись высшими достижениями своего народа, вместо стимулирования исторического творчества, тоже поневоле, начнут его глушить, задавая слишком низкую планку.

А одаренная амбициозная молодежь, которая прежде ехала «поступать» в Москву и Петербург, не покидая при этом собственного государства, будет вынуждена уезжать, пусть и туда же, но уже за границу.

И какая сила заставит их вернуться на свою теперь уже не «малую», а просто родину? Забота об отечестве? Но они ничем не смогут послужить ему, прозябая без необходимых ресурсов и сообщества равных. Есть, конечно, профессии, не требующие особых материальных средств, — скажем, теоретическая физика или филология, — и тогда один гений, вроде Бора или Лотмана, может превратить вчерашнее захолустье в научную столицу; однако и в этом редчайшем случае с его уходом, как правило, теряется и «столичный» статус. Да и самих таких наук неизмеримо меньше, чем борющихся за бессмертие малых народов.

Теоретически, правда, можно допустить, что во главе государственного новообразования станет новый Лоренцо Великолепный, который начнет покровительствовать талантам, расходуя на необходимую им инфраструктуру те ресурсы, которые рядовая масса желала бы потратить на жилищное строительство, здравоохранение и пенсионное обеспечение, — однако в век демократии такой народный вождь вряд ли надолго засидится в президентском кресле. Народы, остро нуждаясь в экзистенциальной защите, редко, однако, сознают, что именно успехи их национальных гениев защищают их самих от чувства исторической ничтожности,

которое они предпочитают глушить всевозможными психоактивными препаратами от алкоголя до антидепрессантов.

Короче говоря, именно тогда, когда нации занялись самообожествлением, империи для малых народов начали становиться гораздо в большей степени орудиями усиления и обогащения, орудиями обретения исторической субъектности, чем орудиями ее подавления, гораздо в большей степени орудиями формирования экзистенциальной защиты, чем орудиями ее разрушения. Лучшей защищенности, к слову сказать, легче достичь в более «отсталой» империи, где на продвинутые малые народы взирают со смесью раздражения и почтения, чем в «передовой» цивилизации, взирающей на новичков свысока.

Империи, чья коллективная экзистенциальная защита открыта для всех желающих (в отличие от наций, стремящихся замкнуться в себе), едва ли не единственное средство вовлечь народы в общее историческое дело. В тех случаях, разумеется, когда имперская власть служит величию и бессмертию имперского целого, а не националистическим химерам. Немцы в царской империи, евреи в ранней советской сделали более чем достаточно и для государства, и для собственной экзистенциальной защиты — и продолжали бы служить тому и другому верой и правдой, если бы Сталин не принялся превращать империю в национальное государство. Одновременно истребляя и русских национальных романтиков, — служащих уже не имперской, а национальной экзистенциальной защите, — поскольку справедливо усматривал в них угрозу своему единовластию.

Кедури еще успел застать распад советской «империи зла» и, как и следовало ожидать, отнесся без всякого энтузиазма к появлению новых, еще не успевших набраться опыта и ответственности игроков на международной арене. Он даже успел высказаться в том духе, что международная политика не может руководствоваться возвышенными рассуждениями, кто из игроков воплощает добро, а кто зло, но должна стремиться к старому, хотя и недоброму принципу равновесия сил. А покуда право наций на самоопределение будет считаться священной коровой, перед которой должны расступаться все существующие государства, это равновесие будет постоянно нарушаться и вводить в соблазн все новых

и новых романтиков и авантюристов, мечтающих тоже пробиться в историю в качестве отцов-основателей новых государств, укрепив тем наглухо собственную экзистенциальную защиту и ослабив ее у своего народа, может быть, даже навеки.

Национальное самоопределение должно быть низведено из права в простое пожелание, чья осуществимость целиком зависит от цены, которую за его исполнение придется заплатить миру — непременно с учетом возрастающей либо падающей способности самоопределяющихся народов возвращать собственные таланты, кои уже давно пора объявить общим достоянием человечества наряду с выдающимися красотами природы и архитектурными шедеврами. (Намек адресован ЮНЕСКО, тоже очень озабоченной разнообразием национальных культур и мало обеспокоенной способностью этих культур расширять наши представления о пределах человеческих возможностей.) И это вовсе не значит, что нужды национальных меньшинств должны подавляться в многонациональных государствах, почему-то как черт лада на страшась принять на себя имперское имя и имперскую ответственность, которой они все равно не в силах избежать. Избежать в том числе и ответственности за меньшинства, готовые впасть в националистическое безумие.

Сдерживать, однако, подобные безумства может лишь тот, кто сам от них свободен. Народы, на которые прихоти истории возложили имперское бремя, должны помнить, что имперский принцип требует преодоления национального эгоизма во имя более высокого и многосложного целого.

Этого-то, кажется, и не понимают русские европейцы, усматривая в имперском начале нечто предельно националистическое, тогда как оно, напротив, предельно сближает национальное с многонациональным. Имперские уроки гораздо в большей степени уроки космополитизма, чем уроки национализма.

Имперский принцип, в частности, требует не подавлять экзистенциальные нужды меньшинств, но, напротив, всячески поощрять их утоление в созидательной, а не агрессивной исторической деятельности. Для чего необходимо открывать как можно более широкую дорогу их особо

одаренной молодежи к элитарному образованию, к работе в высокой науке и высокой культуре. Русским европейцам не помешало бы наконец понять, что каждый возвращенный империей гений, вышедший из национального меньшинства, есть заметный удар по национальной агрессии и национальному сепаратизму не только у нас в стране, но даже и во всем мире.

* * *

Гении — одно из сильнейших орудий, которыми нации и цивилизации очаровывают друг друга. В наши шестидесятые, когда среди советских европейцев тон задавали физики, влияние Запада на наши души в очень серьезной степени зиждилось на открытиях и личностях великих ученых.

ЗВЕЗДНАЯ КВАДРИГА

Великий кормчий

Норберт Винер — фигура эстрадная: отца кибернетики не знать невозможно. Встретив двадцатый век шестилетним карапузом, зачитывающимся подростковой беллетристикой и тогдашним научпопом («Библиотека Гумбольдта»), к восьми годам упитанный чудо-ребенок настолько перетрудил зрение, что был допущен к чтению в очках лишь после полугодового принудительного воздержания. Продолжая при этом заниматься устно по особой программе со своим еврейским папой, кипучим уроженцем Белостока, после юношеских, в толстовском вкусе, блужданий вышедшим в профессора славянских языков Гарвардского университета, — Винер до конца своих дней считал отца недооцененным гением. Маленький физик и ботаник, механик и физиолог однажды был настолько потрясен историей электрического импульса, бегущего с препятствиями вдоль нервного канала, что воспылал мечтою изобрести квазиживой автомат.

Именно развернутая аналогия между человеком и автоматом и принесла Винеру всемирную славу: поступая на математико-механический факультет в год его смерти — 1964-й, автор этих строк уже прекрасно знал, что сталинские философы заклеямили кибернетику лженаукой, а потому кибернетика есть нечто безусловно великое и абсолютно безупречное. Это было время непрекращающихся дискуссий «Может ли машина мыслить?». Разумеется, может — мы-то сами кто? Стихи, сочиненные электронно-вычислительной машиной — ЭВМ, чаровали куда сильнее, чем стандартная продукция советских поэтов: мало кто тогда понимал, что эти стихи представляют собой случайные словосочетания, в которых лишь наше воображение угадывает какой-то тайный глубокий смысл. «В бреду ступают имена — земная плачет глубина»...

Когда очередная утопия ищет своего пророка, ему не поможет никакая научная осторожность: крайности все равно будут договорены пламенными адептами новой веры, ибо социальный успех любого научного открытия и заключается прежде всего в создании новой социальной грезы. Простейший ее рецепт — очередная ступень объявляется окончательной вершиной.

Люди во все времена старались постигать малопонятное при помощи хорошо знакомого, а потому в древней протонауке поведение неодушевленных предметов веками моделировалось аналогиями с человеческой психикой: «камень стремится», «природа не терпит»... Однако проникательные ученые понемногу поняли, что этим самым они пытаются моделировать более простое посредством более сложного, менее непредсказуемое посредством более непредсказуемого.

Началась реакция: человеческую психику принялись наперебой уподоблять чему-то неизмеримо более примитивному, — нашумевшее сочинение Ламеттри «Человек-машина» всего лишь наиболее громкое из длинного ряда. Каждый приносил (да и приносит) в свои размышления о человеке арсенал аналогий из области других знаний и профессий, подобно тому как часовщики из раннего рассказа Марка Твена рассуждали о часах в терминах лекарей, сапожников и кочегаров. Идейный вождь целого поколения физиков Эрнст Мах: «Наш голод не так уж отличается от стремления кислоты к цинку, а наша воля от давления камня на подставку». Уже умнейший Сеченов моделировал человеческие эмоции вполне кибернетическими средствами: электрический сигнал, магнит — «машина испуга». Среди биологов же и поныне популярны этологические модели: мы поем — и глухари поют, мы сотрудничаем — и муравьи сотрудничают. Все эти редукционистские аналогии в конце концов приводят к общему результату: научно обоснованным в человеке начинает представляться только низкое, сближающее его с животными, а то и с неодушевленными предметами; высокое же превращается в некую пустую фантазию наивных идеалистов. Было бы странно, если бы изобретение компьютера не породило собственную, сначала редукционистскую, а потом и утопическую ветвь.

Объяснюсь. Уподобление человека машине ничуть меня не оскорбляет. Я вообще не вижу объективной границы между живым и неживым, одушевленным и неодушевленным: подозреваю, что живыми мы называем просто-напросто те объекты, которые в достаточной степени напоминают нам нас самих. И объяснение психики человека, на мой взгляд, совершенно не нуждается в каких-то незримых субстанциях типа «душа», «высшая воля» и проч. — вся многосложность человеческого мышления, чувствования и поведения для меня тоже сводится к самым обычным физико-химическим процессам. Я думаю только, что при всем при этом целостная деятельность человеческого мозга по своей сложности эквивалентна сложности всего доступного нам мироздания, ибо все без исключения его образы от звездного неба над нами до содроганий сердечной мышцы внутри нас являет нам наш мозг, — находящийся, стало быть, для этого средства. Поэтому старая максима «каждый человек есть вселенная» не пышная метафора, но медицинский факт.

Не исключено, правда, что эта система — человек — чудовищно избыточна и что для прогнозирования человеческого поведения довольно какого-то небольшого количества мотивов — алчность, властолюбие, похоть, классовый интерес... Боюсь, однако, что психическая деятельность человека являет собой неустойчивый процесс, для которого не существует пренебрежимо малых воздействий: одна измененная деталь в картине способна разом поменять впечатление от нее на противоположное. Капля под носом у красавицы, неприличный звук во время торжественной речи, — все это не имеет заметных последствий только в мире животных.

Боюсь (перефразируя одну винеровскую шутку), единственной адекватной моделью человека может быть только другой, а еще лучше — тот же самый человек. Если же нам когда-либо удастся построить адекватную ему машину, то и она окажется столь же склонной к непредсказуемым, «иррациональным» выходкам. Нет, электронный мозг вполне может оказаться более умным, то есть более дальновидным и последовательным по сравнению с человеком, но тогда человек откажется ему повиноваться и возненавидит его точно так же, как любую власть, более мудрую, чем он сам.

Чтобы соответствовать человеку, человекообразная машина должна быть наделена и человеческими слабостями. Начиная с его физических и психологических потребностей, желаний и страстей. Чтобы не то что сочинить «Войну и мир», но хотя бы по-репортерски описать самую элементарную ситуацию, уже необходимо выделять из бесконечно подробного мира лишь те немногие частности, которые волнуют человека. А употребление синонимов — у кого лицо, а у кого мурло, кто бандит, а кто народный мститель!.. Шутки, — когда говорят одно, а имеют в виду другое!.. Метафоры — «теплый прием», «холодное прощание», — что-то означающие лишь для тех, чье тело на теплую и холодную воду реагирует отчасти так же, как на приветливое и неприветливое слово!.. Подозреваю, что, лишившись тела, человеческий мозг утратит и то, по Винеру, главное преимущество, которое он имеет перед вычислительной машиной, — умение работать с нечеткими понятиями. Однотипность разнообразных предметов в основе определяется телом, а не мозгом.

Однако в юные математические годы я был настолько зачарован этой грезой — оттеснение несовершенного человека совершенной машиной, — что был даже несколько разочарован, обнаружив, что Винер всего-навсего самый обыкновенный классик. До евангелия новой веры, именуемого «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине», я добрался лишь после четвертого курса на таймырской шабашке. Красная книга с золотым именем пророка на обложке глубоко меня перепახала, но вынес я из нее какой-то сумбур вместо музыки. Во-первых, для манифеста слишком много подробностей, целые главы расписывают теорию автоматического регулирования, теорию информации, эргодическую теорию Биркгофа, — специалисты и так знают, профаны все равно не поймут... Величие новой науки я не могу разобрать за деревьями общеизвестных частностей, с грустью думал я, еще не подозревая, что громкую славу приносят не новые знания, а новые грезы.

Но и греза о сверхчеловеческой машине от ее конкретизации только потускнела. Ну да, все эти привычные технические датчики — фотоэлементы, микрофоны, термометры, манометры, — разумеется, выполняют те же функции, что и наши органы чувств. Ну да, и центральная система

управления, получающая сигналы извне и посылающая команды исполнительным органам, разумеется, тоже выполняет функции нашей центральной нервной системы, — нет никакой разницы, сказать «действовать в соответствии с меняющейся обстановкой» или «действовать по принципу обратной связи». И даже нервные клетки, нейроны, скорее всего тоже можно уподобить реле с двумя возможными состояниями «да» и «нет», «все» и «ничего», — ну так и что? Составные части могут вообще полностью совпадать, а целостные структуры при этом все равно иметь сколь угодно огромные отличия.

Фотоэлемент, кинокамера «видят», а камера еще и «запоминает» все, на что направят их «глаз», — я же замечаю только то, что меня интересует. А когда я не знаю, что искать, — как, например, на загадочной картинке, — так и вовсе ничего не вижу, кроме хаотических линий и пятен. Что проку из того, чтобы все наши ощущения назвать информацией? Это больше сбивает с толку, чем приближает к пониманию, почему информация, переданная голосом Шаляпина, вызывает мороз по коже, а информация, переданная голосом Киркорова, вызывает только отвращение. Почему информация «Уж небо осенью дышало» повергает в состояние немножко даже мучительного блаженства, а информация «Небо уже дышало осенью» не повергает? Да, разумеется, и «Лунная соната», и «Над вечным покоем» могут быть с любой степенью точности представлены последовательностью тех же самых нулей и единиц, на которые разлагаются и свиное рыло, и визг бормашины, — но это говорит о природе эмоционального, то есть главного на нас воздействия ничуть не больше, чем о вкусе шашлыка или навоза говорит тот факт, что они состоят из совершенно неразличимых протонов и нейтронов.

И когда волк мчится зайцу наперерез, когда автоматическая зенитка ведет стрельбу по самолету, а пилот-истребитель преследует бомбардировщик, все они, конечно же, прогнозируют движение своей цели, но при этом в вычислительном устройстве зенитки и, скорее всего, в мозгу волка обрабатывается лишь реальная информация о движении преследуемого объекта, тогда как в мозгу человека — если не в тот самый миг, то за час до этого — мелькают мысли о долге, о праве на убийство и т. д., и т. п. Все эти полудогадки

клубились во мне довольно смутно, — потребовались годы, чтобы я наконец сумел сформулировать принципиальные отличия мотивации человека от мотивации самого утонченного и многосложного автомата: каждая вещь, каждый процесс для человека не комплекс ощущений (показаний датчиков), а комплекс ассоциаций; модели каждой вещи, каждого процесса во внутреннем мире человека погружены в какой-то воображаемый контекст («картину мира»), который незаметно определяет отбор и интерпретацию фактов внешнего мира, в свою очередь определяющих наши мнения, наши решения, — этим самым воображаемая картина мира участвует в собственном обновлении.

Человеческая деятельность, с тех пор как человек стал человеком — человеком фантазирующим, всегда была и будет в огромной степени направляема воображаемыми объектами, если даже какие-то из них будут иметь паспорта и почетное место в истории: людьми управляет тот, кто управляет их фантазиями.

Этим в основном занимается искусство, как институционализированное, так и диффузное, растворенное в повседневных человеческих отношениях, — выразительные слова, образы, интонации, жесты, поступки, направленные на то, чтобы поразить воображение... Однако какова предельная эффективность этих средств, каковы предельные возможности целенаправленного воздействия на человеческую фантазию, — об этом Винер, судя по его научно-популярным произведениям, ни разу не задумался. Зато — судя по его автобиографическим книгам — сам он был человеком в полном, а не в кибернетическом смысле этого слова: не отличал поражения от победы, отбирая и интерпретируя события своей жизни на основе одному лишь ему открывающейся картины.

Каждому профессионалу очевидно, сколь мощно и неудержимо разворачивалась его математическая карьера. В четырнадцать лет — бакалавр искусств, в семнадцать — магистр, в восемнадцать — доктор философии Гарварда (диссертация по философии математики). Затем университетская стипендия, позволившая восходящей звезде поработать в предвостановленном английском Кембридже и немецком Геттингене с такими титанами, как Бертран Рассел, Харди, Эдмунд Ландау

и даже сам великий Гильберт. Каждый молодой математик посчитал бы большой жизненной удачей просто попасться таким людям на глаза, а они его еще и похваливали, читали его сочинения, куда-то рекомендовали...

Затем — в двадцать с самым небольшим — преподавательская работа в Массачусетском технологическом институте, сделавшимся впоследствии в области прикладной математики примерно тем же, чем был институт Бора в квантовой механике. Тогда же начатые пионерские работы по теории случайных процессов, через двадцать лет вошедшие во все учебники по статистической теории связи. Тогда же начатый фурьеристский анализ самых вычурных колебаний, тоже приведший к созданию классических работ: «Я нашел дорогу, по которой мог смело идти вперед».

Затем, до двадцати шести, сотрудничество со знаменитым Фреше в Страсбурге; аксиоматика общего векторного пространства, со временем, правда, превратившегося из пространства Банаха-Винера во всеобъемлющее Банахово пространство, — но только потому, что Винеру претила обстановка научного состязания (которое в теории случайных процессов ему все-таки пришлось вести с Колмогоровым и Хинчиным). В двадцать восемь — классическая работа по теории потенциала, рекомендованная в «Доклады» французской Академии самим Лебегом вместе с родственной статьей лебеговского ученика (тема была оставлена Винером по аналогичной причине). В тридцать лет — обобщенный гармонический анализ, с большим интересом воспринятый не кем иным, как Гильбертом.

Затем — краткое, но плодотворнейшее сотрудничество с Максом Борном, незаконным отцом вероятностной парадигмы в квантовой механике: именно Винеру принадлежит — тоже высочайше одобренная Гильбертом — первоначальная идея перехода от матричной к операторной форме построения квантовой механики (от дискретной к непрерывной). До тридцати пяти — могучая Тауберова теорема, впоследствии принесшая ее автору престижную научную премию. Затем уравнения Винера-Хопфа, задачи прогнозирования и фильтрации случайных процессов, по-настоящему оцененные уже во время Второй мировой войны, когда потребовалось бить по вражеским самолетам без руководящего

участия медлительных наводчиков. Предложение знаменитого Харди прочесть курс лекций и издать книгу по интегралу Фурье в британском Кембридже. Судьбоносное знакомство с мексиканским физиологом, носившим типично латиноамериканское имя Артуро Розенблют; междисциплинарный семинар, из которого выросла будущая лженаука. Почетное предложение написать монографию для престижной серии Американского математического общества. (Кстати сказать, американская математика по-настоящему взлетела на мировой уровень лишь после войны, благодаря поднятой Гитлером эмигрантской волне из Европы.)

Очень и очень немногие из ученых приходят к своему сорокалетию с таким итогом: мне удалось не только опубликовать ряд значительных самостоятельных работ, но и выработать определенную концепцию, которую в науке уже нельзя было игнорировать.

Во время войны — общепризнанные оборонные приложения, после войны — поиск названия для будущей прославленной книги об управлении всем на свете. Греческое слово «angelos» — передающий сообщение — породило комические ассоциации, от которых было свободно слово «Kybernētēs» — рулевой, кормчий: по-видимому, в демократической Америке не так часто, как в соцстранах, владыки уподоблялись кормчим. Затем — между пятьюдесятью и шестьюдесятью — оглушительный успех, «Кибернетика» становится научным бестселлером, резко упрочив и без того неплохое материальное положение автора и превратив его в фигуру общественного, то есть эстрадного значения, — в пророка подступающей тотальной автоматизации, грезящегося информационного общества, в котором потоки «материи» сменяются потоками «информации» (всеобъемлющий фантом, покрывающий и расписания поездов, и порносайты, и гениальные открытия, и тупые пошлости).

И — незадолго до смерти, в 1963 году — Национальная медаль науки, нечто вроде бывшей нашей Ленинской премии.

Совсем неплохо. И тем не менее на протяжении целых десятилетий автобиография Винера выглядит историей неудачника, ну, скажем мягче, — полуудачника. Безрадостное

детство вундеркинда, отравленное неизбывной виновностью перед вспыльчивым отцом за то, что малыш, читающий Дарвина и Данте, все-таки недостаточно внимателен, усерден, ловок и мастеровит. При этом пассионарный отец неусыпно воспитывал в чудо-ребенке чувство скромности, беспрестанно напоминая ему и в личных беседах, и в газетных интервью, что он совершенная посредственность, что любой мальчик, занимаясь по такой программе, достиг бы того же самого, если не большего. Обычные для людей с неустойчивой самооценкой метания от оборонительного самомнения к покорному самоуничижению плюс нехватка опыта общения со сверстниками многие годы осложняли ему отношения с коллегами и просто знакомыми. Плюс к тому — надолго запавшее в память отроческое потрясение: внезапно обнаружилось его еврейское происхождение, скрывавшееся от мальчика по настоянию матери, принадлежащей к уже ассимилированному поколению еврейских иммигрантов и, для довершения успеха, не упускавшей случая отпустить по адресу евреев какое-нибудь презрительное замечание.

Потребовались годы, чтобы бывший вундеркинд сумел справиться с этим позорным пятном, обретя успокоение в отрицании каких бы то ни было национальных предрассудков, отыскав, как водится, защиту от национального унижения в космополитизме. В тогдашней Америке, кстати сказать, такая позиция отнюдь не была общепринятой даже в образованной среде: в пору вхождения будущего отца кибернетики во взрослую жизнь администрация Гарвардского университета совершенно открыто обсуждала введение процентной нормы для евреев, причем протест отца привел лишь к тому, что его без всяких учтивых ужимок выпроводили на пенсию, чуть только к тому открылась законная возможность.

Неприязни к юному Винеру не скрывал и влиятельный (действительно выдающийся) математик Биркгоф, считавший одаренность еврейских студентов обманчивой: им удастся обскакать своих англосаксонских ровесников только благодаря раннему созреванию, впоследствии же они быстро скисают. Восемнадцатилетний доктор с горечью осознал и то, что очень многие будут рады неудаче надоевшего вундеркинда, причем постараются изобразить неудачей и вполне успешную для кого-то другого карьеру. Так или иначе,

во многом именно из-за недоброжелателей, как своих, так и отцовских, молодому математику вместо блистательного Гарварда удалось устроиться лишь в захудалый Массачусетский технологический институт, обретший впоследствии славу прежде всего благодаря имени Норберта Винера. Которого — это во время войны! — не хотели брать даже в армию, как он туда ни рвался (странное желание для мыслящей машины): то мешали слишком сильные очки, то он не мог удержаться на лошади...

И так во всем. Ни один замысел не удавался до конца, а частичные его успехи вызывали у боготворимого им отца единственное чувство: хорошо, хоть чем-то увлечен, старается... Когда около тридцати, после нескольких лет «проверки чувств», Винер наконец ощутил себя и материально, и морально созревшим для брака, его жене во время медового месяца пришлось выводить счастливого супруга из тяжелой депрессии, — чем ей впоследствии пришлось заниматься еще не раз и не два. В какой-то момент Винер даже отправился лечиться к психоаналитику, честно раскрыв перед ним доминанты своего внутреннего мира: преданность науке, любовь к поэзии Гейне, чью «Принцессу Шабаш», воспевавшую бытовую униженность и религиозную высоту традиционных евреев, он не мог перечитывать без слез...

Психоаналитика, однако, интересовали исключительно психоанальные отверстия в полузабытые сны, поскольку все высокое во внутреннем мире человека представлялось ему лишь личиной чего-то низкого. Интересно, какой бы оказалась мыслящая и чувствующая машина, если бы по образу и подобию человека ее сотворил какой-нибудь ортодоксальный фрейдист? И почему сам Винер не стал измышлять своего Голема по своему образу и подобию? С мнительностью, с неустойчивой самооценкой, с неизвестно на чем основанным чувством вины, с перемежающейся депрессией?

Возможно, Винер обрел прочную уверенность в себе, лишь сделавшись изобретателем кибернетики. Точнее, изобретателем слова «кибернетика», ибо в собственно кибернетических его сочинениях сегодня трудно отыскать что-то, кроме тривиальностей и поверхностных аналогий. И все-таки кибернетику никак нельзя назвать лженаукой. Поскольку она, в отличие от того же фрейдизма или марксизма, ниче-

го не утверждает, не дает никаких конкретных рекомендаций, которые можно было бы оспорить, но лишь намекает, подчеркивает некое действительно существующее сходство человека и машины, — кто же вам велит делать вывод, что частичное сходство есть тождество?

При этом живет и процветает не утопическая, а реальная кибернетика — область прикладной математики и вычислительной техники, занимающаяся моделированием всевозможных процессов с участием человека, — это процветание вполне можно назвать научным, технологическим и социальным прорывом. Но если научные прорывы могут возникать на основе новых знаний, то прорывы социальные осуществляются только на волне каких-то чарующих грез. И главным творцом — или только стимулятором? — кибернетической грезы бесспорно была «Кибернетика» Норберта Винера. Это и делает его одной из значительнейших фигур двадцатого века.

Памятник всем известному солдату

Абсолютно трезвый, то есть абсолютно свободный от воздействия фантазии разум, если бы таковой каким-то чудом оказался возможным, пожалуй, счел бы бессмысленными наши понятия «историческое событие», «судьбоносное событие», — кои мы с необыкновенной легкостью различаем в жизни не только народов, но даже индивидов. И то сказать: обрыв страховочного каната разве не судьбоносное событие в жизни альпиниста? Еще бы! Но ничуть не менее судьбоносным было его решение отправиться в горы, купить именно в этом магазине именно эту веревку — и т. д., и т. д. И даже сам роковой обрыв складывается из обрывов тысяч отдельных волокон, среди которых нет более и менее «главных», а есть лишь первые и заключительные: разрыв последнего волокна всего лишь приводит к последствиям, заметным уже и для нашего грубого восприятия.

Иными словами, судьбоносными, историческими событиями, «звездными часами человечества» мы называем лишь те события, которые бросаются нам в глаза, поражают наше воображение: выдернутую репку мы невольно приписываем

усилиям Жучки. Историю мира мы строим не по законам науки, стремящейся выделить те факты, которые имеют наиболее важные реальные последствия, а по законам художественной драмы, стремящейся прежде всего потрясти наше воображение. И с этой точки зрения Ферми был историческим персонажем не так уж долго.

Увы, этого нельзя было бы избежать, если бы даже он родился в тысячу раз более гениальным, чем Эйнштейн и Бор вместе взятые: на профанов, чьей коллективной фантазией и творится образ истории, производит впечатление только открытие нового материка, для них историческим лицом является только Колумб, а героические пионеры, обследовавшие и обжившие Америку, уже так, технические работники, неизвестные солдаты, которым и памятники ставят безымянные, словно подчеркивая, что ни один из них не более важен, чем другой. И Энрико Ферми выпала судьба сделаться одним из таких солдат, одним из таких работников — поразительно квалифицированным, всесветно уважаемым, но уже «одним из», — не Беккерелем, открывшим радиоактивность в 1896 году (за пять лет до его рождения), не Резерфордом, пришедшим к основополагающей планетарной модели атома, когда маленькому Энрико было десять лет, не Бором, который еще через два года сформулировал свои квантовые постулаты, потрясшие науку до самого основания, — любознательному мальчишке тогда не давал покоя гораздо более простой вопрос: почему вращающийся волчок не падает?

Его отец, выбившийся из крестьян в довольно крупные администраторы на железной дороге, не мог ответить на его вопросы, да, кажется, и не поощрял праздного любопытства, но его сослуживец, образованный инженер Адольфо Амидей, начал снабжать тайного вундеркинда серьезными книгами: до этого он перебивался случайными покупками на букинистическом рынке Кампо Деи Фиори, на той самой Площади Цветов в Риме, где некогда сожгли Джордано Бруно. Тогда же юный Ферми обрел друга-единомышленника Энрико Персико, с которым они впоследствии сделались первыми профессорами теоретической физики в Италии.

Поступая в элитарную Высшую нормальную школу Пизы — города Галилея, семнадцатилетний Ферми уже сумел потрясти экзаменатора своими познаниями, которые сделали бы

честь и молодому кандидату наук. В студенческие годы он, кажется, в первый и в последний раз в жизни отдал некоторую дань дурачествам, вступив в «Общество против ближнего», чья цель была устраивать ближним разные неопасные каверзы. Однако зловонная бомба в учебной аудитории едва не привела к исключению — будущую гордость итальянской науки отстоял пожилой профессор, просивший восходящую звезду позаниматься с ним новомодной теорией относительности (скоро у Энрико появились и серьезные статьи на эту тему). Тем не менее в тогдашних письмах Ферми своему тезке Персико невозможно найти ни тени легкомыслия: сначала школьник, а потом студент то собирается прокалбировать барометр, то стремительно дочитывает Хвольсона (Ореста Даниловича, почетного академика, прославившегося еще и афоризмом «Академик так же отличается от почетного академика, как государь от милостивого государя»), то интересуется горизонтальной составляющей магнитного поля Земли, то разбирается с резонансными эффектами кольцевой цепи, в письмах постоянно упоминаются сочинения Пуанкаре, Пуассона, уравнения Гамильтона — Лагранжа — Якоби, «Термодинамика» Планка, статистика Больцмана...

Пожалуй, только раз встречаются какие-то признаки юного хвастовства, более чем простительного для физика без малого в девятнадцать лет: «На физическом факультете я постепенно становлюсь самым большим авторитетом. Так, на днях я прочитаю (в присутствии ряда корифеев) лекцию по квантовой теории». Да попадаются еще и редкие упоминания о велосипедных прогулках с девушками и пешеходных вылазках в горы. При этом Ферми до конца своих не столь уж долгих дней уделял время спорту — но лишь в обычной своей прагматической манере: добиваясь не красоты, а здоровья. Почти так же он относился и к науке: добивался не изящества, а результата — по возможности наименее простейшими методами. Возможно, ему пришлось по вкусу максима Больцмана «Оставим изящество портным» (тогда как богоравный Пуанкаре прямо настаивал на том, что целью ученого является поиск максимальной красоты — но для Ферми простота, по-видимому, и была красотой). Решительно все ученые, имевшие с ним дело, отмечают его стремление раскрывать наисложнейшие тайны мироздания через предельно наглядные аналогии. Этот прагматизм, это

стремление к простоте и результативности делало Ферми непревзойденным прикладником, но, возможно, в чем-то обедняло как теоретика, мыслителя, лишая его необходимых всякому Колумбу прожекторских черт характера. Он и признанным классиком призывал молодежь не витать в облаках, но исследовать конкретные вопросы. Что было бы совершенно правильным, если бы не исключало редчайшие, но блистательные исключения.

Даже в студенческие годы, когда люди в наибольшей степени склонны к капризам, Ферми, казалось, не имел ни одного нелюбимого предмета: удостоилась исключения одна только дифференциальная геометрия, «от которой мухи дохнут», да и то лишь потому, что «задачи для изучения в ней выбирают по единственному признаку — они не должны быть хоть сколько-нибудь интересными». Но в целом он живет по принципу «надо так надо». Судя по всему, он считал вовсе не слабостью, а доблестью не вступать в борьбу с тем, что ты не в силах изменить, но, напротив, всегда добиваться максимального результата с наименьшими затратами.

Как и большинство нормальных физиков, Ферми, скорее всего, был позитивистом, то есть пребывал в иллюзии, будто человек может изучать объективные факты, не погружая их в воображаемый контекст, осуществляющий и отбор, и интерпретацию этих фактов. Однако в социальной сфере он тоже, по-видимому, бессознательно исповедовал этический позитивизм, который от преклонения перед фактом легко приводит к смирению перед силой. Для художника, для пророка это позиция губительная, однако для ученого, возможно, наиболее целесообразная. Для практической работы, но не для попадания в историю, ибо сделаться персонажем исторической драмы возможно лишь путем превращения в поражающий воображение социума фантом.

Сахарову, например, это вполне удалось, но Ферми не был ни бунтарем, ни юродивым, ни бессребреником, — я-то совершенно нормален, с гордостью комментировал он слова куратора Манхэттенского проекта генерала Гроувза: мы, мол, здесь собрали невиданную коллекцию чокнутых. Даже внешность его располагала к романтизации, пожалуй, еще меньше, чем внешность Владимира Ильича Ленина, — которому лысина подноса глаже и маленькие глазки ничуть

не помешали вломиться во всемирную историю, ибо он ухитрялся сочетать предельный утопизм целей с предельным прагматизмом средств. Мощные грезы ухитряются ставить себе на службу даже тех, кто воображает себя прагматиками, — похоже, Ферми был из этой породы.

«Молодой человек был коротконогим и сутулым, его шея как-то выпячивала голову вперед... Это едва можно было назвать улыбкой, — слишком уж тонкие и сухие у него губы...», — так вспоминает первую их встречу его любящая жена Лаура. Вдобавок улыбка открывала не выпавший вовремя лишний молочный зуб. Глаза, правда, были веселые и внимательные. Хотя и они были слишком близко посажены, почти не оставляя места для узкого носа. И однако же «его уверенность в себе была абсолютно лишена сомнений». Только женская логика, обостренная влюбленностью, способна так безошибочно различать уверенность в себе и сомнение. Видимо, именно благодаря его уверенности в себе эта прелестная дочка высокопоставленного морского офицера (кого тогда интересовало, что он еврей!) во время медового месяца послушно штудировала уравнения Максвелла и во время похолодания не решалась вставить вторые рамы, покуда супруг не нашел ошибку в вычислениях, доказывавших, что от вторых рам нет никакого проку.

Наиболее мощными лично для него сделались два достижения — так называемая статистика Ферми-Дирака и теория бета-распада. Первая возникла, когда Ферми решил применить принцип Паули (не может быть двух частиц с одинаковым набором квантовых чисел) к идеальному газу, что позволило существенно обновить теорию электропроводности, теплопроводности и др. Вторая была посвящена важному виду радиоактивного распада атомных ядер, при которых атом, практически не меняя массы, меняет заряд ядра на единицу, — верьте на слово, что одним лишь количественным анализом этих процессов Ферми навсегда вошел бы в историю науки, хотя этот анализ и не способен настолько потрясти воображение людской массы, чтобы войти в число звездных часов человечества.

А вот как глава школы... Он вряд ли получил бы кафедру в двадцать шесть лет, если бы не поддержка наиболее выдающегося в ту пору итальянского физика Орсо Марио Корбино,

директора Физического института Римского университета, сенатора, бывшего и будущего министра, сочетавшего в себе идеалиста и практика, обладающего еще и авантюрной жилкой. Их встреча состоялась 28 октября 1922 года, когда римские чернорубашечники приветствовали своего дуче, маршировавшего по направлению к столице во главе своих фашистов. И власть, и средний класс были так измучены непрерывными социальными водоворотами и боязнью катаклизмов еще более ужасных (Великая Октябрьская Революция действительно светила миру своим адским пламенем), что многие приличные люди, вплоть до родного отца Лауры Ферми, уже смотрели на Муссолини как на избавителя.

Избавитель, как известно, в конце концов свергнул избавляемых из огня да в полымя, но на первых порах физике от него перепало немало полезного, так что Ферми, несмотря на высказанное в первые дни фашистской диктатуры намерение эмигрировать, остался в Италии на шестнадцать впечатляюще плодотворных лет. А когда он начал излагать на семинарах новейшие принципы квантовой механики, несовместимые, как свобода и предопределение, почтительные ученики наградили его титулом Римского папы. Муссолини же в 1929 году произвел Ферми в действительные члены итальянской Академии наук, учрежденной им в пику старинной Академии деи Линчеи, позволявшей себе фрондерствовать. Ферми принял назначение с большим удовлетворением: когда речь шла о физике, интересы «римского папы» совпадали с интересами дуче.

Наука действительно могла возвысить Италию и в чужих, и в собственных глазах, а слава страны, возможность гордиться ею составляют один из важнейших ресурсов власти. Как ни странно, именно презирающие «двуногих тварей» диктаторы лучше всех понимают и эксплуатируют высшую человеческую потребность — потребность ощущать себя частичкой чего-то великого и бессмертного. Чтобы выбить у властолюбцев почву из-под ног, наивные либералы стараются всячески осмеять и заклеить эту склонность, внушить человеку желание жить исключительно собственными интересами, то есть в одиночку влачить к неотвратимой бездне непомерный груз страхов, утрат и неудач, которыми так перегружена телега жизни. Сверхчеловеков и недочеловеков, способных смириться с этим ужасом, оказывается не так

уж много, а большинство все равно потихоньку старается идентифицироваться с чем-то менее беспомощным и более долговечным, чем они сами. И счастье настоящих ученых заключается в том, что их бранные интересы совпадают с вечными интересами науки и могут обходиться без общенародных суррогатов бессмертия.

Когда в 1934 году явилось сенсационное известие, что супруги Жолио-Кюри, бомбардируя бор и алюминий традиционными альфа-частицами (ядрами гелия), получили новые радиоактивные изотопы азота и фосфора (искусственная радиоактивность!), Ферми пришло в голову (не ему первому) использовать вместо альфа-частиц, отторгаемых положительно заряженными ядрами, электрически нейтральные нейтроны. Ферми и компания принялись лихо-радочно облучать нейтронами всю таблицу Менделеева и действительно открыли и исследовали ряд новых радиоактивных изотопов. Но когда наконец дошли до номера 92 — до урана...

Однако еще прежде обнаружилась странная вещь: когда источник нейтронов отделили от мишени слоем парафина, счетчик Гейгера затрепал на мишени как сумасшедший. Ферми с железной выдержкой прервал возникший гвалт указанием идти завтракать и вернулся с готовой теорией: чтобы пробить слона насквозь, нужна пуля стремительная; но если мы хотим разложить его организм — требуется отравленная пуля, которая бы застряла в его туше, — сходным образом медленные нейтроны оказываются эффективнее быстрых. Конечно, на деле все гораздо сложнее, и тем не менее открытие ядерных реакций под воздействием медленных нейтронов было тем главным, что принесло Ферми Нобелевскую премию, а человечеству ядерную энергетику.

Увы, и в своей нобелевской речи 1938 года Ферми повторил свой прежний вывод, что облучение урана привело к уже привычному появлению соседних элементов с номерами 93 и 94, патристически окрещенных авсонием и гесперием — имена, восходящие к древним названиям Италии и Апеннинского полуострова. (Вскоре авсоний и гесперий были открыты по-настоящему и переименованы нептунием и плутонием.) Однако лауреат был вынужден к заготовленной

заранее речи сделать сноску: в связи с тем, что Ган и Штрассман обнаружили барий среди продуктов распада при облучении урана... Последнее означало, что ядро урана раскалывается на приблизительно равные части и что Ферми упустил шанс сделаться тем Колумбом, который первым осуществил расщепление атомного ядра. Не хватило воображения, как однажды признался сам Ферми, или не хватило хорошего химика, как часто говорят другие, но Ферми при всей своей легендарной выдержке до конца дней не мог скрыть горечи от этого рокового «зевка», отнявшего у него звездный час.

И все же он пережил его 2 декабря 1942 года, когда, едва освободившись от почетного звания «подданного враждебной державы», звания, обязывавшего передвигаться по стране лишь при наличии специального пропуска, ему наконец-таки удалось запустить первую расходящуюся цепную реакцию на крытом теннисном корте под трибунами стадиона Чикагского университета. Проблемы перед ним стояли труднейшие, но уже чисто технические: ведущим специалистам было ясно, что медленные нейтроны, раскалывая атомное ядро и высвобождая невероятное для такой ничтожной массы количество энергии ($E = mc^2$), могут при этом порождать огромное число новых нейтронов, которые в свою очередь — и так далее, и так далее. Но вот где достать такую уйму чистейшего графита, как изгнать вредные примеси, в каком порядке перемешать источники нейтронов с графитовыми блоками, чтобы те их побольше замедляли и поменьше поглощали, — перечислять можно очень долго.

Но в конце концов, преобразаясь в снабженцев, углекопов, каменщиков, грузчиков, Ферми и его команда соорудили приплюснутый графитовый шар около шести метров высотой и начали по очереди вынимать из него кадмиевые стержни, которые с особой жадностью поглощают нейтроны (примерно так же ядерными реакциями управляют и сегодня). Толстый аварийный стержень оставили висеть над «котлом», чтобы в случае выхода процесса из-под контроля обрубить веревку и залить реактор растворами солей все того же кадмия. Но ничего этого не понадобилось. Затрепачали самописцы, и невозмутимый «римский папа» спокойно объявил: «Цепная реакция началась».

В Лос-Аламосе под именем Эджина Фармера Ферми вновь сделался незаменимым консультантом на все руки, но все же только «одним из», первоклассным солдатом элитного отряда, в котором виднейшую роль играли эмигранты (чтобы не сказать «евреи»), а в качестве инициаторов атомного проекта так просто решающую: американских ученых Гитлер еще не успел ужаснуть в достаточной степени. Ферми, правда, воспользовавшись нобелевской процедурой, бежал в Америку от сравнительно мягкого Муссолини, которого радикализировали умеренные политики, вечно забывающие завет его соотечественника Макиавелли: не наноси малых обид, ибо за них мстят как за большие, — если не можешь уничтожить, лучше вовсе не задевай.

Вторгаясь в октябре 1935 года в Абиссинию, Муссолини надеялся, что это ему сойдет с рук за его последовательную антигитлеровскую позицию, однако тогдашние лидеры европейской политики, наивные, как все прагматики, понадеялись при помощи экономических санкций ослабить его положение в собственной стране, но вместо этого лишь укрепили у народа иллюзию общей судьбы со своим вождем, общего противостояния международным жандармам. На призыв дуче затянуть пояса итальянские женщины во главе с королевой и при участии Лауры Ферми потянулись сдавать в фонд обороны свои колечки и сережки, а дуче, превратившись в международного изгоя, был вынужден обратиться за поддержкой к другому, главному изгою, которому только что грозил войной, если тот рискнет осуществить аншлюс Австрии, — чтобы через четыре года приветствовать этот самый аншлюс рукоплесканиями. И в том же 1938 году был опубликован «Расовый манифест»: во имя защиты итальянской расы от единственного неассимилировавшегося народа, еврейские дети отчислялись из казенных школ, еврейские учителя увольнялись, еврейские адвокаты и врачи сохраняли право обслуживать только евреев...

Впрочем, титульную нацию тоже решили подтянуть: принялись регламентировать форменную одежду для штатских чиновников, стиль дамских причесок, изгнали мужские галстуки, мешающие целиться из ружья, холостякам запрещалось занимать должности в правительственных учреждениях, карьера женщин ставилась в зависимость от их

замужества, запрещались браки с иностранцами, а также с евреями... Энрико последним законом был уязвлен даже больше, чем Лаура.

В итоге благодаря оси Берлин — Рим Муссолини повис вверх ногами на виселице на той самой площади, на которую охваченные патриотическим порывом итальянки сносили свои цапки, а Ферми оказался в пустыне Аламогордо, где во время первой ядерной вспышки, поразившей своей сверхъестественной красотой даже профессиональных военных, Ферми, не обращая внимания на золотые, пурпурные, малиновые, серебряные и синие переливы, сыпал на землю заранее наципаные клочочки бумаги, чтобы по их отклонению определить силу ударной волны, — и определил с удивительной точностью. Однако после обследования в специально оборудованном танке оплавившейся местности Ферми, обычно не желавший терпеть ни малейшей зависимости от кого бы то ни было, впервые позволил шоферу отвезти себя домой.

В числе четырех наиболее авторитетных специалистов Ферми был включен в особую комиссию, принимавшую решение, применять ли атомную бомбу против Японии или только поугадать ее на каком-то показательном полигоне. Коллективная рекомендация этой большой четверки не отличалась большой оригинальностью или самомнением. «Наш долг перед страной... Для спасения жизни американцев... Не можем претендовать на особую компетентность в решении политических, социальных и военных проблем».

Когда, потрясенные Хиросимой и Нагасаки, многие физики заговорили о создании мирового правительства, способного удержать контроль над ядерным оружием, — которое, бог даст, сделает войны невозможными, Ферми оставался при своем обычном скепсисе: никакие ужасы никогда не останавливали людей, все зависит от их решимости и жестокости, а подчиняться мировому правительству человечество еще не готово.

Его последние пионерские исследования частиц высоких энергий были внезапно оборваны неоперабельной формой рака — возможно, следствием многолетнего соприкосновения с радиацией. Ферми сумел-таки и перед лицом ангела

смерти, явившегося за ним 28 декабря 1954 года, сохранить свою обычную невозмутимость — остаться верным своему принципу не восставать против того, что все равно нельзя изменить.

Зато памятник ему ученый мир измыслил более долговечный, чем любые пирамиды: открытый в 1953 году искусственный радиоактивный элемент номер сто был назван фермием.

Третий путь

Эйнштейна знают все. «Фрукт?» — «Яблоко». — «Физик?» — «Эйнштейн». Что же интересного можно написать о такой фигуре в наши вольные времена, ведь при проклятом совке нас учили всякой чепухе — какие явления и законы ученый открыл, на какие принципы опирался, тогда как главное — был ли он садистом, онанистом, гомосексуалистом? — от нас скрывали. Каждое эпохальное научное открытие немедленно порождает свое социальное отражение — социальный фантом, который начинает вести самостоятельное существование, — я намеренно избегаю слов «миф», «легенда», ассоциирующихся с чем-то красивым и глубоким, ибо социальные фантомы очень часто бывают крайне примитивны и являют собой полную противоположность оригиналу: большинство гуманитариев и поныне убеждены, что в геометрии Лобачевского параллельные прямые пересекаются, хотя прямые называются параллельными только в том случае, если они не пересекаются. А фантомный Эйнштейн вообще наворотил чего-то такого, в чем разобраться решительно невозможно. Эйнштейн Чаплину: вы будете великим человеком, потому что вас понимают все. Чаплин Эйнштейну: а вас не понимает никто, но вы все равно сделали великим человеком. Был этот мир глубокой тьмой окутан. Да будет свет! И вот явился Ньютон. Но сатана недолго ждал реванша: пришел Эйнштейн, и стало все как раньше. Все это повторяется и будет повторяться, хотя на самом деле ситуация ровно обратная: именно без Эйнштейна мир был окутан тьмой, а с ним как раз явилось просветление. При этом специальная

теория относительности принадлежит к числу таких предметов, которые, по словам Эйнштейна, чрезвычайно трудно открыть, но достаточно просто усвоить.

Эйнштейн был неизменным другом всех «людей доброй воли», неизменным врагом (в основном буржуазного!) милитаризма, защитником всех гонимых (на Западе!), а потому его социальный фантом в Советском Союзе всегда был крайне благостным: растрепанный благородный мудрец не от мира сего с вечной скрипкой в одной руке и вечными «Братьями Карамазовыми» в другой. «Жизнь во имя истины, мира и гуманизма». При этом охотно цитировались его бунтарские сожаления, что лишь очень немногие способны перешагнуть через предрассудки окружающей среды: ведь речь шла не о наших, а о чужих предрассудках. Но я думаю, Эйнштейн очень мало размышлял о том, что социализация индивидов и преемственность поколений определяются прежде всего усвоением и трансляцией системы предрассудков, коя и составляет базис всякой культуры. Да и науки тоже.

Поскольку, когда речь идет о гении, то есть о победителе (ибо гений — это социальный статус), все его конфликты с окружением толкуются в его пользу, советские биографии Эйнштейна прямо-таки истекали сиропом. В семействе неудачливого еврейского предпринимателя Германа Эйнштейна, которого иногда повышали до ремесленника, в немецком городе Ульм 14 марта 1879 года появился на свет сын Альберт. Гениальный малютка чуждался сверстников, предпочитая кубики, лобзик и скрипку (Эйнштейн и в зрелые годы признавался, что чувствует себя наиболее счастливым, когда он один). Однако старшим всегда резал правду в глаза, что в годы учебы породило нескончаемую череду осложнений сначала с учителями, а затем и с профессорами. Уже сверхзнаменитым физиком Эйнштейн вспоминал о своей гимназии: «Хуже всего, по-моему, когда работа школы принципиально основана на страхе, насилии и искусственно создаваемом авторитете».

Как будто бывают авторитеты не искусственные... Миллионам, если не миллиардам людей авторитет самого Эйнштейна и сейчас навязан не менее искусственно, чем ему авторитет какого-нибудь Бисмарка, — они поклоняются, не

понимая. Зато сегодняшнее стремительное одичание (объявления в газетах о снятии порчи, телегадалки, академии черной и белой магии и проч.) вызвано тем, что миллионы людей наконец-то решились сбросить бремя предрассудков и поклонения искусственным авторитетам и начали мыслить самостоятельно.

Юный Алик сетовал и на профессоров, склонных серьезно относиться только к тому, что усвоили до двадцати лет (впоследствии он снизил эту цифру до восемнадцати), и не похоже, чтобы Альберт Германович когда-нибудь понял, что наука просто не могла бы существовать, не будучи консервативной, не оберегая свои предрассудки: ученые столько раз их перепроверяют и передоказывают, что было бы полной нелепостью пересматривать их по первому требованию каждого юного петушка или психопата, коим прежде всего и свойственно с необыкновенной легкостью перешагивать через господствующие предрассудки. И сегодня не столь уж малочисленные ниспровергатели теории относительности тщетно плачутся, что их никто не хочет даже выслушать, — что есть чистая святая правда. А я самолично слышал лектора, который уверял, что пьянство в России так распространено еще и из-за культа иудея Эйнштейна, хотя теорию относительности открыл христианин Пуанкаре.

Пуанкаре действительно с разницей в несколько месяцев опубликовал статью, в которой наличествовали все базовые формулы специальной (или частной) теории относительности, а догадки об относительности всего на свете он высказывал еще раньше, но — одна из эйнштейновских интерпретаций поражала воображение профанов, и именно поэтому его фантом начал триумфальное шествие по миру, а богоравный Пуанкаре, по-видимому не уступавший Эйнштейну в гениальности, так и остался влачить сверхпочетное существование внутри ученого сообщества. При этом отзываясь об Эйнштейне как об одном из самых оригинальных умов, с которыми он сталкивался.

Если, как это принято, выискивать в биографии каждого гения предвестья будущих триумфов, то можно вспомнить, что в самом раннем детстве его поразил компас, стрелкой которого управляла невидимая сила. Затем «неописуемое впечатление» произвела на него «священная книга»

по геометрии — достоверностью, недостижимой в повседневности. Но что более всего упрочило его нигилизм по отношению к миру социальному — книга Бюхнера «Сила и вещество», та самая «Stoff und Kraft», которую Базаров рекомендовал для чтения Николаю Петровичу Кирсанову. «Следствием этого было прямо-таки фанатическое свободомыслие... Молодежь умышленно обманывается государством... Недоверие ко всякого рода авторитетам, верованиям и убеждениям...» — с такими-то настроениями шестнадцатилетний Алик бросил школу и перебрался в Милан к отцу, тщетно искавшему счастья за горами. Там юный космополит и поспешил избавиться от вюртембергского гражданства. Чтобы через много-много лет вдруг предаться грусти: «Никогда не знал места, которое было бы для меня родиной».

Впоследствии с редкой для естествоиспытателя пронизательностью и откровенностью Эйнштейн называл причиной творчества — творчества художника и творчества ученого — стремление «уйти от будничной жизни с ее мучительной жестокостью и безутешной пустотой, уйти от уз вечно меняющихся собственных прихотей», а также «создать в себе простую и ясную картину мира; и это не только для того, чтобы преодолеть мир, в котором он живет, но и для того, чтобы в известной мере попытаться заменить этот мир созданной им картиной». Иными словами — уйти в грезы. Поэтому те тысячи и тысячи людей, чьи авторитеты, верования и убеждения он впоследствии не раз оскорблял не только «недоверием», но и прямым презрением, могли не без оснований упрекнуть его, что он считает достойными уважения лишь собственные иллюзии...

Из вышеприведенного признания Эйнштейна явствует, что картина мира, которой ученый пытается заменить реальность, должна быть не только простой, ясной и прогностически точной (писанные требования к научной теории), но и — неписаное требование — психологически приемлемой или даже эстетически обаятельной. А приемлемыми, «допустимыми» ученые бессознательно считают, вероятно, лишь те модели и аналогии, которые они усвоили в возрасте не критичности, — подобно тем гадким профессорам, которые серьезно воспринимают лишь то, что усвоили до двадцатилетнего возраста. (В этом, возможно, одно из принципиаль-

ных различий между научными и художественными грезами, которым почти никакой закон не писан.) У бунтаря и нигилиста Эйнштейна в конце концов тоже обнаружилось ядро предвзятостей, от которых он не пожелал отступить под напором даже самых, казалось бы, неотразимых аргументов и фактов, — он так и не согласился принять вероятностную трактовку квантовой механики, одним из создателей которой он был: бог не играет в кости!

Почему? Может быть, как раз играет, тем более что ни в какого персонифицированного бога Эйнштейн не верил, а все прочие представления о боге не более чем словесные конструкции. В ответ он мог бы привести разве что полюбившиеся ему слова своего предшественника Лоренца, которого во время Первой мировой войны пытались убедить, что только жестокость и насилие вершат судьбы в этом мире: «Может быть, вы и правы, но в таком мире я не хотел бы жить». А по отношению к миру научных фантазий возможность выбрать у Эйнштейна была...

Хотя и от социального «сущего» он изо всех сил старался отгородиться грезами «должного». Но до этого надо было еще дослужиться. А в Милане, сидя на шее разоряющегося, смертельно больного отца, он еще не мог себе такого позволить.

Эйнштейн попытался без аттестата зрелости поступить в цюрихский Политехникум, но провалился по гуманитарным предметам. Пришлось заканчивать школу в Аарау, где его постоянно занимал мысленный эксперимент: если бы мы мчались за световым лучом с его же скоростью, как выглядело бы «стоячее» волновое поле?

В цюрихском Политехникуме Эйнштейн тоже не снискал особых лавров: он раздражал преподавателей саркастическим апломбом, не имевшим никаких наблюдаемых оснований (хотя он со «священным рвением» зачитывался всеми классиками новейшей физики, но более всего — историей механики Маха, которую до конца своих дней называл «революционным трудом»). Это не была каноническая ситуация «гений и толпа» или «еврей среди антисемитов»: об Эйнштейне весьма пренебрежительно отзывались такие математические тузы, как Гурвиц и Минковский, оба евреи.

К тому же другие его однокурсники-евреи сразу получили хорошее «распределение», и только он один остался без места.

Лакированная биография-легенда умалчивает, что молодого Эйнштейна даже посещали мысли о самоубийстве, когда он в течение многих месяцев болтался практически без средств к существованию, хватаясь за любую работу-однодневку, но не удерживаясь от конфликтов и там. И это несмотря на подступавшую женитьбу (вопреки бешеному протесту матери!) на уже беременной от него сербской девушке-хромоножке Милеве Марич, которая сумела преодолеть предрассудки окружающей среды и отправилась учиться физике, но не сумела с двух попыток выдержать выпускные экзамены. Так что юный нигилист с огромной радостью ухватился за должность самого низкого разряда в патентном бюро города Берна: теперь он с горем пополам мог содержать семью. Внебрачная же их дочурка таинственным образом растворилась без следа — возможно, отданная куда-то на воспитание; может быть, именно поэтому молодая мама пребывала в постоянной мрачности, но на настроении папы этот инцидент, по крайней мере внешне, никак не отразился.

Впоследствии у них было двое сыновей; один из них, шизофреник, не мог самостоятельно перейти через улицу, чтобы не забыть, откуда пришел. Брак в конце концов распался, и Эйнштейн женился на своей разведенной кузине, которая была на пять лет старше его. Эльза была матерински предана своему упорно не желающему взростеть супругу, однако он всю жизнь нуждался в эмоциональной подпитке платоническими интрижками. Милева согласилась на развод, лишь когда он пообещал отдать ей подзадержавшуюся из-за интриг его врагов Нобелевскую премию (32,5 тыс. долларов, его патентоведческое жалованье лет за пятьдесят). Впоследствии феминистическая мысль додумалась и до того, что вовсе не Пуанкаре, а именно Милева внесла решающий вклад в создание теории относительности и что Эйнштейн развелся с нею не в силах выдержать ее интеллектуального превосходства. Фантом рос и ветвился.

Годы в Берне с 1902-го по 1909-й Эйнштейн считал самыми счастливыми и плодотворными в своей жизни. Я бы сказал — сказочно плодотворными. «Релятивистская шу-

миха» началась далеко не так быстро, как это выглядит в легенде и как хотелось бы самому Эйнштейну; но когда она все-таки завертелась, он ворчал, что она затмила другие его «полезные вещи», которые были, «возможно, даже еще лучше». «Лучше» — это, пожалуй, слишком сильно сказано: его статистический анализ броуновского движения, конечно, тоже вывел бы его в классики, но все-таки не в первооткрыватели-революционеры. Вот другая его идея — о том, что свет, волновая природа которого уже давно не вызывала сомнений, являет собой поток микроскопических частиц, фотонов — была действительно эпохальной. Она объяснила парадоксальную природу фотоэффекта (кинетическая энергия электронов, выбиваемых из металла светом, зависела не от его интенсивности, а от его частоты, то есть цвета), но поставила перед миром еще более странную проблему: как же это возможно свету обладать одновременно и волновыми, и корпускулярными свойствами? Ответ на этот вопрос впоследствии дала квантовая механика, однако Эйнштейн его отверг — по психологическим мотивам, которые не желал принимать во внимание его учитель Мах, заклейменный проклятием Владимира Ильича Ленина (своя материалистическая, так и хочется прибегнуть к ленинскому слову).

«Я усматриваю подлинное величие Маха в его неподкупном скептицизме и независимости», — писал Эйнштейн в автобиографии, не задумываясь о том, что этими доблестями в непревзойденной мере обладают тысячи и тысячи самодовольных дураков. Независимость же младшего современника Эйнштейна — Адольфа Гитлера — простиралась даже до того, что он вообще отрицал истину как в нравственном, так и в научном значении слова: кто навязет миру свою волю, тот и прав. Сила Маха заключалась, пожалуй, больше в последовательности, с которой он из множества «очевидных» физических принципов, объясняющих устройство мира, стремился выбрать наиминимальнейший их набор.

Мы все равно имеем дело не с предметами, а с комплексами ощущений, рассуждал Мах, так давайте и не гнаться за недоступной реальностью, а станем наиболее удобным, «экономным» способом описывать эти самые комплексы, не пугаясь никаких «неестественных» моделей. Похоже, Мах

не заметил, что мириады наших разрозненных ощущений отбираются и группируются в комплексы уже на основе имеющихся предвзятостей о структуре мира: хаотические пятна и линии на «загадочной картинке» не сливаются в рисунок или надпись, покуда мы не догадываемся, что на ней искать. А когда найдем, уже не можем их не видеть, — не замечая ничего другого. Иными словами, мы можем, избегая сознательных предрассудков, работать только с тем материалом, который уже отобран и сгруппирован нашими предрассудками бессознательными. Не говоря уже о том, что и сами наши представления об удобстве и экономности тоже почерпнуты из мира предвзятостей... Тем не менее Мах чрезвычайно раскрепостил фантазию Эйнштейна.

Мы что, где-то видели «абсолютное время», которое якобы измеряется нашими часами? Наоборот: мы видели только часы, показания которых мы и называем временем. Какое такое «абсолютное пространство», вы что, его трогали? Существуют только предметы, расстояния между которыми мы и называем характеристиками пространства. И если обнаруживается, что и убегая от светового луча, и устремляясь ему навстречу, мы все равно сближаемся с ним с одной и той же скоростью, — ну так и что? Эту нелепость можно поправить серией других нелепостей: изменить течение времени, изменить длины предметов, изменить даже их массу, — не беда, поскольку этого внутри системы отсчета все равно никто не заметит, ибо все измерительные приборы тоже изменятся ровно настолько, что их показания останутся прежними. Так, не сворачивая в сторону, Эйнштейн дошел и до самой своей эстрадно-эпохальной формулы $E = mc^2$ — масса способна превращаться в энергию, чего никто никогда еще не наблюдал. Хотя до практического применения ядерной энергии в Хиросиме оставалось всего каких-нибудь четыре десятилетия.

Постепенно пришла слава, почетные и не слишком обременительные должности, а в 1913 году Эйнштейн был избран в Королевскую прусскую академию наук, где в качестве «читающего лекции академика» вскоре получил все права профессора без его педагогических обязанностей. Он быстро сделался берлинской достопримечательностью; на лекции этого растрепанного (однако чисто выбритого!) гения

в слишком коротких брюках ломались туристические дамы в надежде завладеть кусочком мела, которым новый Ньютон и Коперник в одном лице царапал свои непонятные закорючки, — сегодня нечто подобное происходит только с рок-звездами. Его манера держаться одинаково и с высшими, и с низшими наконец-то начала выглядеть не нахальной, а демократической.

Через четыре месяца после его прибытия в Берлин началась Первая мировая война, и среди всеобщего патриотического подъема, который наблюдатель из другой системы отсчета мог с полной уверенностью назвать шовинистическим, Эйнштейн занялся активной антивоенной пропагандой, которой не прекращал и после поражения Германии, не задумываясь, что этим укрепляет смертельно опасный для его народа фантом «Евреи — враги немецкой нации». Несмотря на то что в процентном отношении евреев в германской армии служило больше, чем немцев. Этого чудака не испугали ни проклятия, ни угрозы, ни даже награда, печатно назначенная за его голову особо щедрым патриотом, отделавшимся за эту милую шутку символическим штрафом. Хотя ситуация была нешуточная: искренний германский патриот и добрый знакомый Эйнштейна министр иностранных дел Вальтер Ратенау в качестве еврейской свиньи был убит в своем служебном лимузине. Открытом, несмотря на то что даже Эйнштейн советовал ему оставить свой пост, не дразнить ни гусей, ни волков. Ради безопасности не только собственной, но и всего еврейского народа.

Теперь главные враги Эйнштейна называли теорию относительности не просто блефом, но всемирным еврейским блефом, этим, правда, лишь подливая бензина во всемирный костер его славы. Его неслыханная популярность превысила все мыслимые пределы, когда астрономические наблюдения подтвердили одно из важнейших следствий законченной во время войны общей теории относительности: лучи света, проходя мимо большой тяготеющей массы, действительно искривляются. Но простите, ведь именно световые лучи и служат эталоном «прямизны»? Тогда лучше сказать, что искривляется пространство. Причем искривляется до такой степени, что световой луч может так никогда и не выйти за пределы какой-то ограниченной области. А это означает, что наше

пространство может быть ограниченным. Не имеющим границы («безграничным»), но ограниченным. Как, скажем, четырехмерная сфера. Вообразить такое трудновато, но формулы, описывающие эту картину, написать вполне возможно. И все-таки главную свою заслугу на языке профанов Эйнштейн однажды сформулировал так: прежде думали, что если убрать из мира все предметы, то пространство и время все-таки останутся; я же показал, что в этом случае не будет ни пространства, ни времени.

Мир без пространства и без времени вообразить практически невозможно, и все же эта модель представлялась Эйнштейну психологически вполне приемлемой. Ибо не нарушала привычного детерминизма. А вероятностную теорию он встретил с такой непримиримостью, что однажды его друг Эренфест сказал Эйнштейну: «Мне стыдно за вас: вы воюете с новой квантовой теорией так же, как ваши противники воюют с теорией относительности».

Социальный престиж Эйнштейна сделался настолько высок (его именем называли младенцев и марки сигар), что обо всех мировых процессах он теперь мог высказываться наравне с главами суверенных держав, — и он редко уклонялся от общественного долга. Он хвалил Ленина, используя общеизвестный принцип относительности: друзей судить по декларациям, а врагов по поступкам, друзей по достижениям, врагов по издержкам. Он одобрял или уж, по крайней мере, снисходил ко всему, что творилось в Советском Союзе, заявляя, что эксперименты подобного масштаба и следует проводить в предельно неблагоприятных условиях, чтобы наиболее надежно подтвердить проверяемую гипотезу, — о моральной допустимости экспериментов на людях он, похоже, не задумывался, когда на карте стояла такая чарующая греза, как социализм. О личностях он иногда отзывался довольно резко, но система оставалась выше подозрений. Эйнштейн даже и на склоне лет написал специальную работу, доказывая, что только плановое хозяйство способно избавить мир от всевозможных социальных язв. Правда, чтобы плановая экономика работала эффективно, требовалось воспитать людей в духе коллективизма. Это был сущий пустячок, если учесть, что в системе отчета самого Эйнштейна, в системе его личных грез всякая собственность воспринималась действительно обузой. Этот

принципиальный противник всякого насилия не задумывался, что подчинить миллионы людей какому угодно плану без насилия абсолютно невыносимо. Он считал, что людям следует примириться с временным ограничением свободы ради будущего благоденствия. Эйнштейн на деле доказал, что даже величайшие умы нередко преодолевают предрассудки окружающей среды только для того, чтобы подпасть под власть еще более нелепых предрассудков среды инородной. Заметить же и преодолеть все свои предрассудки так же невозможно, как, находясь внутри системы отсчета, отличить ее движение от покоя.

Естественно, после прихода Гитлера к власти Эйнштейн, приглашенный в Принстон, клеймил фашистов, защищал коммунистов, поддерживал сионистов, однако имело реальные исторические последствия, пожалуй, лишь одно из его общественных деяний — письмо президенту Рузвельту о необходимости начать разработку ядерного оружия, чтобы опередить (как позже выяснилось, мнимую) разработку немцев. Разумеется, после Хиросимы и Нагасаки он раскаялся в своем поступке, но тем не менее в оправдание ему можно сказать, что все-таки именно Хиросима сделалась социальным символом чего-то невиданно ужасного, что ни в коем случае «не должно повториться», — тогда как ничуть не менее ужасные «обычные» бомбардировки в общественном сознании так и остались нормальными средствами военного воздействия.

С немцами Эйнштейн и после войны не желал иметь «ничего общего», не прощая им истребления его «еврейских братьев»: холокост превратил его в пылкого сиониста, не желавшего, правда, отдельного еврейского государства, но мечтавшего о двуязычной равноправной федерации евреев и арабов под международным управлением, наивно полагая, что ненависть «простых» арабов провоцируется богатыми землевладельцами. Простых же немцев он не считал жертвами провокации, оценивая число «виновных» как девять из десяти. Американцев он тоже считал более опасными для мира, чем русских, укрепляя не спускавшее с него глаз ФБР в убеждении, что он тайный агент Советов. Однако, отказавшись протестовать против «дела врачей», Эйнштейн определил свою позицию так: его протест все равно не будет услышан за «железным занавесом», но зато подольет масла

в пламя ненависти американцев к России. Он и в Америке считал коммунистов менее опасными, чем антикоммунистическую истерию.

Последние десятилетия своей жизни Эйнштейн потратил на создание единой теории поля, пытаясь отыскать в гравитационных и электромагнитных полях проявление какого-то общего начала. Ученый мир теорию не принял, однако гении формул на ветер не бросают: возможно, последние идеи Эйнштейна (и сейчас авторитетные, но не уникальные), подобно ньютоновской корпускулярной теории света, когда-нибудь обретут новую общепризнанную жизнь, окончательно возведя Эйнштейна в сверхгении среди сверхгениев. Не знаю, насколько мучительно Эйнштейн переживал свою неудачу, уходя из жизни 18 апреля 1955 года. Во всяком случае «самый прекрасный дар природы — радость видеть и понимать» был с ним до самого конца. О смерти он говорил совершенно спокойно, ощущая свою индивидуальность полностью растворенной во всеобщем, причем, перечисляя источники счастья, не упоминал ни жену, ни детей. Он даже завещал сохранить в тайне то место, где будет развеян его прах.

И все же фантастический социальный успех его образа наводит на важную догадку: авторитет науки основывается не на том, что она создает полезные вещи, а на том, что она поражает воображение. Все изобретатели электрических утюгов давно забыты, но живет и побеждает фантомный образ Эйнштейна, потрясшего мир чудом и тайной, повлекшими за собой и невиданный авторитет. И когда сегодня ученые мужи надеются вернуть утраченный престиж науки стандартными средствами общественного воздействия — подкупом и угрозами, — то стараясь доказать свою экономическую полезность, то заговаривая о создании собственной партии, — они забывают о самом эффективном третьем пути — пути очарования, формирования коллективных фантомов. Претендуя же на ординарность, пытаясь уподобиться металлургам и полководцам, ученые обречены окончательно затеряться за их несопоставимо более широкими спинами.

Научные грезы не выживут, не сделавшись частью грез художественных, не опираясь на чудо, тайну и авторитет. Но увы — очаровывать может лишь тот, кто сам очарован...

Противоположности суть дополнения

Размышляя о Нильсе Боре, отдыхаешь душой. В век идеологических кошмаров и социальных ураганов, в век изломанных характеров и изломанных судеб боги, словно желая доказать, что им и это по плечу, иногда вдруг создают некое сочетание такого же, на первый взгляд, несоединимого, как свойства частицы и свойства волны, — я имею в виду вовсе не гений и злодейство, но гений и гармонию. В этих редчайших из редких случаях боги наделяют своего любимца доблестями, свободными от тех пороков, кои обычно считаются их естественным продолжением: они наделяют счастливица своеобразием без экстравагантности, благородством без истеричности, независимостью без властолюбия и даже умом теоретика без косорукости. Бог демонстрирует нам, что самые, казалось бы, противоположные достоинства на самом деле не более чем дополнения: в своем эталонном экземпляре они соединяют скромнягу и лидера, уравновешенного традиционалиста и неустрашимого революционера, тогда как чаще всего наиболее неукротимые революционеры выходят из психопатов, ибо именно для них невыносимы все традиционные узы. Но — подобные революционеры, как правило, начинают действовать раньше, чем успеют что-то изучить, а потому и устраивают революции в обществе, а не в науке.

Только... Возможны ли вообще революции в науке, где, как считают твердокаменные рационалисты вроде Карла Поппера, царит эксперимент и разумное убеждение? Высокоцитимый в начале XX века Эрнст Мах очень убедительно сформулировал, какой должна быть идеальная наука: ученым не следует спорить о том, кто прав, чья модель лучше отражает реальность, ибо все мы имеем дело не с реальностью, но лишь с порождаемыми ею комплексами ощущений. Поэтому дело науки только давать наиболее «экономные» описания изучаемых комплексов, изгоняя из своего языка все, чего нельзя увидеть, потрогать, понюхать, полизать. Нет, если то представление, что вещество состоит из неких неделимых атомов, способно подсказать вам какие-то экономически выгодные формулы (речь идет об «экономии мышления»), то, разумеется, этим представлением следует пользоваться как подсказкой, — не забывая, однако, о том, что это лишь эвристический прием, «подсобное средство»,

тогда как самих атомов мы так и не ощущали, а значит, было бы «нечестно» высказываться, каковы они «на самом деле».

И Мах был бы совершенно прав, если бы потребность в экономии мышления была единственной человеческой потребностью. Но, увы, человеку нужна еще и (всегда иллюзорная, но оттого не менее необходимая) психологическая уверенность, что в мире все в основном действительно обстоит так, как ему представляется в его воображении. Да, доказанных утверждений не бывает, но психологически убедительные бывают, и еще как, — за нею-то, за психологической убедительностью прежде всего и идет погоня.

Ревнивцу, изнемогающему от нестерпимого желания наконец-то выяснить, изменяла ему или нет его возлюбленная, — скажите ему, что если он не наблюдал ее измены, то нелепо и обсуждать этот вопрос. Попробуйте сказать матери похищенного ребенка, что не имеет никакого значения, останется он в живых или нет, если комплекс ощущений, именуемый ее Васенькой, все равно никогда больше не воспроизведется ее органами ощущений, — впрочем, с ревнивцами и несчастными родителями шутки плохи, лучше ограничиться не столь эмоционально значимыми научными вопросами.

Однако и ученые всего лишь люди. Планк, впервые выдвинувший в качестве чисто прикладного средства гипотезу о том, что излучение осуществляется дискретными порциями, квантами, писал: «экономические» соображения, вероятно, были последними из тех, что воодушевляли Коперника, Кеплера, Ньютона, Гюйгенса или Фарадея — их воодушевляла вера в реальность создаваемой ими картины мира; тот, кто отвергает реальность атомов, электронов, электромагнитную природу световых волн или тождество теплоты и движения, никогда не впадет в противоречие с логикой или фактами, но ничего и не создаст.

Боюсь, Планк прав. Боюсь, пресловутый махизм очень хорош для взламывания стереотипов, но почти бесполезен для поиска и созидания: ученый, который искренне поверит тому рационально непроверяемому утверждению, что его интеллектуальное конструирование — чистая игра, орга-

низующая исключительно его субъективный мир, лишится мощнейшего творческого стимула и скорее всего окажется столь же бесплодным, как художник, поверивший, что его образы не имеют никакого отношения к реальности. Правда, художнику, чтобы утратить страстный интерес к хотя бы и сквозь призму иллюзий воспринимаемому реальному миру, требуется особая эмоциональная бесчувственность (при этом интереса лично к себе как к единственно значимой реальности не утрачивает никто), — ученому же отречься от понятия истины, казалось бы, намного легче: мир его моделей, на первый взгляд, не кажется столь эмоционально значимым, как мир моделей (образов) художника.

Но это лишь на первый взгляд: речь ученых фанатиков всегда пересыпана такими выражениями, как «красота», «гармония», «захватывающее приключение», «святая любознательность», «волшебная сказка», «смелая предприимчивость». И не случайно, должно быть, два величайших физика XX века, совершивших революцию в естествознании, — Эйнштейн и Бор — далеко отставали от многих своих последователей в виртуозном умении оперировать абстрактными математическими формулами. При этом Эйнштейн прямо объявлял математику искусством ухода от существа дела (хотя о каком еще «существе дела» может идти речь, если математика позволяет экономно описывать собранные факты?). Бор же в силу своей деликатности и, так сказать, принципиального плюрализма столь резко не высказывался, но во всех своих эпохальных открытиях использовал предельно простые, можно сказать, будничные аналогии (капля, чаша с шарами). Его выдающиеся коллеги без конца говорили о его гениальной интуиции, но что такое интуиция, как не обладание моделями, которыми мы умеем пользоваться, но не умеем передать другим? А основой основ нашего опыта, подозреваю, даже в умудренной старости остаются физические, плотские впечатления — впечатление от твердого и холодного железа, от податливой и текучей воды, от опрокидывающего ветра, от уходящей из-под ног карусели, — и самыми психологически убедительными научными моделями в конце концов, вполне возможно, оказываются те, которые через кратчайшую цепочку аналогий восходят к элементарным чувственным впечатлениям. То есть к наипримитивнейшей реальности обыденной жизни.

Среди гуманитариев довольно популярно, если не сказать модно, эпатажное утверждение А.Ф.Лосева, что наука — такой же миф, как и все прочие, только намного более скучный. Ну о том, скучно или, наоборот, захватывающе интересно живется внутри этого мифа, могут судить только те, кто им зачарован. А вот насчет эквивалентности науки всем прочим мифам... Я уж не стану говорить о такой очевидности, как ее уникальные практические достижения, но уже и своей предельной консервативностью, своим стремлением без крайней необходимости не обновлять арсенал используемых образов (аналогий) наука являет собой все-таки тоже уникальную систему грез: если все прочие мифологические системы свободны использовать любые эффективные образы, ни в чем не стесняя своей фантазии, то наука требует придерживаться максимально медленного эволюционного пути: даже в тех случаях, когда без привлечения новых аналогий, новых моделей обойтись уже совершенно невозможно, новые конструкции, новые абстракции все равно должны быть максимально сходны с предыдущими образцами. А уж самые первые должны предельно напоминать исходные комплексы ощущений: наше чувство станет противиться, если кто-нибудь начнет моделировать поведение бильярдных шаров при помощи геометрических кубов, — если даже каким-то чудом его предсказания начнут сбываться.

Ученого, которому посчастливилось ввести в употребление аналогию нового типа, можно назвать новатором, пионером, но — совсем не обязательно революционером: нововведение оказывается революционным лишь в том случае, когда оно не только объясняет новый класс фактов, но еще и требует пересмотра какой-то значительной части прежних моделей. И в этом смысле Бор был еще более глубоким революционером, нежели Эйнштейн. Теория относительности потребовала пересмотра, казалось, самых базисных наших понятий — пространство, время, масса... Однако Бор пробурился еще более глубокую скважину — квантовая механика покусилась на основу основ всех наук вообще: на закон причинности, на осознанное или неосознанное убеждение каждого ученого, что одинаковые сочетания обстоятельств должны неизбежно порождать одинаковые последствия, — на эту глубину пересмотра отказался следовать даже Эйнштейн. Уже не имея никаких рациональных возражений, он от-

казывался принимать вероятностную картину мира уже по чисто психологическим мотивам (не случайно Макс Борн, один из главных идейных доноров новой парадигмы, назвал детерминизм суеверием): если миром правит случай, ему, Эйнштейну, лучше уйти из физики в казино. Официально, правда, Эйнштейн выражался более сдержанно: детерминизм в микромире исчезает потому, что нам известны еще не все параметры, управляющие тамошними процессами, давайте не делать слишком поспешных обобщений.

Но как же узнать, поспешны эти обобщения или не поспешны? По Маху, нужно ничему не удивляться, но лишь поэкономнее описывать наличествующие факты: с этой точки зрения, если в одной комнате предметы падают вниз вертикально, а в другой под углом к горизонту, — значит такова жизнь, от нас требуется только зафиксировать этот факт и не задавать глупых вопросов, почему да отчего так происходит. С этой точки зрения и первый революционный прорыв двадцативосьмилетнего Бора (три статьи, которые потрясли мир в «Philosophical Magazine» летом и осенью 1913 года) вовсе не выглядит таким уж революционным.

Напомним, что в 1911 году Резерфорд, этот Колумб атомной физики, пришел к выводу, что атомы (которых никто не видел как тогда, так и сейчас) представляют собой не сплошные шарики, а нечто вроде невообразимо микроскопических солнечных системочек, причем почти вся масса их сосредоточена в положительно заряженном ядре, вокруг которого вращаются отрицательно заряженные электроны. Что ж, скажет правоверный последователь Маха, раз такая модель лучше согласуется с опытными данными, можем пока принять и ее. Но в таком случае, согласно законам электродинамики, электроны должны непрерывно излучать энергию, а потому очень быстро падать на ядро, — тогда как они уже тысячи лет остаются на диво стабильными — не странно ли? Что за беда — значит в мире, где обитаем мы, заряды, движущиеся подобным образом, излучают энергию, а в мире, где обретаются атомы, не излучают (в разных комнатах предметы падают по-разному — оппоненты и упрекали Бора в том, что он, когда ему выгодно, пользуется классической моделью, а когда невыгодно, неклассической). Хорошо, пусть так; но атом при этом, когда все-таки что-то излучает, то излучает электромагнитные волны

не всех частот, но лишь специальных, дискретных, — как быть с этим? Подумаешь, бином Ньютона: если Планк и Эйнштейн уже приняли, что лучистая энергия испускается дискретными порциями, квантами, значит и переход электрона с орбиты на орбиту должен происходить скачками, — вот вам и все хваленые постулаты Бора: атомная система обладает рядом стационарных состояний, в которых она не излучает и не поглощает энергию; зато любое такое испускание или поглощение означает ее переход из одного стационарного состояния в другое.

Подогнать количественные характеристики таких переходов было уже делом несложной техники. И, однако же, во всем мире никто, кроме Бора, до этого не додумался. А у Эйнштейна, когда ему об этом сообщили, его и без того большие глаза сделались совсем огромными: значит, это — одно из величайших открытий! И прибавил, что у него самого много лет назад возникали подобные мысли, но не хватило духа их разработать.

А у Бора хватило. В этом и заключаются самые тяжкие обязательства, налагаемые наукой в отличие от мифотворчества: ученый должен быть как предельным нигилистом, не страшащимся самых революционных гипотез, так и предельным консерватором, стремящимся во что бы то ни стало сохранить арсенал накопленных моделей. И Бор умел как никто сочетать эти несочетаемые (взаимно дополнительные) качества.

И что особенно приятно, они позволяли ему пребывать в полной гармонии с социальной средой.

Правда, и среду эту надо было еще поискать. Дания, представляющаяся из громокипящей России совершенно кукольной страной, когда-то тоже гремела, громила, овладевала, вершила, но с некоторых пор начала лишь терять, терять, покуда наконец в 1879 году не уступила Германии уже и Шлезвиг-Гольштейн (кажется, на одну только Гренландию никто не покушался) и не принялась заниматься исключительно собственным благоустройством. Причем с исключительным успехом — чистота, порядок, сеть народных школ... Даже датская экономика выглядела идилической: кооперативы, экспорт превосходного масла, яиц, бекона...

Даже национальным гением датской литературы оказался не какой-нибудь бурный романтик или мрачный реалист, но великий сказочник Андерсен. (Хотя, в соответствии с принципом дополнительности, ему можно было бы противопоставить страх и трепет Кьеркегора.) В Дании и политический строй так и остался игрушечной монархией.

Банки мирового уровня в крошечной Дании отсутствовали, но все же Эллен Адлер, красавица-дочь либерального еврейского финансиста, основателя Копенгагенского коммерческого банка Д. Адлера сделалась матерью будущего национального героя. Наука мирового уровня в тогдашней Дании тоже присутствовала слабо, но все же отец отца квантовой механики Христиан Бор входил в научную и культурную элиту Копенгагена, хотя в истории запечатлелся больше тем, что основал университетскую команду по такому новомодному виду спорта, как футбол, способствовал его превращению в национальное увлечение. Папа вовлек в игру и обоих своих сыновей, старшего Нильса и младшего Харальда. Харальд впоследствии вошел в сборную страны, завоевавшую серебряную олимпийскую медаль; Нильс же в качестве вратаря не сумел подняться выше второго состава. Харальд вообще выглядел более проворным в практических делах. Он тоже сделался классиком, создателем теории почти-периодических функций, академиком, и его национальный институт математики работал впритык с институтом теоретической физики Нильса Бора, — но все же Харальд не был настолько гениален, чтобы требовалось уравновешивать его превосходство над миром какими-то трогательными слабостями.

Нильс же, будучи великолепным лыжником, мастером пинг-понга, яхтсменом, выглядел увальнем, еще в юности склонным ходить с опущенной огромной головой. Крупные черты лица делали его обаятельным скандинавским джентльменом, но отнюдь не красавцем, что тоже могло бы вызывать раздражение. Его бесспорное научное лидерство уравновешивалось простодушием, с которым он в виде отдыха предавался просмотрам вестернов: тут уж любой студент лучше его разбирался в том, кто из ковбоев угнал чье стадо и чьей невестой является та блондинка, которую похитил злодей. В отличие от младшего брата, блестящего лектора, Борглавный был не мастер говорить перед большой аудиторией,

да и в общении с начальством утомлял мучительно тихим голосом и слишком подробным анализом очевидностей (в которых-то, как правило, и таятся ошибки).

В его несомненном чувстве юмора тоже не хватало какого-то перчика — цинизма, злости: с иронией он публично отзывался, кажется, только о самом себе. Выступления часто открывал одной и той же байкой — о студенте, который первую лекцию своего профессора прослушал без особого восторга, потому что понял почти все; вторая лекция понравилась ему больше, потому что он понял только половину; третья же привела его в полное восхищение, потому что в ней он не понял ровно ничего. «Я начну прямо с третьей», — смущенно улыбаясь, заканчивал Бор и слово свое обычно держал. «И...» — произносил он и умолкал, чтобы через некоторое время возразить себе: «Однако...» — и снова умолкнуть.

Когда его осеяла какая-то мысль, лицо его становилось совершенно безжизненным; в детстве, теряя в сосредоточенности контроль за мимикой, они оба с Харальдом казались парой дебильчиков, — кто-то, наблюдая за ними, однажды не сдержал сочувственного возгласа: «Бедная мать!..» Однако в состязании, кто кого передразнит, Харальд быстро заставлял Нильса просить пощады; зато когда наступала очередь Нильса, его фантазии не удавалось измыслить ничего более злобного, чем «А у тебя на куртке пятнышко!» И в зрелые его годы если Бор говорил докладчику: «Очень интересно», — тот уходил расстроенный, ибо на общечеловеческом языке «очень интересно» означало «бред сивой кобылы». Все, что я произношу, не ленился повторять Бор, следует рассматривать как вопрос, а не как утверждение. А когда Бора спрашивали, как ему удалось создать едва ли не величайшую в истории научную школу, он неизменно отвечал: «Я не боялся называть себя дураком».

Хорошо называть себя дураком, когда в это не поверит даже последний идиот... Нильса Бора уже на студенческой скамье считали гением, но в противоположность этому титулу карьера его развивалась удивительно гладко. В 1910 году золотая медаль Датской академии за экспериментальное исследование сил поверхностного натяжения. В 1911-м докторская диссертация по непривычной еще «электронной теории металлов», которую в легендарном Кембридже знаменитый

«Джи Джи» Томсон, открывший электрон, рекомендовал (по-видимому, правда, не читая) к печати, только Бор отказался сократить ее вдвое. Но зато в Манчестере у великого Резерфорда пришло сначала признание его таланта, а затем и революционное открытие. Пришла мировая слава, лавина последователей, иногда выхватывавших открытие у него из-под носа, но по-настоящему сердился он только тогда, когда дело касалось чужих приоритетов. В 1917 году (в военном конфликте он был на стороне своей страны и радовался, что ей вернули последнюю отнятую территорию) по подписке специально для него в Копенгагене было начато строительство института теоретической физики, будущей Мекки всех теоретиков.

В благодарность к родине Бор отказался от невероятно заманчивого приглашения Резерфорда («вдвоем мы произведем настоящий переворот в науке») и не щадил своих сил, выполняя обязанности завхоза и прораба, — этот небожитель, витающий в электронных облаках...

В 1922 году — Нобелевская премия (одновременный нобелеат по литературе — Бенавенте-и-Мартинес, имя почти забытое: литературная часть премии уже начала превращаться в фабрику фальшивого золота). Затем сенсация за сенсацией: принцип неопределенности Гейзенберга (невозможно определить одновременно координаты частицы и ее скорость); гипотеза де Бройля (совмещение несовместимого — частицы и волны); гениальная идея Шредингера (весь мир волна, но лишь ее сгущения мы замечаем и называем частицами), — и завершающий аккорд: волновая функция характеризует не волну материи, а волну вероятности, с которой там или сям может быть обнаружена частица. И наконец — в 1927 году — принцип дополнительности («комплементарности») самого Бора.

Как всякий громкий научный принцип, принцип дополнительности породил свой социальный фантом: все объекты вообще, а объекты микромира в особенности описываются сразу двумя взаимоисключающими теориями. Хотя волновые и корпускулярные свойства объектов отрицают друг друга не более, чем суждения двух слепых: «слон — это колонна» и «слон — это веревка». Тем не менее каждому наблюдателю открыта своя часть правды: «противоположности

суть дополнения» отчеканено на золотой медали, учрежденной в Дании в честь ее национального гения.

После расщепления атомного ядра Бор первым угадал и тот изотоп урана, и тот еще не открытый элемент (плутоний), из которых впоследствии и были изготовлены обе бомбы, «Малыш» и «Толстяк», уничтожившие Хиросиму и Нагасаки. Нильс Бор под именем Николааса Бейкера («дядюшки Ника»), доставленный в Лос-Аламос после многочисленных приключений (чего стоит один только перелет из Швеции в Англию в бомбовом отсеке, из коего в случае опасности классика надлежало сбросить в море), служил консультантом Манхэттенского проекта, многим участникам которого он самолично помог спастись от Гитлера. Однако успех проекта немедленно пробудил в нем пророка: в соответствии с принципом дополнительности он принялся неутомимо убеждать сначала Рузвельта, а потом Черчилля немедленно поделиться атомными секретами со Сталиным для дальнейшего взаимного контроля. В итоге Рузвельт отправился на тот свет, а Черчилль потребовал пригрозить Бору арестом или, по крайней мере, открыть ему глаза на то, что он «находится на грани государственного преступления».

Тем не менее Бор до конца своих дней не прекращал призывать к международному контролю над ядерными программами и к сотрудничеству в области «мирного атома», — и кое-чего таки добился. Добился он и строительства исследовательского центра с тремя реакторами в самой Дании, неустанно при этом подчеркивая, что материальные выгоды от этого будут еще не скоро. Присутствие на парламентских дебатах привело его к заключению, что ученые стремятся к максимальному согласию, а политики к максимальному разногласию. В результате наибольшее количество запросов относилось не к огромным суммам на строительство, а к затратам на флагшток и конуру для сторожевого пса.

Прожившему последние тридцать лет в Доме чести, предназначенном для самого почетного гражданина Дании (дворец был построен для этой цели основателем пивоваренных заводов «Карлсберг»), осыпанному всеми мыслимыми наградами и почестями, судьба подарила Бору и кончину праведника: прилег и уже не встал. Случилось это 8 ноября 1962 года. Ровно через месяц после его семидесятисемилетия.

Еврейская половина крови в его жилах, похоже, сказала на его судьбе только тогда, когда, спасая его от оккупировавших Данию нацистов, подпольщики перевозили его через ночной Каттегат в нейтральную Швецию. Сами же датчане были не дураки отнимать у своей страны такой кусок ее славы — к чему столь склонны наши «патриоты».

Любопытно, что когда во время оккупации датские патриоты решили в знак протеста издать книгу о датской культуре, предисловие к ней попросили написать именно Бора. Бор долго размышлял и пришел к выводу, что одной из самых замечательных характеристик датчан является чувство уважения к другим нациям. Этот камень в нацистский огород был не менее увесист, чем пятнышко на куртке Харальда. Камень, попавший вдобавок в уже ушибленное место: еще в 1938 году на Всемирном конгрессе антропологии и этнографии в замке Эльсинор Бор не побоялся во всеуслышание провозгласить, что разные культуры дополняют друг друга! Не выдержав унижения, германская делегация, подобно братоубийце Клавдию, в гневе покинула зал.

Однако и эта дерзость сошла Бору с рук.

Для довершения сказки нужно упомянуть еще и идеальную жену, единственную на всю долгую жизнь, пятерых отличных сыновей (физик Оге даже вышел в Нобелевские лауреаты), что-то около десятка внуков, — однако и своему любимцу боги однажды решили показать, кто здесь хозяин: во время прогулки на яхте внезапный шквал на глазах отца смыл за борт его старшего девятнадцатилетнего сына. Да что уж там: никакие события ничьей жизни — и человека, и народа — не могут открыть, счастлив он или несчастлив, если не знать, в мире каких фантазий он живет. Но так хочется хоть на ком-то отдохнуть душой, оглядываясь на век изломанных характеров и изломанных судеб...

* * *

Зато если бы он явился к нам в эпоху гласности, все его легендарные заслуги заслонило бы главнейшее из главных, но наиболее тщательно скрываемое от народа обстоятельство (да шила в мешке не утаишь!) — его полуеврейское

происхождение. Так что, живи Бор в нашей стране, ему не раз и не два напомнили бы, чтобы он не воображал себя равноправным членом нации. А вот глупые датчане не обращали ни малейшего внимания на его национальную неблагонадежность и тем самым вырастили его датским патриотом, любящим родной флаг, даннеброг, в военных конфликтах неизменно становящимся на сторону отечества и, сверх всего, способным ради него на серьезнейшие жертвы: Бор отказался от сказочного сотрудничества с великим Резерфордом, чтобы развивать теоретическую физику у себя на родине. (Такое вот средство против утечки мозгов.) И превратил-таки Копенгаген в Мекку всех теоретиков мира! А наивные датчане в благодарность осыпали его почестями, через десять лет после Нобелевской премии 1922 года предоставив ему специальный Дом чести — роскошный особняк в помпейском стиле, выстроенный для самых выдающихся граждан Дании основателем пивоваренных заводов «Карлсберг».

Непривычные у них какие-то патриоты — готовы одарять кого попало, лишь бы только он приумножал славу их государства. Вот наши патриоты-профессионалы постоянно что-то стараются отнять у своей страны — отнять деньги, которые в нее готовы нести иностранные студенты, отнять ее авторитет, который они могли бы поднимать у себя на родине, отнять славу нобелевских лауреатов, вынюхивая в них примесь чуждой крови... А между тем никакого русско-еврейского межнационального конфликта в России нет, ибо у российских евреев нет никаких отдельных национальных интересов внутри России: они не претендуют ни на отдельный язык, ни на отдельную территорию (Биробиджан тщетно ждет своих сынов), ни на — что только и делает народ народом — какую-то отдельную историческую миссию. Нет, каждый отдельный еврей, разумеется, стремится к благополучию либо самореализации и тем самым неизбежно сталкивается с какими-то русскими конкурентами, — но даже тысячи и тысячи межличностных конфликтов не могут создать одного межнационального, ибо межнациональный конфликт — это конфликт коллективных наследуемых ценностей (если кому-то не нравятся слова «грезы», «иллюзии» или «фантомы»).

Поэтому все те, кто припутывает антисемитизм к серьезной политике, ставят личное выше общественного. Вот датчане

показали себя истинными государственниками: они поняли, что государству безразлично, кто именно создаст для него финансовую систему или теоретическую физику — рано или поздно все наиболее долговечные плоды достанутся датскому народу, как русскому народу в конце концов достались все дивные здания, возведенные итальянцами в Петербурге. Здания, которые еще долго будут дарить ему радость и прославлять его имя меж другими народами, как Бор будет прославлять свою Данию.

И даже укреплять экзистенциальную защиту всего мира, включая, разумеется, и Россию. Может быть, даже Россию в особенности. По крайней мере, у моего поколения Бор был одним из любимейших кумиров.

Но обаяние Запада созидалось не только учеными — художники очаровывали нас ничуть не менее.

ВДОХНОВИТЕЛИ И СОБЛАЗНИТЕЛИ

Немецкий экспрессионизм в советском зеркале

«Холодная война» была выиграна не холодным и не горячим, но незримым оружием, чье имя — соблазн. Мы годами подсматривали за куда более завлекательной западной жизнью сквозь дырочки и трещинки в железном занавесе, и наша собственная жизнь понемногу начинала представляться все более тусклой и незначительной. Нельзя сказать, что власть этого не понимала, но ведь понимать и видеть выход — далеко не одно и то же. Можно было, конечно, зашпаковать и самонаименьшие трещинки, но ведь это означало отсечь себя не только от «буржуазии», но и от так называемых прогрессивных сил, критикующих эту самую «буржуазию». Поэтому советским идеологам приходилось выписывать пропуска к советскому читателю и зрителю хотя бы наиболее крупным художникам, предварительно нейтрализовав те их качества, которые могли ввести советскую публику в соблазн. Луначарский занялся этим нейтрализующим просвещением с первых лет советской власти, штампуя статью за статьей по схеме «Зачем пролетариату Ибсен?» — про и контра.

В вершинные годы сталинского сталинизма с подобными тонкостями стали обходиться так же, как и со всякой прочей контрой, но в эпоху Брежнева открылась возможность разглядывать пикантности западной культуры через довольно-таки высокоумные монографии и сборники типа «Модернизм. Анализ и критика основных направлений» (М., 1987), перескакивая через строгие наставления редакторов насчет того, что позиция марксистско-ленинской эстетики по отношению к модернизму едина и недискуссионна и что модернизм независимо от различия его направлений есть явление кризиса, упадка и разложения культуры современного империалистического общества, явление форма-

листическое, враждебное гуманизму и реализму, тогда как советскому искусству следует идти проверенным ленинским курсом социалистического реализма.

Сегодня, однако, в год серебряной свадьбы названного сборника с советской интеллигенцией очень поучительно перечитать хотя бы и статью А. Тихомирова «Экспрессионизм», обложившись репродукциями и воспоминаниями о подлинниках, которые четверть века назад и не мечталось увидеть.

Что ж, статья грамотная, — если пропускать обличительные пассажи, то и впрямь можно кое-что узнать.

Все правильно — термин «экспрессионизм» (от латинского «expressio» — выражение) обычно применяется к таким явлениям искусства, «в которых изображение действительности деформируется ради сугубой выразительности в передаче духовного мира художника». Правда, если говорить строго, художники во все времена в той или иной степени жертвовали житейским правдоподобием, чтобы выявить или подчеркнуть какую-то скрытую суть вещей. Вспомним хотя бы удлиненные фигуры Эль Греко, освещенные словно бы вспышкой молнии, да и в Древнем Египте величие земного владыки подчеркивали тем, что изображали его в несколько раз крупнее, чем рядовую плотву. Художественное направление очень редко удается обозначить каким-то признаком, который бы не удалось отыскать за его пределами, — в гомеопатических дозах все есть у всех. Надежнее классифицировать, указывая конкретное ядро, а размытую периферию оставляя произволу искусствоведов.

Автор «Экспрессионизма» и называет это ядро — художественные объединения «Мост» и «Синий всадник». Художники этого ядра настаивали прежде всего на том, что творец имеет право на фантазию, на свободное выражение своего внутреннего видения. Но кто и когда отрицал это право? Когда такие банальности перерастают в пламенные декларации, это наводит на догадку, что слишком уж удушающими были, видимо, противоположные, еще более банальные догмы «реалистической» эстетики, полагающей единственную цель искусства в пресловутом подражании природе, в «отражении жизни как она есть». Рассуждения идеологов

экспрессионизма не случайно пересыпаны выпадами против «филистеров и авторитетов», но ведь одними выпадами и манифестами в искусстве не проживешь, без оригинальных творцов, без их творений, способных волновать и потрясать, декларации не стоят почти ничего.

И творцов экспрессионизма «Экспрессионизм» А.Тихомирова перечисляет тоже совершенно правильно.

Группа «Мост» была создана в 1905 году студентами архитектурного факультета Высшего технического училища в Дрездене — Эрнстом Людвигом Кирхнером, Фрицем Блейлем, Эрихом Хеккелем и Карлом Шмидт-Ротлуффом. В разное время к ней примыкали Эмиль Нольде, Макс Пехштейн и даже француз Ван Донген. «Установка членов группировки на некую варварскую интуитивную непосредственность определяла в некоторой степени общую линию поисков художественного языка. Тяжелые массы цельных неразложенных тонов (отказ от импрессионистической воздушной перспективы), пастозно положенных на крупнозернистые холсты в черных рамах, геометрически упрощенные формы, язык грубой примитивной силы, постоянные оглядки на Средневековье, на крестьянское прикладное искусство и на искусство экзотических стран (Африки, Полинезии), мистическая подоснова — все это, по мысли инициаторов, должно было придать искусству новой группы черты внушительной силы, способной разрушить, снести с арены искусства все созданное их предшественниками, которых они отвергали. Печать известной тяжеловесной неуклюжести лежала на этих картинах, где предчувствие какого-то ужаса нередко сочеталось с ощущением собственной неполноценности, со стремлением деформировать природные формы, выпятить безобразное, с решимостью дискредитировать и разрушить все, что казалось особенно устойчивым и незыблемым в буржуазном обиходе Германии накануне первой империалистической войны¹.

Есть или нет в картине «ощущение собственной неполноценности» — это всегда очень субъективно и спорно. Но что к восхвалению силы и грубости нередко склоняются

¹ А.Тихомиров. Экспрессионизм // Модернизм. Анализ и критика основных направлений. — М.: Искусство, 1969. С. 18.

те, кому этих качеств недостает, — это, как говорится, медицинский факт. «Предчувствие какого-то ужаса» — такие предчувствия обычно выискиваются задним числом. В картинах экспрессионистов частенько находят еще и прямые предчувствия Первой мировой войны, приписывая им пророческий дар, которого были лишены искушеннейшие политики, не догадывавшиеся о масштабе и сокрушительности подступающих бедствий. Об интеллектуалах и говорить нечего — Герберт Уэллс очень ярко изобразил их умонастроение: «Он вырос в твердой уверенности, сложившейся из общего молчаливого признания, что пушками можно орудовать только в колониях для усмирения дикарей, что войска на параде и боевые корабли на море — ничуть не меньшая формальность и традиция, чем лейб-гвардейцы в Тауэре... А тем временем, думал он, наука движется вперед, средства сообщения и связи улучшаются, и узы взаимосогласия, обеспечивающие благо всему миру, становятся все прочнее и крепче. Он считал, что короли, императоры, государственные деятели и военные власти... знают свое место в этой его высококультурной схеме. А оказалось, что он был просто дураком»².

Таковыми же дураками почувствовали себя многие и многие высококультурные люди — война была страшным ударом по интеллигентской вере в прогресс и разум. Но ведь, чтобы ощутить трагизм жизни, совсем необязательно предчувствовать какой-то конкретный ужас. С точки зрения человека двадцатого века, Лермонтов жил в идиллическую эпоху — и еще юношей пророчил «России черный год»: трагической натуре всегда найдется, что предчувствовать. Вместе с тем «деятели культуры» не в малом количестве встретили войну едва ли не восторженно. Томасу Манну, например, казалось, что Германия защищает культуру против цивилизации: «Культура — это вовсе не противоположность варварства... Культура может включать в себя оракулов, магию, человеческие жертвоприношения, оргиастические культы, инквизицию, процессы ведьм... Цивилизация же — это разум, просвещение, смягчение, упрощение, скептицизм, разложение». В этом смысле Германия воплощала в себе Культуру, а западные демократии — скепсис

² Г. Уэллс. Бэлпингтон Блепский // Собр. соч.: В 2 т. — Т. 2. — М.: Художественная литература, 1956. С. 354.

и дряхлость Цивилизации. «Народная», «глубоко порядочная», «торжественная» — это еще не самые высокопарные эпитеты, которые образованнейший гуманист отыскал для «империалистической бойни».

Тяга к некоей «исконности», «первозданности», «почве», «язык грубой примитивной силы» входит в эстетическое обеспечение почти всех фашистских течений. Но эта же тяга способна рождать таких великолепных художников, как, например, Эмиль Нольде, — «это почвенно-земное начало», как выразился о нем другой знаменитый художник Пауль Клее.

Если судить по портрету жены Ады — «Весна в комнате», Нольде мог бы существовать вполне благополучно как эпигон импрессионизма, но влечение к искусству Египта, Ассирии, Африки и Океании (а впоследствии к старшим современникам Ван Гогу, Гогену, Мунку) превратило его в истинно оригинального художника. Сын крестьянина из глухой деревушки, Нольде клеймил растленный город не хуже Василия Белова: «Тут воняет духами, у них вода в мозгах, они живут, пожираемые бактериями, без стыда, как суки». С другой стороны — «материал, краски были для меня как любовь и дружба; и то и другое жаждет принять самую красивую форму».

После этого в его картинах ночной жизни города начинаешь невольно ощущать борьбу авторского отвращения и «желания красок принять самую красивую форму». Скажем, «Ночное кафе». Продольные пастозные мазки делают старой и морщинистой напряженно вытянутую шею ночной дамы — при мертво отвисших уголках жирно и неряшливо намазанных губ, бюст вытекает из декольте, — но — как сияет эта дряблая кожа, только ночной электрический свет может сделать ее такой ослепительной. А как пламенеют вульгарно окрашенные рыжие волосы! «Цвета — это мои ноты, при посредстве которых я образую звуки и аккорды, сочетающиеся или контрастирующие друг с другом». Звуки и аккорды нельзя пересказать — можно только всматриваться, пока не захватит дух от восхищения или не зацементит сердце от сладкой боли. А житейская ситуация каждому откроется своя. Один разглядит в картине одиночество усталой немолодой женщины, все еще пытающейся

высоко держать голову, хотя бравый хахаль с физиономией кота ухмыляется ей чуть ли не в лицо; другой увидит отвратительную жабу, покупающую любовь молодого наглеца; третий — наглеца, приценивающегося к старой жабе... Ассоциаций будет столько же, сколько зрителей, но каждый отойдет от картины с чувством: боже, как прекрасен и как ужасен наш мир!

Оттенок разоблачительства покидает картины Нольде, кажется, лишь тогда, когда он от современности обращается к чему-то «исконному». Природа — «Маки и красные вечерние облака» — может казаться трагической, но не уродливой. Древние библейские персонажи — «Положение во гроб» — могут быть неуклюжими, но не фальшивыми. Скрюченная фигурка Христа, растопыренные пальцы на его продырявленной ноге, простодушный старик на корточках, горестно и пристально вглядывающийся в лицо мертвеца. Если бы картина была более традиционно мастеровитой, она не могла бы быть такой бесхитростно искренней. Искусность — это единственный враг, которого я побаивался, говаривал Нольде. Пышный Тьеполо внушал ему ужас. В письме из Новой Гвинеи Нольде признавался, что первобытные люди, живущие среди природы, часто представляются ему единственными настоящими людьми, а «мы» — уродцы, манекены.

Мечта романтиков всегда устремлялась из современных им серых будней в какие-то экзотические края и времена, где только и сохранилась некая подлинная жизнь, и экспрессионизм в моих глазах есть ветвь романтизма, стремящаяся освободиться от некоторой выпренности и слащавости своего предшественника.

В «Пророка» тоже нужно вглядываться очень долго, чтобы наконец он смилостивился и заговорил с вами. Тонких линий, психологических оттенков почти нет — простота и сила, мужество и скорбь высвечиваются из тьмы. Из-за разбросанных там-сям светящихся расщелинок среди черноты само дерево, на котором вырезан пророк, начинает казаться древним, растрескавшимся.

Но языка грубой примитивной силы в искусстве оказалось недостаточно, чтобы завоевать любовь тех, кто намеревался

говорить языком грубой примитивной силы в реальности. Главный идеолог объединения «Мост» Кирхнер покончил с собой через год после знаменитой выставки вырожденческого искусства тридцать седьмого года. Нольде пытался поладить с режимом, тоже объявившим борьбу с растленностью, сделавшим ставку на силу и простоту, вступил в нацистскую партию, и, однако же, его картины были изъяты из музеев, выставлены на позор среди прочих «вырожденческих» произведений, а самому художнику было запрещено заниматься живописью — даже для себя самого! Пехштейна постигла примерно та же участь. Фашисты не позволяли выпячивать безобразное.

Этот парадокс отмечался многими: «Эти мерзавцы, которые готовили себя для убийств и для которых убийство было главным занятием, главным удовольствием и содержанием их жизни, требовали от искусства какой-то нечеловеческой благопристойности. Казалось, их взгляду милее всего должны быть кровавые фантазмагории, кошмары, нагромождение трупов, искалеченные от боли и сладострастия лица — так нет же. В живописи, например, почитались скучнейшие пейзажи с изображением немецких лесов, гор, зеленых полей, по которым бродят откормленные стада и где возделывают почву трудолюбивые крестьяне. Были грандиозные статуи и портреты «немецких мужчин» — обнаженных мускулистых красавцев (лишенных, впрочем, признаков пола) или одетых в мундир «немецких женщин» — златокосых, задумчивых, но целеустремленных и уверенно глядящих вдаль.

Неврастеники, мистики, жизнь которых проходила в сплошной истерии... Они яростно боролись с «отклонениями от нормы», они только и делали, что кричали о «здоровом» искусстве, «полнокровном», «трезвом». Геббельс, например, приказал однажды прочесать все немецкие музеи и выявить хранящиеся в запасниках полотна враждебных художников. 730 полотен были извлечены из подвалов и выставлены на «всенародное» обозрение с такого рода надписями: «Так слабоумные психи видят природу», «Немецкая крестьянка глазами еврейчика». Приходили лавочники, унтер-офицеры, чиновники со своими женами — покатывались со смеху. После этого картины сожгли»³.

³ Л. Гинзбург. Бездна. — М.: Советский писатель, 1967. С. 141–143.

Увы, требование от искусства жизнеутверждения, общедоступности, красоты, прославления национальных святынь далеко не обязательно исходит от чего-то жизнеутверждающего, прекрасного и святого... «Борьба за нравственность и дисциплину», «за благородство человеческой души и уважение к нашему прошлому» — под этими лозунгами в Германии сжигались книги. Дело, наверно, в том, что ни один серьезный художник или писатель не «смакует мерзости» — он обращается к ним чаще всего потому, что они ранят его: ложь и лицемерие больше всего ранят людей совестливых, жестокость — добросердечных, а безобразия — оскорбленных за поруганную красоту. Боюсь, у человечества нет более точного измерителя красоты, истины и добра, чем душа художника: указывать ему — все равно что поправлять пальцем стрелку компаса. «Заблуждения» большого художника — это всегда какая-то правда, смысл которой мы не сумели постичь.

Однако я отвлекся, меж тем как А.Тихомиров вновь совершенно правильно перечисляет тех живописцев, кого классические экспрессионисты считали своими учителями, — бельгийского художника Джеймса Энсора и норвежца Эдварда Мунка (Ван Гог и Гоген разумеются сами собой.) Размалеванные маски Энсора, нелепые люди-куклы с размалеванными лицами-масками — даже странно, что это картины времен репинских «Запорожцев»... Равно как и «Крик» Мунка, написанный уносящимися вдаль, змеящимися вдоль горизонта синими, зелеными, желтыми огненными струями, — даже руки кричащего существа — две вырвавшиеся из рукавов струи...

Почему, собственно, Энсора и Мунка нужно считать не центральными фигурами экспрессионизма, а лишь его предтечами? Да потому, что направления в искусстве создаются не произведениями, но словами, лозунгами, группированием вокруг каких-то ошарашивающих символов, акций — то есть создаются не творческими, но социальными средствами. Не последнее из которых — объединение против общего врага.

К сокрушению последних бастионов натурализма и стремилось объединение «Синий всадник». Лидеры «Синего всадника» Василий Кандинский и Франц Марк выбрали это

название, по словам Кандинского, из-за обоюдной любви к синему цвету, а также из-за того, что «Марк любил лошадей, а я всадников». Уже из этого объяснения видно, что эпатаж, поддразнивание эстетической благонамеренности занимали основоположников не в последнюю очередь.

Кандинский, москвич по рождению и отчасти одессит по художественной школе, проживший к тому времени уже лет пятнадцать в Мюнхене — германском Париже, испытывавший влияние и русского лубка, и Гогена, и французских фовистов (почему бы не экспрессионистов? — слова, слова, слова...), за год до возникновения «Синего всадника» выпустил книгу «О духовном в искусстве», в течение года выдержавшую три издания. Кандинский рассказывал, что однажды, бросив случайный взгляд на картины у стены, он пришел в восторг, хотя и не понял, что там изображено. Это были его же собственные этюды — только перевернутые. Восхищение цветом без связи с изображаемым предметом привело его к мысли, что цвета — это некие клавиши, при помощи которых можно играть на рояле человеческой души.

«Художник, который является творцом, уже не усматривает своей цели в подражании (хотя и художественном) природным явлениям, хочет и должен найти выражение своему внутреннему миру. С завистью смотрит он, как подобная цель сегодня естественно и легко достигается наиболее нематериальным искусством — музыкой. Понятно, что он обращается к ней и пытается найти в своем искусстве те же средства. Отсюда в современной живописи проистекают поиски ритма, математической абстрактной конструкции, нынешняя оценка повторений цветового тона, манера приводить цвет в движение и т. п.» — вот такими цитатами, спасибо А.Тихомирову, мы и пробавлялись, не имея доступа к первоисточникам.

Есть ли в человеческих душах те самые струны, из которых клавиши цветов извлекали бы звуки более или менее сходные для разных людей, — это очень большой вопрос. Одни и те же цвета у людей разных культур часто вызывают противоположные чувства. Белый цвет — цвет невинности, юности, чистоты — у китайцев траурный. Белоснежный сахар своей мертвенностью способен вызвать у них

содрогание. Об изменчивости цветовых впечатлений в реалистической живописи и говорить не стоит. Классический пример: один и тот же красный цвет на щеках девушки и на ее носу выглядит совершенно иначе.

Общепонятной цветовой «нотной грамоты» явно не существует, но не исключено, что ее еще можно создать?..

Однако я за исканиями Кандинского едва не забыл про Марка. Франц Марк, убитый под Верденом в возрасте лорда Байрона, начинал с пантеистического стремления «вчувствоваться в трепет и поток крови в природе, в деревьях, в животных, в воздухе» и не нашел более подходящего средства, чем образы животных. Животные на его картинах действительно великолепны. Кажется, что эти мощные, праздничные цвета и силуэты сами по себе способны наполнить душу восторгом, — хотя, конечно, ни на миг не забываешь, что перед тобой еще и полные силы и грации живые существа — пантеры, кони, олени...

А двадцатисемилетний Август Мákке погиб в первый же год войны — и немецкое искусство, по словам его друзей, сделалось на несколько тонов беднее и бледнее. Когда долго вглядываешься хотя бы в его «Прогулку на мосту» — обобщенные силуэты, ослепительные краски, — невольно и сам начинаешь смотреть на мир как на яркий лоскутный ковер.

Немецких экспрессионистов бесчисленное количество раз и восхваляли, и порицали за эстетизацию безобразного, но их краски так великолепны, что волей-неволей дышат праздником. Однако А.Тихомиров причисляет к экспрессионистам еще одного блестящего графика, у которого ничего праздничного не высмотреть даже в электронный микроскоп.

В год смерти Ленина в почетной серии «Библиотека революционных монографий издательства Межрабпром» вышла брошюра «Лицо капитала»: пятьдесят пять рисунков Георга Гросса (сегодня часто пишут «Грос») — частью злободневные карикатуры на деятелей Веймарской республики (Эберт с короной на голове, «кровавая собака» Носке с окровавленным палашиком в зубах, Людендорф, Гинденбург и т. д.), частью незамысловатые аллегории.

Луначарский отозвался о Гроссе в высшей степени одобри-тельно: «Это поистине великолепно по силе таланта и по силе злобы...» Но дослужился до этих похвал Георг Гросс далеко не сразу. Родившись в один год с Маяковским, в юности он был погружен в «туманный идеализм, был еще настоящим романтиком» — до такой степени, что постепенно «стал настоящим человеконенавистником и скептиком-индивидуалистом». «Мои тогдашние рисунки были отзвуком этого настроения, окрашенного ненавистью. Я рисовал, например, стол пивной Зихен, за которым сидели завсегда, похожие на толстые, багровые туши, втиснутые в безобразные серые мешки. Чтобы выработать в себе стиль, который метко и беспощадно отображал бы грубость и бессердечие моих моделей, я изучал самое непосредственное проявление художественного импульса; я копировал фольклорные рисунки в писсуарах — они казались мне прямым и самым лаконичным выражением сильных чувств. Привлекали меня и детские рисунки своей однозначностью выражения»⁴.

Писсуары — это, пожалуй, еще большая первозданность, чем Африка и Полинезия... Еще до войны Гросс задумал трехтомный труд «Безобразия немцев». Маяковскому тоже с трудом удавалось останавливаться, громоздя перечисления лапоющих от жира «желудков в панаме»:

Два аршина безликого розоватого теста:
Хотя бы метка была в уголке вышита.

Как рисовальщик Гросс был не менее изобретателен — его бы достало и на пятитомник. «Мой опыт накануне войны можно подытожить в двух словах: люди — свиньи». Против воли попавший в армию санитаром, он несколько меньше ненавидел тех сослуживцев, кто, подобно ему, не испытывал энтузиазма. Его желчные зарисовки кое-кому из них доставляли удовольствие. «Я начал понимать, что есть лучшая цель для творчества, чем работа для себя или для торговца картинами». Его стало интересовать искусство прошлых эпох, такие художники, как Хогарт, Гойя, Домье. Затем революция, бегство Вильгельма II, короткое увлечение дадаизмом: «Дадаизм был порывом, который мы

⁴ Г. Гросс. Мысли и творчество. — М.: Прогресс, 1975. С. 37–38.

совершили, чтобы вырваться из того замкнутого, чванного и чрезмерно ценимого нами круга, который парил над классами и был чужд чувству ответственности и участию в повседневной жизни»⁵.

В девятнадцатом году Георг Гросс, подобно опять-таки Маяковскому, сблизился с коммунистами. И даже вступил в их партию. Очень деятельно сотрудничал в коммунистических изданиях и притом с большим успехом: в двадцатом году он был оштрафован на пять тысяч марок за оскорбление армии, в двадцать третьем — еще на шесть тысяч за оскорбление общественной морали, а в двадцать восьмом привлекался уже за богохульство (священник, балансирующий крестом на носу, распятый Христос в противогазе и т. п.). Правда, кое-кто из соратников оценил его не столь высоко: в двадцать шестом году критик с говорящей фамилией Дурус обвинил Гросса в неумении показать доблести рабочего класса. «Положительный герой» требовался коммунистам всюду — нужно было не только изобличать врагов, но еще и льстить соратникам.

Вполне родственные обвинения советские рапповцы предъявляли и Маяковскому, отчисляя его из пролетарских рядов в «анархистствующую мелкобуржуазную богему». К счастью, Гроссу стрелять в себя не пришлось — за него это готовы были сделать другие. После победы Гитлера он едва успел ускользнуть за границу, был включен в проскрипционные списки из пятисот пятидесяти трех человек — вместе с Генрихом Манном, Брехтом, Диксом, Кете Кольвиц, — а также удостоен участия в выставке «вырожденцев».

Последние два десятилетия своей жизни Гросс прожил в США, но незадолго до смерти в 1959 году он возвратился в Западный Берлин, где был избран действительным членом Академии искусств.

Советские искусствоведы до последнего дня спорили, изменил Гросс в последние годы идеям своей молодости или не изменил. Вместе с тем они единодушно одобряли его за то, что он сумел подыскать правильный классовый адрес для

⁵ Г. Гросс. Мысли и творчество. — М.: Прогресс, 1975. С. 39–41.

своего человеконенавистничества. Но велика ли заслуга сосредоточить всю мерзость мира в капиталистах и их «прислужниках»? Если бы свинства творили только богатые и могущественные, человечество бы уже давно стояло одной ногой в раю.

Что же тогда остается от громкого когда-то наследия Георга Гросса? Снайперски зоркий, беспощадный глаз, карандаш, не знающий промаха. Вглядимся хотя бы в его «Муштру». На любую фигурку пошло всего-то ничего линий и штрихов, но каждую из них можно разглядывать долго-долго, совершая все новые и новые маленькие, но восхитительные открытия. Лежащая совершенно горизонтально, будто на столе, нелепая бескозырка на голове новобранца, туповато-услужливо приподнятый барсучий нос, кроличьи зубы, обширное ухо, старательно и неловко оттопыренные локти. Даже в контуре гимнастерки ни один самый ничтожный изгиб не вычерчен просто так — во всем невероятная достоверность.

«Жабы» из серии «Лицо господствующего класса» по своей идее до крайности примитивны: кроткие замученные рабочие и звероподобные зажавшиеся буржуи. Но сколько не пропагандистской, а подлинной правды в этих двугорбых лысынах, в поджатых или брюзгливо растянутых губах, в несокрушимых, как ледоколы, переносицах, в трехъярусных затылках!.. На память приходят босховские хари, окружающие склоненного под крестной ношей Христа.

Возможно, желая возвысить экспрессионистов в глазах господствующего в Советском Союзе класса, А.Тихомиров причисляет к ним и Отто Дикса. Быть беспощадно правдивым даже к тем, кого любишь, — кажется, именно с этим девизом вернулся с фронта Отто Дикс, родившийся на два года раньше Георга Гросса и переживший его на десять лет. Его картина «Окоп», уничтоженная фашистами в 1933 году, будучи впервые выставленной в 1929-м, вызвала шок свирепой дегероизацией войны. Виднейший критик назвал ее комком грязи, но, естественно, и восторгов было немало — «потерянное поколение» тоже было в большом авторитете.

В том же году Дикс начал работать над триптихом «Война». Эту картину, как и все картины на свете, следует прежде

всего, разумеется, смотреть, но почти невозможно при этом не вспомнить хотя бы Ремарка, — у него мы тоже не найдем ни одной красивой смерти или раны — только обрубки тел, раздувшиеся трупы, куски мяса, кишки, вши, крысы, испражнения, поиски жратвы, пропахшие карболкой публичные дома с длинными очередями к истасканным шлюхам... «Если бы меня полюбил кто-нибудь, какая-нибудь стройная нежная женщина... Не всплывет ли в последний миг образ жирной девки, не загогочат ли голоса наших унтеров с казарменного плаца, орущих непристойности?»⁶.

Но едва ли не сильнее самой смерти герои Ремарка ненавидят красивые слова: «Зеленая травка... Непробудным сном... Покоятся... В навозных ямах, в воронках лежат они, изрешеченные пулями, искромсанные снарядами, затянутые болотом... Геройская смерть! Интересно знать, как вы себе ее представляете! Хотите знать, как умирал маленький Хойер? Он целый день висел на колючей проволоке и кричал, и кишки вываливались у него из живота, как макароны. Потом осколком снаряда ему оторвало пальцы, а еще через два часа кусок ноги, а он все еще жил и пытался уцелевшей рукой всунуть кишки внутрь, и лишь вечером он был готов». «Бросьте ваши громкие фразы. Они для нас больше не годятся».

Похоже, Отто Дикс, пулеметчик и командир ударного взвода, так никогда и не смог освободиться от страшных воспоминаний. Да и хотел ли? Может быть, ему казалось постыдным обморачиваться светлой оболочкой жизни, если она способна оборачиваться таким кошмаром, каким она обернулась для миллионов. Дикс до такой степени не желал хоть сколько-нибудь приукрасить инвалидов войны, что это граничит уже с глумлением. С глумлением над собственным отчаянием — посмотреть только, как браво работает своими подставками безногий в котелке на «Прагерштрассе»! А в «Автопортрете в образе Марса» 1915 года, при всей ироничности названия, Дикс тяготеет к обобщенно-символической трактовке — «смешались в кучу кони, люди». Оскаленные зубы, брызги крови, вспыхивающие там-сям прожектора, колесные спицы... В любом классическом портрете

⁶ Э.М.Ремарк. — На западном фронте без перемен. Возвращение. Три товарища. — Л.: Ленинград, 1959.

на первом плане человек — все остальное фон; здесь же прежде всего бросается в глаза безумный хаос, среди которого человека не сразу и разглядишь.

У Дикса человек, пожалуй, нигде не звучит гордо. Вот классическая сверхтрогательная тема материнства — «Мать с ребенком»: обтянутое кожей скелетное лицо матери, выпученные, словно от базедовой болезни, глаза, деформированный череп маленького страдальца... Даже с самыми дорогими людьми — «Семейный портрет Диксов» — художника не отпускает опасение впасть в красоту, в приукрашивание внешности, в приглаживание фактуры. Он подчеркивает скорее некрасивость: крупный нос, подзаплывшие глазки, неуклюжесть осанки — куда легче «опускать» своих врагов, как это делали Гросс и Маяковский.

Или вот заигрывающий с младенцем папа, чье лицо искажено несколько дебильной гримасой, — таким художник изображает себя самого! Даже среди грохота и пламени «Войны» он изобразил себя все-таки более одухотворенным, хотя и измученным. Не потому ли, что на краю гибели можно не бояться красоты? Там, на этой грани становится ранящим даже какой-нибудь фонтанчик волос, торчащих из намертво забинтованной головы...

Странная вещь... Эти желчные, обессахаренные романтики, подобно всем прочим романтикам, бежали от собственных будней в экзотические (фантастические) страны и времена, они бичевали свою эпоху за отсутствие поэзии, и, однако же, она сегодня в наших глазах уже овеейна поэзией. Благодаря искусству и — далеко не в последнюю очередь — благодаря живописи экспрессионистов.

Так что еще раз спасибо А.Тихомирову — без таких, как он, мы бы даже и не слышали этих имен.

Зато сегодня живопись экспрессионистов выглядит настолько привычной и классичной, что к их эпигонам уже хочется обратить слова Сальвадора Дали: если вы посредственность, то не лезьте из кожи вон, стараясь рисовать как можно хуже, — все равно будет видно, что вы посредственность.

ИСКУССТВО ГОСПОД

Сюрреализм — это я

Написать популярную статью о сюрреализме при старом режиме было так же просто, как лгать. Желаящему спокойно получить свой гонорар автору достаточно было засвидетельствовать, что слово «сюрреализм» происходит от французского *surrealisme* — сверхреализм, а дальше можно было сдирать хоть бы и из Малой советской (оттепельной!) энциклопедии 1960 года: «Сюрреализм одно из крайних формалистич. направлений в бурж. искусстве XX в. Опираясь на субъективно-идеалистич. теории (фрейдизм, интуитивизм), С. отрицает объективность познания, роль разума и опыта в искусстве, ищет источник творчества в сфере подсознательного — инстинктах, сновидениях, бреде параноиков, галлюцинациях. Первый “Манифест сюрреализма” опубликовал в 1924 г. в Париже А. Бретон. К С. примкнули во Франции писатели Ф. Супо, Р. Дено, Т. Цара, художники Г. Арп, А. Массон, М. Эрнст, Ж. Миро, А. Джакометти. Мнимое бунтарство С. привлекло к нему на некоторое время Л. Арагона, П. Элюара, П. Пикассо. Но в целом С., центр которого переместился в США, стал в 30–50-х гг. явно реакц. течением. Обычные мотивы художников-сюрреалистов (С. Дали, восхваляющий атомную войну, И. Танги, Р. Матта, Р. Магритт и др.) — нелепые, подчас устрашающие кошмарные фантастич. сочетания предметов и фигур, изображенных с натуралистич. тщательностью. В последние годы С. утрачивает влияние и пытается опереться на религ. мистику».

Фрейдизмом и интуитивизмом Анри Бергсона слишком забивать голову читателя при этом не стоило — довольно было списать: «Бергсон признавал за разумом способность исключительно внешнего, формального восприятия действительности («интеллект... есть познание формы») и отрицал за ним самое важное — проникновение в сущность вещей

и их взаимосвязи... В действительности же, по утверждению А. Бергсона, никакой необходимости не существует, и если бы мы рассматривали эволюцию жизни в ее совокупности, то нашему вниманию представилась бы «самопроизвольность ее движения и непредвиденность ее актов»⁷. Свой вывод А. Бергсон формулирует очень четко: «Интеллект характеризуется естественным непониманием жизни». Замысел жизни ускользает от нас, утверждает он. «Этот замысел и стремится схватить художник, проникая путем известной симпатии внутрь предмета, понижая, путем интуиции, тот барьер, который воздвигает пространство между ним и моделью». Бергсон представляет искусство «свободным актом» и противопоставляет его этим науке... Основанное на интуиции, противоположное интеллектуальному познанию художественное творчество является по теории Бергсона «мистическим процессом иррационального проникновения в сущность жизненных процессов».

Абзац-другой о фрейдизме можно было переписать из другой книги: «Оторвав психику от материальных условий и причин, ее порождающих, Фрейд подчинил ее особым, вечным, непознаваемым иррациональным силам, которые находятся за пределами сознания. «Бессознательное», согласно концепции Фрейда, — это глубинный фундамент психики, определяющий всю сознательную жизнь человека. Главным содержанием «бессознательного» являются инстинктивные побуждения и влечения, которые якобы определяют все богатство духовных устремлений людей, разнообразие их интересов, их природу и поступки... По мнению Фрейда, как сновидения, так и искусство — именно те области, где «бессознательное» проявляется наиболее непосредственно...

Сюрреализм получил теоретическое обоснование в «Первом манифесте» 1924 года, написанном признанным вождем всего направления французским поэтом и психиатром Андре Бретоном (1896–1965). Он писал: «Сюрреализм представляет собой чистый психологический автоматизм, с помощью которого — словом, рисунком или другим способом — делается попытка выразить действительное движение мысли... Это запись мышления, которое совершается вне всякого

⁷ Куликова И. Сюрреализм в искусстве. — М.: Наука, 1970. С. 20–22.

контроля разума (отметьте это противопоставление «мышление — разум», т. е. мышление — это еще не разум. — А.М.)... Сюрреализм основан на вере в высшую реальность определенных, до этого игнорировавшихся форм ассоциаций, во всемогущество сна, внецеленаправленную игру мышления»... Вслед за Фрейдом сюрреалисты видели во сне или бредовой галлюцинации лучший способ прорыва в глубины «бессознательного». Бретона увлекали поистине несбыточные надежды. «Я верю в будущее соединение этих двух с первого взгляда столь противоречащих друг другу состояний — сна и действительности — в некую абсолютную реальность — сверхреальность»⁸.

Цитаты из «реакционных философов» в общем-то не перевраны, но если читатель не проштудировал книги, из которых они изъяты, не исследовал основания, по которым эти мыслители думали так, а не иначе, то из цитат этих он добудет разве лишь впечатление натянутого умничанья. Читатели и пробегали весь этот разоблачительный набор ритуальной скороговоркой, чтобы выловить в брошюрах, бичующих «антиискусство», хоть какие-то сведения об интригующих именах. И прежде всего, конечно, о Сальвадоре Дали, пускай и с принудительным ассортиментом разоблачений.

«Все, что складывалось, формировалось, назревало в искусстве сюрреализма, нашло полное и концентрированное выражение в творчестве Сальвадора Дали, которое явилось «вершиной» течения и в то же время его концом.

Фигура Дали, которого знал весь мир, мультимиллионера и мистификатора, циника, фигляра и саморекламщика, все время державшего в возбуждении буржуазную прессу и публику, ожидавших от него очередной дикой выходки, создателя множества бешено оплачиваемых картин и рисунков, кинофильмов, балетов и книг (о себе самом), воинствующего реакционера в своих убеждениях, в прошлом безбожника и богохульника, позже — правоверного католика, мистика и мракобеса, представляет знаменательное и своего рода символическое явление культуры буржуазного мира. С этой точки зрения жизненный и творческий путь

⁸ Каптерева Т. В кн.: Модернизм. Анализ и критика основных направлений. — М.: Искусство, 1969. С. 147–149.

Дали обладает исключительной цельностью... Дали нельзя отказать ни в одаренности, ни в редкой трудоспособности и неистощимой жизненной энергии. Вместе с тем все это уродливо сочетается с его непомерным честолюбием, алчностью, полной беспринципностью... Он был исключен из Мадридской школы изящных искусств, подвергался аресту по подозрению в связи с анархистами, был изгнан из родительского дома... В 1929 г. переехал в Париж... Здесь, в Париже, он не только нашел себя, но и занял господствующее место в течении»⁹.

«Скандал разжигает аппетит любителя», — так разжигало наш аппетит одно из тех сверхдоверенных лиц, кому позволялось постоянно тереться на Западе, дабы его разоблачать, походя раздавая невидимые свободному миру затрешины тамошним знаменитостям. «Среди этих мистификаторов встречаются и способные, подчас самые талантливые люди, в совершенстве владеющие кистью, но заботящиеся не о том, чтобы создать произведения искусства, а лишь о том, как бы потрясти воображение “купца”, вызвать сенсацию и продать свой товар “с вывертом” и подороже. К числу таких деятелей искусства принадлежит, например, знаменитый Сальвадор Дали — один из основоположников сюрреализма.

На лондонской выставке “Ста лучших художников” я видел его картину “Дали, 1958”. Эта картина — трюк. А именно: вблизи — монотонные ряды белых точек, которые, если отступить на два метра, складываются в “Сикстинскую мадонну” Рафаэля, а если отойти еще на 13 метров — в огромное человеческое ухо. (Подобные разоблачения мы, “советская молодежь”, поглощали, облизываясь: во дает! — А.М.) Этот художник неистощим в изобретении трюков. Вот и недавно он вдруг объявил, что открыл новый сенсационный способ живописи: комбинировать... мушинные следы: если рассыпать на бумагу сахар, заявил он, мухи слетятся и будут пасть на ней, оставляя “сырье”, необходимое художнику... Дали намерен таким образом изобразить профиль Гомера»¹⁰.

⁹ Каптерева Т. В кн.: Модернизм. Анализ и критика основных направлений. — М.: Искусство, 1969. С. 157.

¹⁰ Жуков Ю. Без языка. — М.: Советский писатель, 1964. С. 196–198.

Трюкач и мистификатор — это все-таки лучше, чем певец атомной войны, и тем не менее у оппозиционных литераторов выискивать крупинки знаний о пикантностях западной культуры было не в пример приятнее. Крайности сходятся: самые непримиримые оппозиционеры тоже путешествовали по миру с немислимым для нас, конформистов, размахом. Путевые заметки Виктора Некрасова «По обе стороны океана» («Новый мир», 1962, № 11–12) вызвали критическую бурю из-за их недостаточной антибуржуазности, и сегодня каждый может полакомиться этим идеологическим ядом. «В отдельном зале Национальной галереи в Вашингтоне висит картина, называемаяся “Тайная вечеря”. Автор ее Сальватор (так у В. Некрасова. — А. М.) Дали. Перед ней всегда много народу. Не многие картины удостоились такой чести — висеть в отдельном зале.

Сальватор Дали — сюрреалист... У него эффектнейшие колючие, почти как у Вильгельма II, усы, известные всему миру... Он любит сенсации и всякого рода сногшибательные проделки... Где-то в Италии на каком-то им самим поставленном спектакле он сидел в ложе и раздувал по залу золотой порошок. Во время работы он носит на носу бумажку, так как нос ему мешает, мол, работать. На какой-то из своих выставок в Нью-Йорке он поставил в витрину ванну, обшитую изнутри шерстью, в которой лежала красавица, потом влез в витрину, перевернул ванну и разбил витрину...

Если же говорить серьезно, то Дали — художник, наделенный изощреннейшей фантазией, превосходный рисовальщик... Никакую войну Дали, конечно, не восхваляет, и вообще он ничего не восхваляет и не осуждает. Сальватор Дали, как и весь сюрреализм, — явление гораздо более сложное, хотя и закономерное в буржуазном искусстве, в явлениях его деградации»¹¹, — подобный тон считался скандально дерзким. Далее Некрасов описывает картину Дали с заманчивейшим названием «За секунду до пробуждения от жужжания пчелы, летающей вокруг граната»: парящая в воздухе нагая женщина, страшная рыба, выпрыгивающая из надкушенного граната, тигр, выпрыгивающий

¹¹ Некрасов В. По обе стороны океана. — М.: Художественная литература, 1991. С. 99–102.

из рыбы, из тигра еще один тигр, а из него — винтовка со штыком. И все это вот-вот вопьется в красавицу... А на горизонте шествует слон на паучьих ногах с обелиском на спине.

Да-а... Это тебе не Репин с Налбандяном!

Еще более знаменитый оппозиционер Евгений Евтушенко даже побывал у «мага» на ужине — на жареных фазанах, с расстояния вытянутой руки наблюдая прославленные усы — «две черные, витого воска свечи» — и трость, усыпанную «прыщами бриллиантов». Маг щедро делился с русским поэтом своими планами: проехать через Пиренеи на слоне, выкрашенном в лиловый цвет и обутом в сапожки «а-ля казак». Жена мага, русская эмигрантка «родом не то из Перловки, не то из Мытищ», называла супруга богом и повторяла, что гений выше национальности. Маг одобрительно поглаживал трость и жаловался на то, что от лиц «обыкновенных людей» его воротит, что его влекут фотографии преступников, что в Гитлере была некая грандиозность... И хотя советскому поэту нравились созданные магом горящие жирафы и провисающие, растрескавшиеся часы — «лужи расползающегося времени», кончилось тем, что он зарычал на классика сюрреализма: «Сволочь!», а его спутник, прогрессивный профессор-канадец, плюнул гению в кофе. «Я пил кофе с лимоном, со сливками, с ликером, но еще никогда — с плевками... — задумчиво сказал великий маг. — Может быть, это вкусно? Во всяком случае, надо попробовать»¹².

Дали читал лекцию в скафандре, стрелял из пролетки осветительными ракетами — мы больше слышали о его экстравагантных выходках, чем видели хотя бы репродукции его картин: маг был совершенно прав, громогласно заявляя, что самая громкая слава — скандальная: «Главное, чтобы о тебе говорили, — пусть даже хорошо». Мы прочли рецензию «Привилегия Духовных Пастырей»¹³ Джорджа Оруэлла на «Тайную жизнь Сальвадора Дали, написан-

¹² Евтушенко Е. Собр. соч.: В 3 т. — Т. 2. — М.: Художественная литература, 1984.

¹³ Оруэлл Дж. Проза отчаяния и надежды. — Л.: Лениздат, 1990. С. 324–325.

ную им самим»¹⁴ раньше, чем «Иностранная литература» решилась опубликовать отрывки из этой известной всему миру тайной жизни. Создатель могучего антитоталитарного романа «1984» в 1944 году беспристрастно перечислял, как маленький Сальвадор бьет по головке, словно по мячу, свою пятилетнюю сестренку, как чуть не перекусывает пополам изъеденную муравьями летучую мышь (эти муравьи будут часто копошиться в его картинах, равно как постоянно что-то будет в них подпирать костыль, бросившийся Сальвадору в глаза среди чердачного хлама), как в течение ровно пяти лет («мой пятилетний план») юноша Дали издевается над влюбленной в него девушкой, как ножницами вырезает глаза у дохлых мулов для фильма «Андалузский пес», как идет на первое свидание с любимой женщиной, тогда еще женой Поля Элюара (знаменитая Гала, Елена Дмитриевна Дьяконова, была старше Дали на двенадцать лет), намазавшись козьим пометом, вываренным в рыбьем клее (заодно он выбрил подмышки и выкрасил их в синий цвет — знак элегантности, прорезал дыры в одежде, надел янтарную цепь и воткнул в волосы красную гардению)¹⁵, как он увивался от опасностей и просто сложностей лавины войн, как... Но довольно и этого. Величайший обличитель тоталитаризма, Оруэлл называет деятельность Дали «прямой атакой на благоразумие и благопристойность», а автора «Тайной жизни» — «блестящим рисовальщиком, но мелким и грязным негодяем», для которого раздувание собственных пороков — единственный способ прославиться: ведь делать гадости далеко не так опасно, как совершать преступления.

Оруэлл не искажил ни единого факта. И все-таки... Все-таки критика без сочувствия обречена скользить по поверхности. Когда Сальвадор Дали явился на свидание с синими подмышками, распространяя аромат козьего помета на рыбьем клее, его обожаемая Гала погладила его по слипшимся от помады волосам и сказала: «Бедный мальчик! Мы никогда не расстанемся с тобой!» Попытаемся же и мы сменить отвлечение на сочувствие и тогда отыщем в «Тайной жизни»

¹⁴ Дали С. Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим // Иностранная литература. — 1991. — № 12. С. 160–212.

¹⁵ Маас В. Памятник Дали // Студенческий меридиан. — 1988. — № 8. С. 45.

фиглярствующего гения болезненно застенчивого мальчугана, способного ради вождельного внимания раз за разом, расшибаясь до полусмерти, прыгать с крутой лестницы, мальчугана, болезненно (или гениально) впечатлительного, способного зачаровываться свисающей лягушачьей шкуркой или пятнами на потолке (их превращения сделались одним из краеугольных камней его эстетики), впадающего в тоску при созерцании «Анжелюса» («Вечернего звона») Франсуа Милле, трясущегося от ужаса при виде кузнечика и влюбленного в дикий геологический пейзаж, проливающего слезы восторга над философским трактатом и сокрушенного смертью боготворимой матери: «И я ощутил, что в глубине моей души взрастает, расправляя могучие ветви, великий ливанский кедр отмщения. Наступив на горло рыданиям, я поклялся сияющими мечами славы, что заблестят когданибудь вокруг моего имени, отвоевать мать у смерти»¹⁶.

И отвоевал. На выставке 1929 года двадцатипятилетний Дали выставил картину с надписью «Я плюю на свою мать», тяжело и навсегда оскорбив все свое семейство. Эпиграфом к первой главе своей книги «Дневник одного гения» Дали выбрал слова Фрейда: «Герой тот, кто восстает против отеческой власти и выходит победителем»¹⁷. И он же произнес поразительные слова об «откровенной сентиментальности — необходимом противовесе всем видам героизма, подлости, фанфаронства и желчности, сдобренных патриотическими настроениями»¹⁸. Фанатичный труженик, он считал жизнь, не преображенную человеческим духом, «жизнь, как она есть», хаосом и смертью. «Моя жизнь была непрерывным и яростным пестованием своего “я”, могущественной развивающейся личности. Ежечасно я одерживал очередную победу над смертью, прочие же только и знали, что идти с ней на мировую. Я — никогда! Я никогда не уступал смерти»¹⁹. Похоже, он всерьез усматривал пророческий смысл в своем имени Сальвадор — Спаситель! Он считал себя предназначенным «спасти искусство от пустоты», вер-

¹⁶ Дали С. Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим // Иностранная литература. — 1991. — № 12. С. 197.

¹⁷ Дали С. Дневник одного гения. — М.: Искусство, 1991. С. 52.

¹⁸ Дали С. Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим // Иностранная литература. — 1991. — № 12. С. 205.

¹⁹ Там же. С. 197.

нуть достоинство выучке, дисциплине и мастерству, когда почти все поклонялись «темпераменту» — то есть «лени и тщеславию». И, однако, разбрасывая хлесткие афоризмы и проникновенные лирические признания, Дали не поленился написать витиеватым слогом целый трактат об испускании ветров²⁰.

Но — «в чуши, которую я несу, всегда струится ручеек истины»²¹. Жизнь не терпит принуждения, доказывал один из пророков сюрреалистов Анри Бергсон. Она не может слишком долго выносить ни навязанной любви, ни навязанной ненависти. Она вообще не выносит механической повторяемости и борется с нею оружием юмора: суть комического, уверяет Бергсон, в том, что мы в свободном движении духа улавливаем внешнюю заданность. Если оратор в предсказанный момент произнесет предсказанное слово или сделает предсказанный жест, мы обязательно улыбнемся. Сколь бы завораживающей ни была жестикуляция народного трибуна, если кто-то рядом с ним начнет в точности повторять его движения — весь пафос сразу же улетучится. Именно так частенько вызывают смех клоуны. И Дали охотно признавал, что он мог бы стать великим клоуном: «Да, живопись — лишь малая часть моего гения».

В Средние века среди низшего клира были распространены шутовские богослужения — непристойные пародии на подлинные. Участники кощунств защищались тем, что люди — это плохо сколоченные бочки, которые могут лопнуть от забродившего вина мудрости и благочестия, если время от времени не выпускать из них воздух. Если же «сбросить давление» при помощи юмора оказывается невозможным, у некоторых людей — как раз особенно благочестивых — иногда развивается самый настоящий невроз, невроз «хульных мыслей», как их называла старая психиатрия. В голову несчастного неотступно лезут кощунственные помыслы: а что, если дернуть священника за бороду, а что, если во время торжественной церемонии высунуть язык? И чем невольный святотатец упорнее, ужасаясь самому себе, гонит эти дьявольские соблазны, тем неотвязнее они становятся.

²⁰ Дали С. Дневник одного гения. — М.: Искусство, 1991. С. 227–253.

²¹ Дали С. Художник не тот, кто вдохновляется, а тот, кто вдохновляет // Студенческий меридиан. — 1989. — № 8. С. 58.

Однако есть люди, которые словно бы показывают миру язык за всех тайно страждущих — кстати, именно красный эмалированный язык видели у Дали на груди незадолго до смерти. Люди-шуты своими выходками дают остальному человечеству возможность освободиться от напряжения чрезмерной серьезности, и сам Дали признавал, что, если бы счет таким, как он, шел на тысячи, жизнь на Земле сделалась бы невозможной. Но три Дали — это было бы в самый раз. А что? Мы же не без удовольствия пересказываем друг другу его проделки...

Впрочем, Дали не терпел эпатажа без артистизма. Посмотрев на нью-йоркских панков, он сказал: «Нам всем выпало жить в дерьмовую эпоху, но эти хотят быть дерьмее самого дерьма». И впрямь, как неизобретательны, а главное, стандартны панковские доспехи: это просто новая серийность вместо старой. То ли дело пройтись по улице во фраке, на котором нашито 88 бутылочек с ликером — и в каждой бутылочке плавает дохлая муха! Но Дали умел восхищаться и праздничным нарядом сверкающих и чистеньких живых мушек.

«Пока все разглядывают мои усы, я делаю свое дело»²² — одними только чудачествами Дали ни за что не сумел бы заставить мир столько говорить о себе. Вглядимся хотя бы в «Атавистические остатки дождя». Огромная кость действительно ощущается как нечто атавистическое, палеонтологическое. Но почему это остатки именно дождя? А ведь перед нами пустыня — вон какой здесь прозрачный, неземной воздух без малейшей примеси тумана. А раз пустыня, значит, дождь здесь выпадал очень давно, может быть, тысячу лет назад. От него и сохранились лишь древние остатки, словно от допотопного животного. Но иссохшая земля все равно тянется к этим костям, сворачиваясь, будто крем. Вот только почему кость опирается на какой-то ухват? Ах, это наш старый знакомый — костыль с чердака, упорно кочующий из картины в картину! Но все-таки зачем он здесь? И на что показывает мужчина маленькому мальчику: на гигантскую кость или на странный город вдали? И почему здесь такие инопланетные краски, как

²² Дали С. Человек в леопардовой шкуре // Литературная Армения. — 1991. — № 2. С. 86.

будто дело происходит где-нибудь на Марсе? Наш разум, с которым так упорно боролись сюрреалисты, умеет подсказывать лишь осмысленные ответы — даже в облаках или случайных кляксах мы ухитряемся разглядеть сказочные города или диких зверей. Тем более ему трудно смириться, что такие почти знакомые и отчетливые предметы могут ничего не означать, хотя и напоминаешь себе слова самого «великого мага»: «Как же вы хотите разгадать мои картины, если я сам их не понимаю». И все же он уверял, что его картины вовсе не лишены смысла. Просто он «так глубок, так сложен, ненарочит и прихотлив, что ускользает от обычного логического восприятия»²³. Но помилуйте, ведь то, что ускользает от понимания, мы не называем смыслом! И все-таки уходишь от картины с чувством, что перед тобой не бессмыслица, а тайна.

«Археологическая реминисценция “Анжелюса” Милле». Репродукцию этой картины (крестьянская пара набожно слушает вечерний звон) маленький Сальвадор видел в коридоре из классной комнаты. «Эта картина всегда отзывалась во мне острой тоской — две ее неподвижные фигуры раз и навсегда врезались мне в память, растревоживали скрытым смыслом мое воображение». И вот эти фигуры, окаменев, превратившись в останки зданий, стынут в какой-то космической вечности, понемногу ветшая и осыпаясь... Вокруг них кружат птицы, на их уступах растут кипарисы...

«Горящая жирафа» горит, сохраняя полное спокойствие. В фигуре на первом плане больше страсти, хотя выдвинутые из ее тела ящички очень будничны. Знакомые костыли-ухваты поддерживают все, что можно. Дали уверял, что когда он вставляет ящички в чей-то живот — это не искажение, а самая честная и фотографическая копия каких-то его видений. И от них трудно оторваться...

«Рынок рабов и невидимый бюст Вольтера». Ясно одно: такой виртуозности (классически достоверные фигуры монахинь образуют лицо гудоновского Вольтера — борца с клерикализмом) невозможно добиться «чистым психологическим

²³ Дали С. Художник не тот, кто вдохновляется, а тот, кто вдохновляет // Студенческий меридиан. — 1989. — № 8. С. 58.

автоматизмом». Об «Исчезающем бюсте Вольтера» можно сказать то же самое — это сверхрациональная конструкция.

Другое дело «Мадонна Порт-Льигата». Порт-Льигат — городок в Испании, где Дали жил со своей Галой, которую в этой картине окончательно обожествовал, представив в образе мадонны. Вместе с абсурдом здесь есть много традиционного: задумчивый младенец и мать, с благородной горечью молящаяся за него. Но окна прорублены сквозь них в какие-то дали, напоминающие мираж. И преломленный хлеб — наша «городская булка» — отбрасывает тень не совсем в положенную сторону. И женские фигурки, неведомо к чему простирающие руки... И маленький носорог... Фантазировать можно бесконечно.

Эскиз этой картины Дали отправлял для одобрения римскому папе. Всерьез или для рекламы — кто знает. «Я никогда не молюсь. Я пытался выработать свой способ, несколько истерический. Я падал на колени, протирал руки, всем сердцем жаждал молитвы — и все без толку. Наверное, я неверующий человек. Дитя этой кошмарной французской революции»²⁴.

«Сохранность памяти» (иногда ее называют «Постоянство памяти») — одна из самых знаменитых картин «великого мага». Ее часто называют также «растекшееся время». Часы, свисающие, словно раскатанное тесто. А ведь часы — чуть ли не символ точности: «работает как часы». Их размягченность ощущаешь чем-то очень глубоким, только никак не уловить, чем именно. Но при чем здесь «сохранность памяти»? Столкновение размякших часов с сохранностью памяти разворачивает целый рой ассоциаций, куда более серьезных, чем те, которые вызывает, например, случайным образом изготовленная фраза, с которой так носились сюрреалисты в 1925 году: «Изысканный труп будет пить молодое вино».

Видимо, есть какой-то смысл в программных словах верховного идеолога сюрреализма Андре Бретона: «Тот самый свет, свет образа, к которому мы оказываемся столь глубоко-

²⁴ Дали С. Человек в леопардовой шкуре // Литературная Армения. — 1991. — № 2. С. 83.

ко восприимчивы, вспыхивает в результате своего рода случайного сближения двух элементов»²⁵. Заметьте: случайного сближения! «На мой взгляд, человек абсолютно не властен сознательно осуществить сближение столь удаленных друг от друга реальностей»²⁶. Используя случайность, Бретон пытался сделать «механическое письмо» общедоступным средством, «в высшей мере способствующим созданию наипрекраснейших образов»²⁷.

Общедоступное в искусстве... Задешево можно чеканить только фальшивую монету. Пытаясь расшевелить свое подсознание, сюрреалисты вовсю подхлестывали воображение всевозможными орудиями хаоса — кляксами, малопонятными предметами... Была разработана целая техника — фроттаж (от французского «фротте» — тереть). Под бумагу подкладывалось дерево, ткань, древесный лист, а затем бумага натиралась куском свинца. И на ней проступали фантастические узоры, напоминающие то сказочные пейзажи, то диких зверей. Дали тоже случалось стрелять красками в литографский камень и затем дорабатывать по собственному вкусу получившийся прихотливый орнамент. Но вообще-то он редко полагался на случайность, на хаос: «Я никогда не уступал смерти». Пейзажи его если и фантастичны, то лишь какой-то неземной ясностью и грозным безмолвием.

О каждой картине Дали можно говорить бесконечно, равно как и ее разглядывать, но рой ассоциаций у каждого поднимется свой, а значит, это все-таки искусство, а не чистый выпендрег и эпатаж. «Предчувствие гражданской войны». Эта картина экспонировалась в Брюсселе в 1958 году на выставке «50 лет современного искусства». Советские искусствоведы не раз называли картину реакционной, клеветнической, а то и глумливой. Но она всего лишь ужасна, как ужасен тот «всемогущий, судорожный вселенский хаос, который назывался гражданской войной в Испании»²⁸.

²⁵ Бретон А. Манифест сюрреализма // В кн.: Программные выступления мастеров западноевропейской культуры XX века. — М.: Прогресс, 1986. С. 65.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же.

²⁸ Дали С. Дневник одного гения. — М.: Искусство, 1991. С. 114.

На первый взгляд кажется, что какое-то жуткое существо душит само себя на фоне бездонного космического неба. Но потом видишь, что обрубок человеческого тела, у которого руку заменяет костлявая нога скелета, опирается на то самое и поддерживается именно тем, что его терзает: бугристый кулак не то вытягивает, не то выдавливает грудь с грубым соском. И как всегда у Дали — среди безумия присутствует что-то очень будничное: все сооружение опирается на прозаический шкафчик, а из-за нижней, опирающейся костяшками на пустынную землю руки видна голова добропорядочного господина, который словно бы ищет что-то. Это «Аптекарь из Фигераса, который не ищет абсолютно ничего». Картину с таким названием Дали написал в 1936 году (Фигерас — родной город художника).

«Мрачная игра» — так эту картину окрестил Поль Элюар. Игра действительно невеселая, от нее прикрылся рукой даже монумент, как будто подглядывающий сквозь пальцы и просительно протягивающий огромную кисть. Прямого неприличия вроде бы нет, но всюду сквозят какие-то намеки. Чего стоит один только безумно хохочущий господин в слишком тесных, испачканных кровью штанишках, показывающий неведомо кому окровавленный платок. А в воздухе кружатся шляпы, лица, странные, чуть ли не подмигивающие предметы. Там же, в воздухе парит склоненная вниз огромная голова с прилизанным пробором, с сомкнутыми веками и губами, к которым как будто присосался кузнечик — страшилище детских лет Сальвадора Дали. Похожую голову с кузнечиком мы видим на его знаменитой картине «Великий мастурбатор», написанной в 1929 году.

Сюрреалисты были шокированы «Мрачной игрой» — «изображенными на ней скатологическими и анальными деталями»²⁹, а Дали, поверивший, что сюрреализм намеревается освободить человека от «тирании рационального практического мира», был неприятно удивлен столь быстрым возобновлением «тех же самых запретов, от которых он страдал в своем семействе»³⁰. «Им, видите ли, не нравились задницы! И я с тонким коварством препод-

²⁹ Там же. С. 56.

³⁰ Там же. С. 58.

носил им целые груды хорошо замаскированных задниц, отдавая предпочтение тем, которые по вероломству могли бы соперничать с искусством самого Макиавелли»³¹. У Дали, словно на загадочной картинке, очень многое замаскировано с искусством, далеко превосходящим наивные хитрости Макиавелли...

«Тайная вечеря» — именно ее в отдельном зале видел Виктор Некрасов, теряясь в догадках, для чего здесь «октаэдр» — бронзовый как будто бы многогранник, придающий картине некую геометрическую строгость и чистоту. Некрасов отмечал, что от попыток что-то понять отказаться очень трудно, хотя и понимаешь, что впустую теряешь время. Облечь свои чувства в недвусмысленную логическую формулу действительно невозможно, но время, потраченное на созерцание, нельзя считать потерянным — столько сияния в этой картине: взглянуться только в прозрачную тень, которую отбрасывает стакан с вином. Стол, на котором лежит преломленный хлеб, в «Сюрреализме в искусстве»³² назван столом из плиточного камня, но, по-моему, это вовсе не плитки, а складки отглаженной скатерти, как будто только что полученной из прачечной. Неужели в древнем Иерусалиме их так же гладили? И неужели апостолы стриглись у современных парикмахеров?

Подобные сомнения заставляют некоторых критиков считать эту картину кощунственной. Им кажется кощунственной и слишком «голливудская» внешность Христа. Другим же, наоборот, его юное «земное» обличье видится достоинством — прекрасный юноша, сквозь тело которого можно разглядеть и лодку на воде, и далекие скалы.

Какая неземная тишь, какое безмятежное небо... Как и «Мадонна Порт-Льигата», эта картина относится к «религиозному» периоду Дали. «Да, я действительно считаю себя спасителем современного искусства, ибо я один способен возвысить, объединить и с царской пышностью и красотой примирить с разумом все революционные эксперименты современности, следуя великой классической традиции

³¹ Там же. С. 60.

³² Куликова И. Сюрреализм в искусстве. — М.: Наука, 1970. С. 126.

реализма и мистицизма, этой высочайшей и почетнейшей миссии, выпавшей на долю Испании»³³.

Вот еще несколько афоризмов Дали на близкую тему: «Знайте, что с помощью кисти можно изобразить самую удивительную мечту... но для этого надо обладать талантом к ремеслу Леонардо да Винчи или Вермеера». «Для начала научитесь рисовать, как старые мастера, а уж потом действуйте по своему усмотрению — и вас всегда будут уважать», «Увольте меня от ленивых шедевров». А «если вы посредственность, то не лезьте из кожи вон, стараясь рисовать как можно хуже, — все равно будет видно, что вы посредственность». «Техника моя достигла такого совершенства, что я даже в мыслях не могу допустить такой нелепости, как собственная смерть».

В его афоризмах, самых нарочито парадоксальных, в уайльддовском роде, действительно всегда просверкивают искры истины. «Единственное, чего в мире никогда не будет в избытке, это крайности». «Что такое мода?» — «Это все, что может стать немодным». «Блаженны имитаторы — им достанутся наши изъяны». «Никто не знает, в какой партии состоит Фидий, а всем хочется знать».

А вот эти изречения, пожалуй, и не согласуются с репутацией Дали-эгоцентрика и разрушителя всех святынь и запретов: «Я уважаю любые убеждения, и прежде всего те, которые несовместимы с моими»; «Именно вседозволенность возродит поэзию чистоты и запрета»; «Не бойтесь совершенства, вам его не достичь»³⁴.

Вот еще кое-какой материал для знакомства с сознанием жреца подсознательного: «В детстве я был злым, злым и рос, и оттого до сих пор еще страдаю»; «Не могу долго общаться с князьями и миллионерами — понятие о чести ведет меня прочь в цыганские пещеры»; «Если бы я не работал, что бы я делал на земле? Скучал бы, как устрица. Поэтому я терпеть не могу устриц»; «Мир задыхается от избыточной свободы, от своеволия, от него люди тоскуют, особенно богачи».

³³ Дали С. Дневник одного гения. — М.: Искусство, 1991. С. 72.

³⁴ Дали С. Человек в леопардовой шкуре // Литературная Армения. — 1991. — № 2.

«Дон Сальвадор, на сцену!» — «Дон Сальвадор всегда на сцене!»³⁵. Он много раз писал себя самого, а на картине «Дали! Дали!» — даже в голом виде, коленапреклоненным, как бы предлагая возникшему в воздухе женскому лицу полюбоваться собою. Фотографироваться он тоже любил, иногда запуская свои заостренные усы до самых безумно вытаращенных глаз, иногда закручивая те же несколько приевшиеся усы восьмеркой, иногда только их и оставляя в кадре — голый бренд вместо человека. Однако на фото-портрете другой звезды — Эдди Новарро его усы, хотя, конечно, и экстравагантны, но все же не фантазмагоричны. Дали здесь вообще непривычно серьезен — может быть, он таким и был, когда не стремился кого-то ошарашить.

Дали сравнивал свои усы с носорожьими рогами, уверял, что придает им стройность, подкручивая их сладкими после фиников пальцами, а главное — они были всегда устремлены к солнцу в отличие от унылых моржовых усов его мимолетного кумира Фридриха Ницше. «Я никогда не уступал смерти!».

Но жизнь не перепаясничаешь. В начале 1982 года его восьмидесятидевятителетняя Гала — «мое божество, мое сокровище, мой золотой талисман» — получила во время операции избыточную дозу наркоза и, полупомешанная, корча рож, бегала по всемирно прославленному дому на берегу моря. Через полгода она умерла. Дали приказал замуровать гроб с ее телом в стене замка Пубол, который он когда-то ей подарил. И сам остался в замке, чтобы никогда больше не покидать его. Писать великий маг уже давно не мог — он был так слаб, что его переносили с места на место слуга и горничная. Через несколько лет пронесся слух, что беспомощный художник получил ожоги во время пожара, может быть, даже кем-то небескорыстно устроенного. Незадолго до смерти в 1989 году в одной из советских газет промелькнуло интервью с ним — стандартный набор симпатий к советскому народу и перестройке. Но, может быть, это была заслуга интервьюера?

Кстати сказать, после смерти Сталина Дали просил у советских властей разрешения посетить Советский

³⁵ Там же. С. 90.

Союз³⁶. Ему было в этом отказано, хотя в год смерти усача, еще более знаменитого, чем он сам, Дали записал в дневник, что теперь он может отправиться в Россию и встречать его выйдут восемьдесят юных девушек. Он немного полагается, но потом даст себя уговорить и сойдет на берег под оглушительный взрыв аплодисментов.

Первая выставка графики Дали состоялась в Москве в 1988 году, за год до его смерти.

Теперь он уже пришел в продвинутые российские школы. Не знаю, встречают ли его аплодисментами, но юных девушек там более чем достаточно.

Интересно, о чем он думал перед смертью, этот абсолютно одинокий, беспомощный старик? И куда смотрели его прославленные усы? Не приходило ли ему в голову, что перед ледяным дыханием смерти борода Льва Толстого могла бы согреть получше? Деньги, которые всю жизнь текли к нему рекой, ему все-таки пригодились. Хотя их все равно было микроскопически мало, чтобы откупиться от страшной потери и подступающей гибели. Бретон когда-то составил из букв его имени анаграмму «Avida dollars» — «Жаждающий долларов». Но доллары — это была свобода: «Самый простой способ избежать компромиссов из-за золота — иметь его самому»; «Герой нигде не служит». Чтобы победить абстракционистов — «тех, кто ни во что не верит», ему требовались только деньги, здоровье и Гала. Но не следует верить лозунгу, который Дали возгласил после окончательного разрыва с Бретоном в 1940 году: «Сюрреализм — это я!» Простимся с этой причудливой судьбой, трагической, как всякая человеческая судьба, — «всю жизнь моей навязчивой идеей была боль, которую я писал бессчетно» — и окинем взором других сюрреалистов, без коих не было бы ни сюрреализма как течения, ни, скорее всего, и того Сальвадора Дали, которого знают даже те, кто в жизни своей не бывал ни в одной картинной галерее.

³⁶ Федоренко Н. Мир Сальвадора Дали. Юность. — 1991. — № 9. С. 32–34.

Гвардия сюрра

Итальянский художник и поэт Джорджо де Кирико, основатель «метафизической живописи», еще до окончания Первой мировой войны создавал полотна, проникнутые какой-то немой таинственностью. Де Кирико считал, что «глубокое означает странное, а странное означает неизвестное и неведомое. Для того чтобы произведение искусства было бессмертным, необходимо, чтобы оно вышло туда, где отсутствуют здравый смысл и логика. Таким образом, оно приближается к сну и детской мечтательности»³⁷. О живописи де Кирико, пустынной, как чертеж, хорошо написано в той же книге³⁸: «Он писал обычно трансформированные, словно навеванные сном городские пейзажи, где резко уходящие вдаль голубые площади тесно сжаты массивами зданий, отбрасывающих угловатые тени, где нет воздуха, разлит холодный ирреальный свет и стоит звенящая тишина. В застывшем отчужденном пространстве художник изображал первоначально маленькие затерявшиеся человеческие фигурки, отдельные предметы, данные в произвольном сочетании... статуи и гипсовые головы, обломки колонн и просто стереометрические тела... затем типичные для него манекены с яйцеподобными безликими головами». И все это задолго до «Манифеста сюрреализма», где Бретон отмечал: если в эпоху романтизма таинственным и волнующим были руины, то для современного человека символом чудесного становится манекен (знатокам Фрейда тоже известно о том особом беспокойстве, которое охватывает нас, когда мы не знаем, живой человек перед нами или искусно устроенный автомат).

Ощущения ирреальности де Кирико часто добивается средствами более тонкими, чем сюрреалисты: ничего буквально фантастического. Только слишком быстро убегают вдаль слишком прямые линии, слишком отчетливы контуры, слишком чисты краски (интересно, что строгие линии площадей Петербурга напомнили Андре Жиду картины де Кирико). Два кресла, стоящие «лицом» друг к другу, на его картинах могут напомнить нам двух собеседников, усевшихся

³⁷ Каптерева Т. В кн.: Модернизм. Анализ и критика основных направлений. — М.: Искусство, 1969. С. 152.

³⁸ Там же. С. 152–153.

перед шкафом с выпучившимся зеркалом. Это при отсутствии совсем уж невероятных, вычурных видений. Именно такими иногда и бывают сны: все как будто обыденно, но проникнуто настроением жути. А ведь многие из тех, кто считает себя учеником Фрейда, как раз лишают сны тайны, обращая внимание не на общую тональность сна, а на конкретные предметы и действия, которым присваивается слишком уж прямое, простое и однозначное символическое значение. В очень узком соответствии с заветами учителя: король — отец, королева — мать, зонты, кинжалы, револьверы — мужские гениталии, пещеры, карманы, ворота — женские и т. п.³⁹

Де Кирико участвовал в первой парижской выставке сюрреалистов в 1925 году, но впоследствии обратился к живописи как бы и реалистической, в которой все-таки ощущается некая «безуминка». Успевши, однако, поспособствовать рождению одного из самых ирреальных сюрреалистов.

Ив Танги, морской офицер, не имевший художественного образования, однажды увидел в витрине картину де Кирико. С тех пор он много лет писал некие пустынные, может быть, даже инопланетные, пейзажи. На его картинах то стынут разбросанные в отдалении друг от друга, то, наоборот, кишат, словно галька на морском берегу, непонятные предметы, иногда напоминающие выветренные кости, иногда — коралловые полипы, иногда — опять-таки причудливую гальку. Названия картин, в соответствии с Бретоном, отстоят достаточно далеко от того, что мы видим, чтобы вызвать «вспышку»: «Угасание излишнего света», «Наследственность приобретенных признаков», «Меблированное время», «Мультипликация дуги». Но тщательность, подчеркнутая объемность изображения — это уже некий шаг к будущему сюрреализму, изображавшему нечто непонятное с фотографической точностью. Ранние работы Андре Массона, стремительно и бездумно набрасывающего на бумаге хаотические контуры то доспехов, то фантастических рыб, по-видимому, были ближе к заветам Бретона, требовавшего полной свободы от контроля разума.

³⁹ Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. — М. — Наука, 1989. С. 95–106.

Жоан (Хуан) Миро тоже причисляется к классикам сюрреализма. Одну из своих картин «Каталонский ландшафт. Охотник» он написал, как положено, «под влиянием галлюцинаций, вызванных голодом»⁴⁰. При желании там можно разглядеть и охотника (треугольник с трубкой), и дерево (круг с сердечком — листом на спице). Однако на первый взгляд «ландшафт» ассоциируется скорее с «парадом головастики и пауков в заросшем тинной пруду»⁴¹. Манера Миро, по-видимому, оказалась слишком игривой и особого развития не получила. В развитии «параноидально-критического метода» Сальвадора Дали, требующего тщательного и систематизированного воплощения ирреального, более важную роль, вероятно, сыграл Макс Эрнст.

В детстве маленький Макс оказался свидетелем происшествия, которое могло бы послужить злейшей сатирой на «воспитующее» реалистическое искусство. Его отец, работавший в школе для глухонемых, художник-любитель, с необыкновенной тщательностью выписывавший каждый кустик и каждый листик, однажды вернулся из сада с очередной картиной. Критически осмотрев ее в домашних условиях, творец остался недоволен каким-то деревцем на переднем плане и тщательно закрасил его. А потом... Потом он отправился в сад и вырвал деревце-прототип, приведя природу в соответствие с искусством. С тех пор Макс возненавидел натуралистическое «жизнеподобие». И подлинно, поступок его папаша — готовая притча: искусство, «преображающее жизнь» и «выносящее ей приговор», как выражался Николай Гаврилович Чернышевский, несет в себе опаснейшее зерно.

В детстве же его любимая птичка умерла в тот самый день, когда родилась его сестренка. Птичка словно пожертвовала собой ради новой жизни. Услышав о рождении сестры, маленький Макс упал в обморок. Впоследствии он писал птиц всю жизнь — возрождал их снова и снова. Это не были реальные птицы конкретных пород — «его птицы были птицами “вообще”, некими птицеобразными существами, изображаемыми в странных ракурсах. Иногда они были обобщенно-приветливыми, типа круглоголовых голубок

⁴⁰ Куликова И. Сюрреализм в искусстве. — М.: Наука, 1970. С. 99.

⁴¹ Там же.

с по-детски примитивно выписанными круглыми глазками, с “ангелоподобными” крылышками, иногда пестрыми и угрожающими, с хищными когтями и клювами, часто грустными, заключенными в прочные клетки»⁴².

В Боннском университете Эрнст изучал психиатрию, особенно интересуясь рисунками душевнобольных. Он уже тогда видел в живописи выражение «мистических» состояний и не интересовался политикой. Ничего на этот счет не изменила и мировая война, которую он испытал на себе всерьез. Он был артиллеристом на передовой, но в отличие от Ремарка или Отто Дикса не отвел войне в своем творчестве сколько-нибудь заметного места, еще раз опровергнув вульгарный тезис «Бытие определяет сознание». Одинаковое бытие у разных художников определяет его слишком по-разному.

«Двое детей, угрожаемых соловьем»⁴³ — так не совсем, может быть, складно переведено название картины 1924 года. Дети, которым угрожает соловей, — ситуация сама по себе странная, но важнее другое: эта картина — серьезный шаг к будущему «параноидально-критическому методу». Понятные и достаточно похожие на себя предметы оказываются в непонятных отношениях друг с другом. Здесь не хватает разве что фотографической точности «зрелого» сюрреализма. Действие происходит как будто бы на вершине высокой горы — очень много неба и не видно горизонта. Девочка с ножом убегает от невинной птички, другая девушка лежит без сознания, человек на какой-то увеличенной собачьей будке, прижав к груди ребенка, не то бежит, не то балансирует на одной ноге, не то указывая, не то стараясь дотянуться до самой настоящей кнопки на раме... Как бы вводит в картину тоже настоящая калиточка, которую можно открывать и закрывать.

Макс Эрнст подхлестывал свое воображение изобретенными им же процессами «втирания», «вдавливания», которые «околдовывают разум, волю, вкус художника», как он писал в своей книге «По ту сторону живописи», намекая, вероятно, на знаменитое сочинение Ницше «По ту сторону

⁴² Там же. С. 106.

⁴³ Там же. С. 106.

добра и зла», декларирующее уход от всех общепринятых норм и правил. И надо сознаться, в загадочных картинах Эрнста есть чем проникнуться — нужно только не спешить, побродить по этим зарослям, заглянуть под кроны.

«Песня сумерек» напоминает экзотические пейзажи Анри Руссо. Но гигантские травы здесь еще пышнее, еще диковиннее. Есть здесь и надменная птица с мутным жестоким взглядом и приоткрытым клювом (вместо левого крыла у нее рука с несоразмерными пальцами, правая рука скрыта в рукаве, утекающем к какой-то жабе). Есть даже некая дриада, скрытая под кучерявым листом, и какие-то существа, совсем уж сказочные. А в просветах синеют дальние горы.

«Взгляд тишины» можно перевести и как «Око тишины». Словно некая Атлантида поднялась с океанского дна — причудливые скалы, дворцы, заросшие водорослями и кораллами. И всюду глаза, глаза, глаза... А на первом плане — грациозно и болезненно изогнутая женская фигурка с прекрасным нездешним лицом и странно хрупкими руками мумии.

«Евклид» уже не так завораживает.. О Евклиде здесь, собственно, напоминает лишь треугольное сечение конуса, а в пышных складках на рукаве чувствуется что-то скорее средневековое, чем античное. В многослойной же шляпке с розами — нечто дамское, пока, приглядевшись, не начнешь различать в розах человеческие глаза. Плоская рука, похожая на пустую лайковую перчатку, держит рыбу. Повидимому, столкновение этих далеких образов и должно вызвать искру.

Начало Второй мировой войны тоже не обратило Макса Эрнста к «жизненной правде», хотя в качестве немца он был интернирован, пережил заключение во французских лагерях (это же испытал на себе такой известный антифашист, как Фейхтвангер). Добившись разрешения на въезд в США, Эрнст ждал в Марселе отъезда в компании других сюрреалистов, среди которых были такие патриархи, как Андре Бретон и Марсель Дюшан. Они коротали время за игрой в особые сюрреалистические карты. Масти в них назывались так: любовь, сон, встреча, революция. Ни славы, ни денег,

хоть сколько-нибудь сравнимых с известностью и доходами Сальвадора Дали, Макс Эрнст так и не приобрел. Но кажется, он не потерял эпатажного задора: в Париже на выставке 1964 года семидесятитрехлетний Макс Эрнст, утомленный фоторепортажами, начал кататься по земле.

Фарс у сюрреалистов всегда оттенял трагедию. Без которой невозможна ни одна человеческая жизнь.

Рене Магритт. «Ключ к полям». Разбитое стекло, за которым открывается идиллический сельский пейзаж. Кажется, ничего особенного. Но, приглядевшись, мы видим в осыпавшихся осколках повторение того же самого пейзажа, словно он был написан на стекле. У Магритта есть и другая картина «Жизнь человеческая», в замысле которой лежит родственная мысль: дерево внутри комнаты закрывает точно такое же дерево снаружи. «Именно так мы видим мир», — разъяснял Магритт. Наши представления о нем повторяют и заслоняют мир подлинный. Но внутренний мир куда более хрупок...

Магритт — мастер соединять прямо-таки фотографическое правдоподобие с жутковатым абсурдом, который иной раз не сразу и разглядишь. Он может великолепно написать ночной загородный дом с горящими окнами и фонарем у входа, отражающимся в черном, ночном пруду. А над всей этой ночью — безмятежное дневное небо с белыми летними облаками.

Или «Терапевт». Немолодой человек в мешковатой одежде присел отдохнуть на высоком берегу лазурного моря, по-стариковски накиннув на голову и плечи покрывало. Под покрывалом вместо человека — клетка с птицами. Но в мире ничего не шелохнулось. У Магритта тоже часто встречаются птицы: то черный хребет образует орлиный профиль, то впавший в забвенье орел недвижно стоит на берегу моря, вырастая из земли как лист — с прожилками и даже проеденными гусеницей узорами.

А вот его знаменитая «Философия будуара». Будуар, как известно, это маленькая гостиная, где богатая женщина дует на супруга и принимает интимных друзей. Может быть, именно сочетание интимности и парадности, наготы

и одежды можно угадать в этих туфельках с пальцами, в этом платице с живой женской грудью? Если догадка верна, то это уже не ортодоксальный сюрреализм, требующий полной неразгаданности, полной свободы от логики.

Щи из топора

Да только возможна ли она — свобода от логики? И нужна ли нам она — свобода психики от интерпретирующей работы мозга, всегда отыскивающего в непривычном сходство с привычным?

Эпатирующие выходки сюрреалистов, особенным мастером на которые был Сальвадор Дали, невольно наводят на подозрение: а не шарлатанство ли все это от начала до конца, от теорий до скандалов? Не одурачивание ли это всех нас — рабов моды и авторитетов? Что касается теоретических истоков, тут традиция более чем серьезная. Еще Архилоху было известно (и наверняка не ему первому), что мы не знаем, отчего бываем веселы и отчего грустны, а Шопенгауэр прямо настаивал, что человеком руководит бессознательная слепая воля, — интеллект же, словно юрист при диктаторе, лишь подводит под ее указы логические обоснования, которые принято считать разумными. Академик А. А. Ухтомский формулирует примерно то же самое в более, так сказать, академичной форме: доминанта всегда самооправдывается, и логика — слуга ее (логика — служанка страсти). Так что Фрейд, настаивая на том, что человеческой личностью руководит «бессознательное», шел не таким уж оригинальным путем, хотя он, конечно, сумел осмыслить новые группы фактов.

И самый, пожалуй, впечатляющий из них: загипнотизированному человеку приказывают, когда он проснется, взять зонтик, раскрыть его и выйти на веранду. Проснувшись, человек действительно берет зонтик (правда, не раскрывает его — без дождя это было бы слишком уж глупо) и выходит на веранду. Когда его спрашивают, почему он это сделал, он начинает приводить тысячи убедительных причин, и даже для ненужного зонтика находится объяснение — кроме единственно верного: внушение во время гипнотического

сна. Но именно это человеку и неизвестно. Всем подобные вещи казались только забавными, пока Фрейд не сделал из них самый серьезный и теперь, кажется, уже никем не оспариваемый вывод: человек может руководствоваться чем-то таким, о чем он сам решительно ничего не знает. Хотя такой вывод полностью противоречит рационализму Спинозы: душа не может не знать того, что она знает (то есть «знать» и «знать о том, что ты это знаешь» — вещи, по мнению Спинозы, неразделимые).

Конечно, фрейдизм, сделавшись массовым, не избежал и неприменных спутников всякой массовости — пошлости, примитивности (главная заслуга здесь, впрочем, принадлежит самому отцу-основателю), норовившей едва ли не все проявления человеческого духа объявить «сублимацией» каких-то неудовлетворенных, сугубо плотских, «первозданных» инстинктов: агрессивных, сексуальных и т. п. Один из крупнейших современных психологов Виктор Франкл в своей знаменитой книге «Человек в поисках смысла»⁴⁴ считает нужным постоянно настаивать на очевиднейших, казалось бы, вещах, — на том, например, что стремление человека к чему-то высокому ничуть не менее естественно, чем либидо к собственному отцу, что художник может писать картины оттого, что любит живопись, а не вследствие подавленного стремления размазывать экскременты...

И все-таки при всех его нелепостях современную психологию невозможно представить без открытий Фрейда. Равно как сами сочинения Фрейда были бы невозможны, если бы он не пользовался своим сознанием, логикой, последовательным анализом фактов, языком науки.

Анри Бергсон, тоже имевший несчастье уродиться евреем, погиб в фашистском концлагере, отказавшись воспользоваться привилегией нобелевского лауреата. Но и его идеи о непредсказуемости жизненных процессов сегодня находят подтверждение в точных науках. Создатель неравновесной термодинамики Илья Пригожин (тоже нобелевский лауреат) цитирует Бергсона с большим почтением. Пригожин доказал, что многие физико-химические процессы неустойчивы, а потому непредсказуемы. Так, нельзя предсказать, в какую

⁴⁴ Франкл В. Человек в поисках смысла. — М.: Прогресс, 1990.

сторону упадет карандаш, уравновешенный на острие. Это зависит от слишком большого числа незаметных микротолчков⁴⁵. Сам Бергсон не использовал дифференциальных уравнений, но его наблюдение, что люди посредством юмора сами стремятся изгнать из жизни повторяемость и предсказуемость, представляется не менее глубоким⁴⁶.

Словом, теоретические истоки сюрреализма выше всяких подозрений. Но сюрреализм вряд ли так уж сильно определялся идеями и логикой. Во многом он в полном соответствии с учением Фрейда лишь использовал их в качестве рационалистического обоснования своей ненависти к «буржуазным», то есть господствующим нормам и традициям. Желание присоединить к своей ненависти еще и силу заставляло сюрреалистов искать союзников среди политических движений, тоже призывавших отречься от «старого мира» и разрушить его «до основания». Именно это желание заставляло сюрреалистов вступать в дружественные контакты с коммунистической партией.

Однако, за исключением ненависти к «старью», сюрреалисты во всем были полной противоположностью коммунистам. Сюрреалисты настаивали на непостижимости и непредсказуемости жизни — коммунисты были убеждены, что учение Маркса полностью раскрывает все исторические закономерности. Сюрреалисты намеревались создать искусство, свободное не только от прямого диктата, но даже от собственного разума, перегруженного, на их взгляд, общепринятыми мнениями, — коммунисты требовали общепонятности и подчинения искусства целям их борьбы. Сюрреалисты требовали даже освобождения душевнобольных из психиатрических клиник, — куда коммунисты впоследствии, уже помягчев, будут сажать тех, кто с ними не согласен.

В статье «Александр Блок» Луначарский рассказывает, как в 1923 году он встречался в Париже с сюрреалистами и «представителями деклассированной интеллигенции, остроенно ненавидевшими буржуазию» и «находившимися на

⁴⁵ Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. — 1991. — № 6. С. 46–52.

⁴⁶ Бергсон А. Смех на сцене и в жизни. — СПб, 1900.

пороге коммунистической партии». «Во время нашей беседы сюрреалисты, вождями которых в то время были Бретон, Арагон, обращались ко мне с приблизительно такого рода декларацией:

“Мы, сюрреалисты, прежде всего ненавидим буржуазию... Что прежде всего из буржуазных элементов воспринимаем мы, интеллигенты, как наиболее для нас ненавистное, смертоносное? Это рационализм буржуазии. Буржуазия верит в разум. Она считает разумной самое себя и считает, что весь мир построен согласно принципам ее ужасающе узкого и прозаически серенького разума. Мир как бы подчинился разуму буржуазии. А между тем на самом деле за разумной оболочкой и скрывается гигантская и таинственная стихийность, которую нужно уметь рассмотреть, но которую нельзя увидеть глазами разума. Мы провозглашаем поэтому принцип интуиции. Художник может и должен видеть вещи в их сверхреальном значении. Революция нужна нам для того, чтобы опрокинуть царство буржуазии и вместе с тем царство разумности, чтобы вернуть великое царство стихийной жизни... Приходите же вы, москвичи, ведите за собой бесчисленные отряды азиатов... Пусть погибнем — лишь бы погиб с нами разум, расчет, смертоносное, все обуживающее начало буржуазности!”

...Мне стоило немало труда преодолеть их изумление и даже негодование, когда я ответил им, что... революция как раз продолжает дело разума, что мы как раз опираемся на европейскую цивилизацию, что мы считаем только лучшим плодом ее марксизм, апогей разумности»⁴⁷.

А ведь Луначарский был еще из самых терпимых и образованных... Бретон — по мнению Дали, резонер и буржуа, но «порядочный и негибкий, как Андреевский крест» — был изгнан из компартии за «троцкизм»; он не верил в необходимость и возможность литературы, выражающей интересы рабочего класса, и вообще считал материальные интересы слишком буржуазными для целей истинной революции. Арагон же подчинился партийной дисциплине, приезжал в СССР и в тяжелейшие годы «великого перелома» писал

⁴⁷ Луначарский А. В. Блок. Собр. соч.: В 8 т. — Т. 1. — М.: Художественная литература, 1963. С. 488.

восхваляющие Магнитку и Челябинский тракторстрой плохие стихи, за которые тем не менее, будь он советским подданным, поэт-бунтарь наверняка подвергся бы проработке за «формализм» и недостаток общепонятности.

История отношений художественного авангарда с коммунистами была трагикомической всюду, где коммунисты не сумели прийти к власти. Там же, где сумели, она оказалась просто трагической. Русский авангард, примкнувший к революции, был почти полностью истреблен либо приведен к молчанию. Сегодня высказывается даже такое мнение: проповедуя бунт, презрение к традиции, авангардисты готовили собственную гибель⁴⁸. «Буржуазная» же публика их, по крайней мере, терпела, а иногда, отчасти забавляясь, все-таки старалась отыскать в их работах какой-то глубокий скрытый смысл.

Допускают ли «расшифровку» картины сюрреалистов? А расшифрованы ли нами видения Босха? Правда, Босх изображал нечто такое — чертей, адские пытки, — во что люди тогда верили или чего боялись. Но, скажем, Одилон Редон откровенно фантазировал: наивное и страдальческое человеческое лицо, висящее, будто плод, на изогнутом черном стебле, глаз-аэростат, скорбно подведенный к небесам. И это, кажется, не вызывало бурь ни в критике, ни в публике: все понимали, что фантазия и не может быть истолкована так же однозначно, как «Сватовство майора». Классический символизм тоже настаивал на изображении чего-то таинственного, намекающего, мистического — принципиальное отличие сюрреалистов заключалось, по-видимому, только в словах — в том, что они настаивали на некой «научной объективности» своих произведений, претендовали на создание некой реально существующей «сверхреальности».

Однако новые поколения, которые встречаются с картинами сюрреалистов вне атмосферы борьбы и скандала, легко включают их в свою внутреннюю жизнь. Новые поколения видят мирные следы сюрреалистического бунта в рекламе, в дизайне, в той свободе обращения с формой, которую после них обрели художники, уже не считающие себя сюрреалистами. А все, что становится привычной частью человеческой

⁴⁸ Добренко Е. *Левой! Левой! Левой!* // «Новый мир», 1992, № 3.

жизни, люди обживают, преображают своим воображением и даже вносят туда смысл, которого изначально там, может быть, и не было.

Возможно, классический сюрреализм в сегодняшней культуре — это некие щи из топора: почти все питательные их вещества внесены туда поколениями зрителей, а не творцами.

Да и могло ли быть иначе?

Если даже допустить, что все мы только рабы каких-то невидимых господ, что все осознаваемые нами радости и горести суть порождения каких-то несознаваемых нами причин — если даже все это так, то почему мы должны уважать эту подводную часть айсберга более, чем надводную, которая и составляет смысл нашего существования? Нет никакого сомнения, что на наши настроения и сны существенно влияет пищеварение — так почему бы не попытаться дать слово и кишечнику? Башмакам, которые жмут или трут?

Религиозные верования прежде всего предназначены для утешения рабов, а не для ублажения господ, и если перейти от психологической к социальной иерархии, то и господа, и рабы совершенно равны перед лицом смерти, перед лицом бесконечно могущественного и безжалостного мироздания: все смертные от королей и президентов до последних побирušек остро нуждаются в экзистенциальной защите — защите от ужаса нашей мизерности и эфемерности, ужаса то более, то менее, но всегда осознаваемого. Для борьбы именно с этим ужасом прежде всего и придумано искусство, создающее иллюзию красоты и значительности мира — и нас в нем. Если же искусство перестанет выполнять эту миссию, а начнет искать какие-то шифры, позволяющие что-то узнать о наших незримых и глухонемых господах, то мы, рабы, отвернемся от него, как от всего бесполезного. Или придумаем для него некое истолкование, которое каким-то хитрым образом начнет нас утешать, воодушевлять или хотя бы развлекать.

Похоже, с сюрреализмом именно это и произошло.

СПАСИБО ПАРТИИ!

Мы, свободомыслящие и свободолюбивые юнцы шестидесятых, физики и лирики, даже не подозревали, что наше презрение к бюрократическому советскому социализму оставляет и нас самих без экзистенциальной защиты — без ощущения причастности к чему-то великому, прекрасному и долговечному. Дабы спасти хоть что-то из наследия отцов, мы бессознательно искали неких подлинных коммунистов, к которым можно было бы припасть душой, не опасаясь испачкаться — искали и в собственном прошлом, среди народовольцев и комиссаров в пыльных шлемах, и на Западе, среди героических интербригадовцев, среди борющихся латинос и победивших барбудос, которые были всем хороши при очень, однако, серьезном недостатке: они явно не имели никакого отношения к культуре, к искусству. Без чьей поддержки даже самый распрекрасный атлет и герой не может ощутить свою жизнь красивой и значительной, покуда она никем не воспета.

Советское искусство для этой роли мало подходило из-за своей почти тотальной зараженности пропагандистскими штампами, да и вообще мы выстраивали свою значительность на ироническом противостоянии всему советскому — уже из-за одного этого нам приходилось тянуться к раскрепощенному западному искусству. Но если какой-то крупный западный художник оказывался к тому же еще и коммунистом — подлинным, разумеется, у неподлинных не было карьерных причин вступать в компартию, — такого хотелось полюбить вдвойне.

Сегодня мне хочется оглянуться на святую троицу наших тогдашних любимцев — Мазерель, Гуттузо, Пикассо, — что о них писали тогда и какими они видятся сейчас.

Писали, в общем-то, со знанием дела. Монография В. Раздольской «Мазерель» (Л.; М.: «Искусство», 1965) и сегодня

выглядит вполне квалифицированной, если не считать того, что слабости Мазереля в ней объявляются его достоинствами. Упрощенное, черно-белое разделение мира на кротких угнетенных и злобных угнетателей, упрощенные, плакатные решения трагически сложных общественных проблем (священник, благословляющий пушку, буржуй в цилиндре, выставляющий перед собой беззащитного новобранца) провозглашаются глубокими социальными обобщениями, наивный утопический оптимизм превозносится как доблесть, зато каждая нота сомнения, неоднозначности со вздохом признается снижением творческого накала.

Творчество Мазереля не случайно имело больший успех среди литераторов, чем среди живописцев: он любил строить графические циклы (иногда в «поистине кинематографическом темпе»), стараясь графическую выразительность дополнить сюжетной повествовательностью. Так, например, цикл «Идея» состоит из восьмидесяти трех графических листов: то Идею, нагую женскую фигурку, любовно держит в руках ее творец, то за нею гонятся преследователи, то ее жгут на площади под ликование буржуев, а она вместе с дымом возносится в небеса, то за несчастной Идеей гонится разъяренная толпа, то она, уже вознесшаяся из пламени, бежит над проводами... Образ, может быть, и не лишенный поэзии, но очень уж, опять-таки, упрощенный, хотя на отдельных листах гонители предстают менее звероподобными, а потому более интересными, а один озабоченный седобородый жандарм даже обретает индивидуальность. Однако никакое мастерство и никакие частные находки не в силах преодолеть эту пропагандистскую примитивность — мерзкие топочущие гонители и трогательная беззащитная их жертва. Ведь сколько прекраснодушных идей несут в себе смертельную опасность и сколько идей самых мудрых и благородных гибнет не от преследований, а от равнодушия! От равнодушия людей вовсе даже и не злых, а просто непонятливых, поглощенных чем-то другим...

Можно подумать, что черно-белая упрощенность порождена упрощенностью самой ксилографии, не приспособленной к передаче тонкостей и оттенков, но этому сразу же противоречит цикл «Город». Город Мазереля — это не «город-спрут» другого знаменитого фламандца Эмиля Верхарна. Это и не многоцветный праздничный либо оваянный печальной дым-

кой город импрессионистов. Город Мазереля, если смотреть на него с горы, где расположился художник, — это прежде всего строгая черно-белая геометрия: бесконечные прямоугольники, треугольники, являющие особенно резкий контраст с мягкими линиями необыкновенно крупных цветов и трав на первом плане. В Городе же — только прямые, только ломаные линии...

Впрочем, нет, виднеется и множество мягких округлых крон, клонящихся под ветром, — это клубы дыма из фабричных труб. Но в этих кронах не выжить сказочным девам-дриадам...

Люди, однако, в этом городе выживают. «Городов Вавилонские башни», — вспоминается Маяковский: сколько ни возводи глаза к небу — все равно будут громоздиться только крыши, только трубы, только окна, окна, окна... И в каждом окне — люди. Люди обнимающиеся, передевающиеся, занимающиеся хозяйством и — не ведающие, что происходит в полутора метрах — за стеной, над головой, под ногами... В зависимости от расположения духа можно почувствовать и тоску (как мал и одинок человек в этом муравейнике!), и умиротворение — всюду жизнь, даже эти каменные клетки любовь может наполнить теплом и уютом. Отчаяние в этом Городе бывает ужасным — среди изломанных теней, среди ровных, бесконечных, непроницаемых оград, среди гигантских параллелепипедов и призм фабричных зданий, возносящихся в головокружительную высь...

Но где, скажите, отчаяние перестает быть отчаянием? Зато любовь всюду любовь. С нею и уличный фонарь становится праздничным, как солнце, и нагромождение крыш и башен становится не пугающим, а манящим, словно горный хребет с волшебным полумесяцем над ним, и даже уличная нищенка превращается в кроткую богоматерь.

А при первом взгляде на гравюру «Дым» чувствуешь прежде всего толчок восхищения: оказывается, и эти дымные кроны человеческая фантазия все-таки может населить сказочными девами. Только взглядевшись повнимательнее, начинаешь различать, что это «жертвы капиталистического производства» — стенающие, взывающие, цепляющиеся друг за друга над неподвижной геометрией фабричных

зданий. Однако, хотя и различаешь проступившую из-под поэзии агитку, все равно тебя не покидает некое светлое чувство: человеческая любовь, человеческое воображение способны наполнить поэзией любые «каменные джунгли».

А талант художника — оживить любую пропагандистскую схему.

Особенно если вспомнить, как ее разрабатывал советский плакат.

Будь у нас дозволены подобные «формалистические» искания — глядишь, и Советский Союз продержался бы подольше.

Писать о Ренато Гуттузо — вспоминать о первой любви: многое вызывает снисходительную улыбку. Чужая снисходительность, однако, задевает.

— Гуттузо — второстепенный художник. Его в Советском Союзе пропагандировали за то, что коммунист, — пригвоздил молодой человек, которому, в отличие от автора этих строк, исполнилось двадцать не в шестидесятые, а в девятые годы, и слышать это было тем обиднее, что он любил и понимал живопись.

Как это «пропагандировали»?!. Выставки Гуттузо в шестидесятые годы проходили с триумфом, лично для меня знакомство с ним было потрясением — эта извивающаяся линия в его графике, его цвет, мазок...

— Вы просто не видели Ван Гога, фовистов. Даже Пикассо.

Что верно, то верно. Не видели. В ту пору нам только-только начали приоткрываться импрессионисты, а о существовании Пикассо я впервые узнал лишь из стихотворения прогрессивнейшего Евгения Евтушенко «Нигилист»: «Низвергал Герасимова — утверждал Пикассо». Здесь Пикассо, антипод Герасимова (одного из вождей Академии художеств СССР), выступал символом неких западных веяний, наравне с узкими брюками и танцем буги-вуги. Видели же его воочию совсем немногие, а понимали (что-то действительно чувствовали, кроме недоумения) и того меньше.

Поэтому я постарался отдать справедливость мнению молодого задиристого интеллектуала, и когда я принялся перелистывать полузабытый альбом «Ренато Гуттузо» (М.: «Советский художник», 1965), в моей душе звучали уже два голоса — голос восторженного почитателя и голос скептика, несколько снобистского толка. И надо сказать, сегодня настораживает уже само перечисление титулов Гуттузо: почетный член Академии художеств СССР, член Центрального Комитета Коммунистической партии Италии...

Зато судьба его вновь располагает к нему.

Ренато Гуттузо исполнилось двадцать в годы победного шествия итальянского фашизма. Политика итальянских фашистов в области искусства во многом напоминала политику русских коммунистов: в пору бурного становления поощрялся напористый футуризм с его культом стремительной динамики, в пору обретения спокойной уверенности — неоклассицизм с его фальшивой имитацией древнеримского величия. Однако не только темы, лично одобренные самим Муссолини («Выступление дуче по радио», «Итальянский характер, созданный фашизмом», «Битва за зерно», фашисты самый будничней труд тоже любили и умели превращать в битву), но и «аполитичная» и даже неплохая — живопись в этом агрессивном пропагандистском потоке невольно начинала играть сомнительную роль. Так, например, допускался интерес к «героическому прошлому народа» (у нас это были бы всевозможные витязи и прочие чудо-богатыри), а также внимание к будням «простого человека» — сердцевиной фашистской культурной политики было недоверие ко всяческой сложности, неоднозначности, отвращение и ненависть ко всякой развитой индивидуальности, способной иметь обоснованное собственное мнение, собственные высшие интересы, не укладывающиеся в предписанные сверху рамки «великой миссии Италии». Не зря слово «фашизм» означает «единство»!

Но борьба с фашизмом тоже требовала единства, для которого усложненная индивидуальность опять-таки оказывалась не слишком желательной: она всегда оказывается лишней при попытках разрешить сложнейшие социальные конфликты силовыми методами (фашизм и есть бунт простоты против мучительной сложности социального бытия).

В такие эпохи художники начинают стыдиться собственного душевного богатства, мешающего им «шагать в ногу», писатели отдают свои лучшие качества «отрицательным героям» (Олеша — Кавалерову, Фадеев — Мечику), готовые во имя единства с массами заклеить в себе именно то, что делает их творцами. Не только Маяковскому («Умри, мой стих, умри, как рядовой!») — даже Мандельштаму было знакомо это чувство.

В книге В. Горяинова «Современное искусство Италии» (М.: «Искусство», 1967, с.19) приводится частное письмо итальянского литератора поколения Гуттузо — тоже участника Сопротивления. За несколько дней до своей гибели в бою этот молодой интеллигент признавался, что если бы не война, то он остался бы «интеллигентом с узколитературными интересами»: «Я обсуждал бы политические проблемы, но особый интерес для меня представлял бы «одинокий человек». Встреча с девушкой или фантастический образ значили бы для меня больше, чем любая партия или доктрина... В определенный момент интеллигенция должна быть способна отдать свой опыт для общей пользы, и каждый должен суметь занять свое место в боевой организации».

Стремление — что говорить! — благородное, но может ли художник занять место «в общем строю», не наступая при этом на горло самому драгоценному — «собственной песне»?

Партизан-подпольщик, вступивший в коммунистическую партию в те годы, когда это было смертельно опасно, свидетель массовых убийств, творимых фашистами, почти ничего при этом не слышавший о массовых убийствах, совершенных и совершаемых коммунистами, Гуттузо мечтал о живописи, которая была бы «страстным криком... звучащим на улицах и площадях, а не в грустной атмосфере музеев для немногих специалистов». Положим, лично у меня атмосфера музеев вызывает отнюдь не чувство грусти — скорее благоговения и гордости за человеческий гений, но — стремление говорить (и даже кричать!), обращаясь к неискушенным массам на общепонятном языке, всегда бывает свойственно искусству в эпохи массовых движений. Однако именно из-за стремления каким-то общепонятным способом выразить нечто общезначимое в такие эпохи над искусством нависает опасность элементарности.

Но если взглянуть на лист из серии «С нами Бог!» — где тут элементарность? Змеящиеся линии, из-за которых фигуры убийц кажутся ожившими, отказ от натуралистической детализации, гипертрофия основных черт напоминают об экспрессионизме. Так говорит в моей душе почитатель Гуттузо. «Экспрессионизм, — тут же возражает скептик, — тяготел к некой первозданности, а здесь чистая злободневность, экспрессионизм искал глубоких символов, а здесь карикатура».

«Ну, тогда “Ветеран-нищий”. Мертвая голубизна лица, красные веки, желтые пальцы с красной же окантовкой, не то тень, не то прямо-таки призрак отсутствующей ноги, смелый, неприглаженный мазок...» — «Он просто использует открытия постимпрессионистов, фовистов для разработки элементарной передвижнической идеи. Кто же не знает, что калекам необходимы пенсия и сострадание! Где здесь открытие?»

«Хорошо, а “Буги-вуги в Риме”? Танец, у нас в стране долго служивший символом буржуазного растления, а в Риме его отплясывают такие симпатичные ребята! Но при этом у них удивительно отчужденные, почти трагические, лишенные человеческих подробностей лица манекенов — разве это не находка?» — «И попутно выпад против абстрактного искусства — репродукция на стене, разноцветные прямоугольники Мондриана — “Буги-вуги в Нью-Йорке”. У нас-де хоть и манекены, но все-таки люди, а у них-то и людей нет». Что ж, плакатностью отдает. И все-таки в этой пляске манекенов мерцает какая-то неоднозначная глубина. И грустная девчонка на фоне вихляющихся бедер определенно хороша — хоть и напоминает о баре «Фоли-Бержер» Эдуарда Манэ. Моды меняются, а одиночество среди толпы — оно вечно.

«Одинокий человек» получался у Гуттузо лучше всего. «Портрет Рокко с сыном» тоже трогает, хотя контраст хрупкости ребенка и огромных рук отца, его беззащитной нежности все же простоват. «Воскресный отдых калабрийского рабочего» — тот же Рокко Каталано слушает патефон — значительно тоньше: нахохлившаяся тропическая птица среди монотонных прямоугольников, треугольников, трапеций, кубов современного Вавилона слушает песни

родного леса... Фон подчеркнуто геометричен и аскетичен, а у самого Рокко гипертрофированы и впалые щеки, и скулы, и персидские траурные глаза...

А натюрморты Гуттузо? Хотя бы «Большая оплетенная бутылка», где сами прутья живут и светятся, — не так важно, был Гуттузо подлинным или неподлинным коммунистом, но художник он явно подлинный. И когда его вдруг убрали из Эрмитажа, я был огорчен. И был обрадован, когда его вновь вернули, пусть и гораздо в меньшем количестве.

Что, впрочем, только справедливо. Коммунист Гуттузо не был революционером в искусстве.

Хотя в этом есть и своя прелесть — революционеры далеко не всегда дарят нам радость. У них бывают задачи пограндиознее, чем ублажать всякую плотву.

Взять хотя бы Пикассо, на которого Гуттузо, по выражению Эренбурга, смотрел «богомольно». Примерно в ту же эпоху Пикассо написал уж никак не элементарную картину, которая тоже должна была стать страстным криком, звучащим на улицах и площадях.

Хотя все обстоятельства как будто складывались так, чтобы «Герника» оказалась остро злободневным произведением, не способным, однако, надолго пережить породившее его событие — бомбардировку баскского городка Герника 27 апреля 1937 года во время гражданской войны в Испании. Первый творческий импульс тоже был вполне социально актуален: правительство республиканской Испании заказало своему знаменитому земляку панно для испанского павильона на Международной выставке в Париже — притом после неудачных попыток сделать заказ Сальвадору Дали и Хуану Миро. Две тысячи погибших — после Второй мировой войны этой цифрой было бы уже никого не удивить, и однако же злодейства куда более грандиозные не вызвали к жизни полотен столь апокалиптического масштаба.

Огромное панно (8 метров в длину, 3,5 метра в высоту), поместившееся в мастерской только в наклонном виде, Пикассо, не зная ни сна, ни отдыха, написал чуть ли не за месяц. По первому замыслу, действие должно было проходить

на рыночной площади Герники, но потом конкретные реалии все таяли и таяли, а мощь картины чудодейственным образом все росла и росла. Картина заставляет вздрогнуть с первого же взгляда — это «агония самой формы», как хорошо сказано в книжке И. Голомштока и А. Синявского «Пикассо» (М.: «Знание», 1960, с. 46), — подробности начинаешь видеть чуть позже.

Картина огромна — и все же действие происходит в каком-то странном замкнутом помещении, почти не имеющем глубины, в котором царит страшная теснота. Некий загадочный дух с прекрасным женским ликом, втекая через окно, пытается что-то осветить простеньким светильником (бросается в глаза неправильный захват пальцев — тут искажено все), к кому-то воззвать, — но здесь даже лучи электрической лампы отбрасывают черные тени, здесь никто никого не слышит, каждый исходит криком в безнадежном одиночестве, простирая либо бессильно роняя руки, пальцы на которых похожи то на беспорядочные отростки, какие иногда бывают на морковке, то на что-то вроде кристаллов. Исходит криком и мать с убитым ребенком на руках, и лошадь, пронзенная сломавшимся внутри нее копьем (из ее рта тоже торчит некое подобие кинжала, сходное острое жальце можно разглядеть и в кричащем рту матери). Пикассо отнюдь не стремится сделать страдание красивым, это не «Последний день Помпеи». Головы людей, лишенные лбов, напоминают морские булыжники, обкатанные прибоем (даже ноздри у них похожи на отверстия в той редко попадающейся гальке, которую зовут «куриный бог»). Незакрепленные глаза беспорядочно перемещаются по их лицам, иногда готовые скатиться с них, будто слезы.

В этих фигурах есть и что-то неживое, напоминающее о конвейерной сборке, древний символ женственности — грудь — тоже несет в себе нечто составное: какие-то привинчивающиеся шайбы, что-то вроде металлических колпачков... Опрокинутый воин со сломанным мечом в руке прямо-таки разобран на составные части, лошадь размечена какими-то ровными, «газетными» строчками, — но все при этом куда-то рвутся, тянутся, кричат — грозную неподвижность хранит один только бык с кинжальными ушами и надвинутым лбом, напоминающим рогатый тевтонский шлем, бык с профилем прусского генерала, схваченным

карандашом Георга Гросса. Есть детали совсем уж загадочные, вроде стрелки под копытом лошади — не то условный знак на графической схеме, не то дорожный указатель, — можно найти еще немало деталей в этом роде. Сам Пикассо отказывался толковать аллегорический смысл отдельных фигур: «картина нередко выражает больше того, что хотел оказать ее автор», «пусть публика видит то, что хочет видеть». И вообще, «картина получает жизнь от зрителей».

И вначале далеко не все зрители пожелали вдохнуть жизнь в «Гернику». Знаменитый архитектор Ле Корбюзье рассказывал, что «Герника» видела в основном спины посетителей, многие требовали даже заменить ее простым и ясным полотном художника-реалиста Аурелио Артеты, недвусмысленно изображающим страдающих крестьян и сражающихся солдат. Пикассо же, напротив, последовательно изгонял из картины все общепонятное. В ранних вариантах бык бежал по трупам, воин вздымал кулак в республиканском приветствии, в колорите господствовал цвет крови, — насколько же интереснее окончательная черно-серая гамма! Монотонный цвет ночи, как выразился сам Пикассо.

Чтобы наполнить картину не только своими субъективными ассоциациями, но и по возможности приблизиться к миру Пикассо, испанца, с детства знакомого с боем быков — тавромахией, перелистаем хотя бы иллюстрации к превосходной монографии Н. Дмитриевой «Пикассо» (М.: «Наука», 1971), — там мы встретим и мученически изогнутую шею лошади — неизменной жертвы жестокого спорта, и быка, который, впрочем, может оказаться не только воплощением свирепой мощи, но и несчастной жертвой: особенно многозначителен и многозначен образ Минотавра — смеси человека и быка, смеси разумного и звериного.

Минотавр проходит в качестве центрального персонажа сквозь целый графический цикл. Он может быть и благодушным собутыльником, и вполне симпатичным ухажером, но может — совершенно не со зла, а просто потому, что он способен руководствоваться лишь собственными инстинктами — всей своей могучей тушей навалиться на бессильно барахтающуюся женщину. Но когда на арене юный прекрасный герой сражает чудовище на глазах прекрасных дев, это не вызывает у них восторга: в выражении их лиц,

в невольном жесте мы прочитываем сострадание, а получеловек-полузверь, жалко свернувшийся у ног матадора (одетого отнюдь не на испанский лад: ведь «настоящего» минотавра убил афинский герой Тесе́й — подобная перестановка эпох Пикассо никогда не смущала), действительно трогателен и жалок. Убийство не разрешает трагических противоречий жизни — оно лишь заменяет одну трагедию другой.

Этот же мотив, на мой взгляд, звучит в гравюре «Минотавромахия». На ней мы снова видим жертв разъяренного монстра: и лошадь, и матадора с обнаженной женской грудью, — а минотавр готов и дальше разить всех, кто подвернется под руку. Однако на его пути стоит девочка со светильником, не очень красивая, но очень серьезная и как-то странно похожая на девушку-матадора, напрасно взявшуюся за такое неженское дело. Действительно, шпага не помогла, она лишь прибавила зверю ярости, зато светильник наводит на него какую-то тоскливую оторопь, он закрывается от него и, похоже, останавливается в нерешительности.

Есть еще одна многозначительная гравюра: девочка ведет за руку слепого минотавра. Запрокинутая голова слепца удивительно достоверна, хотя мы, конечно, не видели слепых быков: приблизительно так они запрокидывают голову перед тем, как издать горестное мычание, но здесь голова запрокинута еще более горестно и вместе с тем примиренно.

Так что в художественном мире Пикассо образ быка отнюдь не однозначен. Быка в «Гернике» он тоже отказывался трактовать как простую аллегория: он хотел показать не просто ужас конкретного события, а обобщенную трагедию. Однако в дружеской беседе он обмолвился, что лошадь — олицетворение страданий ни в чем не повинного народа, а бык — олицетворение жесткости и темных сил. Вместе с тем бык — это не столько агрессия, сколько тупость и косность, которые могут быть не менее беспощадными. Н. Дмитриева замечает не только тонко, но и справедливо, что весь ужас картины в том, что не видно, откуда надвигается беда, где спастись и кому сопротивляться. В самом деле, жизнь была бы неизмеримо менее трагичной, если бы зло сосредоточилось в каких-то конкретных зонах и персонажах, а не порождалось ежесекундно всем ходом человеческой

жизни. Ведь и того же Гитлера возвели на вершину власти миллионы простых избирателей, большинство из которых, конечно же, не были вульгарными злодеями... Но можно ли назвать их безвинными жертвами даже после тех чудовищных бедствий, которые фашизм обрушил на их же собственные головы?

Пикассо тем не менее не забывал и о конкретном поводе, давшем толчок его исполинскому воображению, он не забывал и о конкретных виновниках конкретной трагедии. Немецкую оккупацию он пережил в Париже, бедствовал, но, разумеется, не унизил себя сотрудничеством с гитлеровцами.

Однажды несколько немецких офицеров зашли к нему в нетопленную мастерскую и один из них увидел репродукцию «Герники».

— Это вы сделали? — небрежно спросил временный победитель.

— Нет, это вы сделали, — ответил Пикассо.

Но когда на Нюрнбергском процессе Герингу, командовавшему немецкой авиацией, был задан вопрос о бомбардировке Герники, он едва сумел вспомнить о столь незначительном эпизоде. И, разумеется, ответил, что у них не было иного выхода, они лишь повиновались военной необходимости: в убийцах, пожалуй, и в самом деле меньше злобы, чем тупой уверенности в своей всегдашней правоте.

Зато «Герника» Пикассо на много веков переживет и Геринга, и Франко, которого, впрочем, теперь многие считают спасителем Испании, избавившим ее от красной угрозы.

Кто знает — может быть, и так. И все-таки не нужно с легким сердцем становиться на сторону одного из двух страшных зол, пусть даже и меньшего.

Но Франко, надо отдать ему справедливость, не стал доводить побоище до полного истребления побежденных, а в качестве одного из знаков национальной консолидации даже пожелал примириться и с Пабло Пикассо: возвраще-

ние «Герники» на родину — это было бы очень эффективное пропагандистское шоу. Франко предлагал любые деньги, обещал предоставить картине отдельный зал, — Пикассо оставался непримиримым. «Герника» была выставлена в Нью-Йоркском Музее современного искусства с табличкой «Собственность испанского народа». И в своем завещании Пикассо распорядился передать «Гернику» в Испанию безвозмездно, но лишь после восстановления там республиканского строя. Из-за этой формулы впоследствии произошли осложнения, поскольку после смерти Франко демократические свободы были восстановлены, но — «республиканский строй» формально восстановлен не был: Испания превратилась в конституционную монархию. Тем не менее в конце концов все недоразумения были улажены, и «Герника» с триумфом возвратилась к своему «собственнику».

Пикассо в итоге одержал и политическую победу — не тем, что создал нечто общепонятное, а тем, что создал нечто гениальное, способное рано или поздно покорять даже завзятых традиционалистов. Павел Корин, хранитель заветов Александра Иванова, предубежденный против «модерниста» Пикассо, неожиданно для себя был потрясен «Герникой»: «прекрасная тональность, волевая, энергичная прорисовка деталей». Корин признал Пикассо «большим мастером» и более того: «Я почувствовал: он человек ищущий, мятущийся и мятежный. Я почувствовал: много мучений, много дум вкладывает он в искусство».

Не просто тональность и прорисовка, но мучения и думы... Явная переключка со словами самого Пикассо: «Важно не то, что делает художник, а то, что он собой представляет»; не яблоко, написанное Сезанном — «беспокойство Сезанна — вот что неодолимо притягивает нас, вот чему он учит нас! И муки Ван Гога — в них истинная драма человека».

Конечно, судьба Ван Гога несет в себе опасный соблазн заменить мастерство мятежностью, но и без мятежности в искусстве далеко не ускакать. К несчастью, коммунист Гуттузо, носивший репродукцию «Герники» у сердца, оказался недостаточно «мятущимся и мятежным» не в запутанных политических вопросах — в них сам черт ногу сломит, — но в собственном творчестве, где талант должен царить безраздельно. А его всерьез тревожило, что его не понимают

и критикуют «товарищи по партии» — политические функционеры, для которых все неисчерпаемое многоцветье мира сводится к одному: «На чьей ты стороне?».

Пикассо тоже был коммунистом, другом Советского Союза, где его картины долгое время подвергались изоляции, — и это тоже его, естественно, огорчало. И, однако же, на своих холстах он оставался самодержавным владыкой, не внимающим ни хулам, ни похвалам ни врагов, ни «друзей».

И этим спас свой гений.

После разноса, учиненного Хрущевым в Манеже, Пикассо даже отказался принять Международную ленинскую премию — более того, пригрозил выйти из партии, если его будут очень уж доставать. И только Эренбург упрямил принять советскую награду, дабы она послужила индульгенцией и советским «формалистам». Но Пикассо и тут отвел душу, прицепив чеканный ленинский профиль себе на ширинку.

И все-таки хорошо, что и Пикассо, и Гуттузо, и Мазерель вступили в ряды коммунистической партии — к нам ведь подобных «модернистов» пропускали по партийным билетам. Именно по партийной линии они проникли в нашу страну, а затем и в наши сердца.

ТРИ АМЕРИКИ

Звездное трио

Мексика так бы и осталась для нас страной бесконечных, а потому тем более бессмысленных гражданских войн и неотличимых друг от друга диктаторов, если бы — если бы не мексиканские художники-монументалисты.

Пабло Неруда так говорил об этих трех великих мексиканцах: гениальный Хосе Клементе Ороско — самый сложный, титанический, Диего Ривера — самый классический, а самый беспокойный, изобретательный, постоянно ищущий новое — это Давид Альфаро Сикейрос. С него и начнем.

Дед Давида Альфаро Сикейроса, носивший почетную кличку Семь Ножей (целых семь — и это в Мексике, где трудно удивить храбростью и необузданностью!), прославился в качестве командира партизанского отряда во время англо-франко-испанской интервенции 1861–1867 годов. Войны для мексиканцев были делом привычным — одна сменялась другой, но цели их были неизменно возвышенны и справедливы. Вожди, которым удавалось уцелеть и прийти к власти, каждый раз оказывались чьими-то ставленниками — алчных помещиков или наглых гринго, и из спасителей страждущего отечества быстро превращались в изменников и хапуг. Надежды обращались к новому вождю. На этот раз уже безупречному, однако и ему удавалось задержаться в национальных героях лишь ценой гибели на полпути к вершине. А погибать в Мексике умели! Сам Сикейрос не раз оказывался на краю смерти, но ужас всегда отступал перед самолюбием, жадной красивой жеста.

Уже стариком Семь Ножей, навеселе возвращаясь из пулькерии, приказывал внукам прятаться за камни, а потом палил по ним из револьвера, приучал к свисту пуль. Или

запугивал до полусмерти страшными байками, а потом посылал в темный амбар. Или будил среди ночи и заставлял стоять по стойке «смирно», покада ребенок не валился с ног.

Словом, Семь Ножей стремился сделать из маленького Сикейроса настоящего мужчину и вполне в этом преуспел. «Меня называли лихим полковником» — первое, что он, художник, считал нужным о себе сообщить: именно такое название он дал книге своих воспоминаний (М.: Политиздат, 1986).

Отец Сикейроса, видный юрист, был поклонником европейского образа жизни и в отличие от деда, закоренелого антиклерикала и богохульника, фанатичным католиком. В течение месяца он выполнял сам и заставлял домашних проделать столько религиозных процедур, сколько другому хватило бы на целую жизнь. За его столом собирались крупнейшие землевладельцы, доверявшие ему вести свои дела. Но вот однажды родной сынок, юнец, набравшийся революционного духа в школе изящных искусств, в глаза назвал его высоких гостей шайкой воров. Это случилось во время аграрно-демократической революции 1910–1917 годов. Страсти были накалены. Отец запустил в юного радикала большим бокалом (радикалы и бокалы хорошо рифмуются), а тот, сокрушив довольно много подвернувшихся под руку ценных вещей, навсегда ушел из дома. Некоторое время буквально нищенствовал и заодно с революционными фантазиями вынашивал мечту сделаться альфонсом — любовником пожилой миллионерши.

Попутно он по ошибке принял участие в разгроме прогрессивной газеты лишь на том основании, что громилы были плохо одеты. Этот эпизод мог бы открыть ему глаза на то, что принцип «оборванец всегда прав» очень опасен. Однако Сикейрос продолжал исповедовать его всю свою жизнь. Вступив в одну из революционных армий, он закончил гражданскую войну в чине капитана и был отправлен в Европу учиться одновременно живописи и военному делу — это сочетание сопровождало его всю жизнь. Он воевал в Испании (командовал бригадой), лично участвовал в расстреле вражеского агитатора, о чем вспоминал не без напыщенности, организовывал покушение на Троцкого, а всевозможных стычек местного значения даже и не перечислить.

В одной из тюрем его навестил отец и с гордостью за сына заметил, что мужчины не изменяют своим убеждениям. Для него тоже убеждения были не делом знания, изучения, размышления, а делом чести: верность убеждениям важнее, чем верность истине. Сикейрос — «самый изобретательный, самый ищущий», всю жизнь искал не истины, а победы, отдавался страсти, убегая от сомнений. Он изобретал все новые и новые способы пропаганды своих идей, не задумываясь об их ценности и глубине. Ему, как и многим, очень многим другим, не приходило в голову, по какому праву он, недоучка, указывает путь всему человечеству, дает окончательное решение вопросов, в которых еще ни разу не сошлись ученые. Впрочем, марксизм предусмотрел и это, заранее объявив прислужниками буржуазии всех, кто с ним в чем-то не согласен. Марксизм-ленинизм идеально пришелся впору темпераменту Сикейроса, требовавшему не мысли, но действия, не понимания, но переделки мира: все решается не творчеством, не сотрудничеством, а пальбой; мир делится на отвратительных врагов и трогательных друзей; бедняки бедны оттого, что их кто-то ограбил, а не оттого, что необразованные люди, пользующиеся первобытными орудиями, остаются бедными всегда и всюду.

В Европе благодаря Диэго Ривере Сикейрос познакомился с новейшими художественными течениями. Произошло, как он считал, слияние формальных открытий европейского искусства со страстным порывом мексиканских художников к искусству социальному, простому и великому, каким оно было в эпоху доколумбовых индейских цивилизаций. Простое и великое, обращенное к массам, — в этой формуле таится и сила, и слабость Сикейроса: простота, величие и общедоступность требуют отказа от всего утонченного, индивидуализированного, интимного. Сикейроса это не пугало. В одном из своих манифестов он без смущения заявил, что искусство, начиная с эпохи Возрождения, свернуло на тропу ошибок. Для нового же мексиканского возрождения требовался только новый могущественный меценат, новый Медичи. Им оказался просвещенный консерватор, писатель и философ, министр народного образования Хосе Васконселос — энтузиаст национального возрождения, доказавший, что смесь народов, образовавшая нынешних обитателей Латинской Америки, являет собой новую «космическую» расу, которой принадлежит будущее. Правда, Васконселос возлагал

надежды не на революцию, а на просвещение. Взгляды новых монументалистов представлялись ему примитивными, потакающими вкусу черни. Тем не менее министр первым предоставил бунтарям стены государственных зданий.

О первых своих фресках (муралях) Сикейрос вспоминает с неодобрением: они изображали слишком отвлеченные, мифологизированные начала — Огонь, Землю, Воду... Поэтому он перешел к началам еще более отвлеченным и мифологизированным — Социализм, Капитализм, Пролетариат, Буржуазия, Передовая идеология, Оппортунизм, Ревизионизм. «Портрет буржуазии», законченный в год вторжения Германии в Польшу, охватывает три стены и потолок большого зала. Это целое пространство, заполненное разрозненными эпизодами, объединенными лишь общим эмоциональным напором, рассчитанным на целое множество точек созерцания: механизированные колонны солдат, бомбардировщики с головами хищных птиц, уносящиеся ввысь башни броненосцев и... дирижер-диктатор на винтовом стержне. Одна рука уперта в бок, другой он жеманно протягивает цветок, но у него есть и третья рука — в ней он держит нож-факел. Голова же у него попугайская, птицы, повторяющей чужие слова. Цвета тоже очень простые, даже кричащие — цвета пламени и крови...

Символика достаточно прямолинейна. И все равно десятой доли этих вывертов в Советском Союзе хватило бы, чтобы попасть в формалисты — стоит сравнить зализанные росписи Московского метро и хотя бы одну только увеличенную газетную фотографию, введенную Сикейросом в свою бурнопламенную живопись. Кстати, с 1933 года Сикейрос чаще пользовался пистолетом-пульверизатором, чем кистью; даже полюбившиеся ему краски носили взрывчатое название — пироксилин. При этом самые пламенные борцы за социализм строили мир, в котором им не было места. Маяковский это испытал в полной мере, а Сикейрос — лишь в очень небольшой. Однажды, правда, ЦК потребовал от него развода с одной из его жен — уругвайской поэтессой Бланкой Рус Брум из-за ее «неправильных» политических симпатий. Ему приходилось пробираться к собственной жене и ребенку под покровом ночной темноты, и все-таки верность воодушевляющей сказке была для него важнее подобных индивидуалистических мелочей.

В композиции на здании ректората в университетском городке ненавистный «буржуазный индивидуализм» преодолен практически до конца — лица, позы упрощены до последней степени, — далее, кажется, зашли только матрешки. Науки тоже представлены самыми элементарными атрибутами — циркуль, книга (на заднем плане — конечно же, шествие со знаменами). И тем не менее в этих фигурках (хоть они и громадные) есть что-то милое и вместе с тем стремительное — без этого Сикейрос не может. Из мчащегося автомобиля (композиция выходит на автостраду) эти фигуры, вероятно, выглядят особенно эффектно.

Зато «Рыдание», написанное в том же году, что и «Портрет буржуазии», лишено плакатно-аллегорических излишеств. Это скорбь мужества и силы. «Глубина отчаяния сконцентрирована художником в руках, полностью закрывших лицо человека. Эти сильные руки с побелевшими от боли костяшками пальцев, сжатые в кулаки, по-новому, необычайно образно передают состояние человеческого горя» (Шелешнева Н. Искусство, рожденное революцией // В кн.: Культура Мексики. — М.: Наука, 1980, с. 179). Картина приобретена ненавистными гринго и выставлена в самом центре мирового империализма — в Нью-Йорке.

И наконец, «Взрыв в городе». Здесь тяга Сикейроса к обобщениям дает еще более впечатляющий эффект. Это образ современной войны — с такой высоты лица жертв невозможно увидеть так, как их увидел в «Гернике» Пикассо. Собственно, почти не видно и самого города — к небесам поднимаются лишь клубы плотного дыма, напоминающего кровь, выпущенную в воду из пронзенного тела да так и застывшую, остекленевшую, огрубевшую, подобно асфальту...

В СССР из «великой тройки» особенно пропагандировали именно Сикейроса. В 1967 году, за год до вторжения в Чехословакию, этот вечный солдат был награжден Международной ленинской премией как борец за мир. Однако, окидывая взглядом его путь, испытываешь горечь: сколько огня и таланта было отдало химере! Но может быть, когда марксизм окончательно сделается одной из рядовых грез, под власть которых время от времени подпадает человечество, когда марксистская фразеология перестанет вызывать

столь острое отвращение (нас же не волнует, какой бог правильное — Озирис или Юпитер), быть может, тогда в творчестве Сикейроса отчетливее проступит и сохранит его для вечности то, чего Сикейрос всю жизнь избегал и ненавидел, — чистое искусство.

И кто знает, возможно, наши потомки будут любоваться его мальчишескими выходками и фантазиями так же аполитично, как мы восхищаемся кипением жизни хотя бы и в том же Бенвенуто Челлини.

* * *

Полное имя Диего Ривера звучало так: Диего Мария де ла Консепсьон Хуан Непомусено Эстанислао де ла Ривера-и-Барриентос де Акоста-и-Родригес. В десятилетнем возрасте он демонстрировал столь глубокие познания в военном деле, что сам военный министр разрешил зачислить его в военное училище по достижении четырнадцати лет — на четыре года раньше положенного. Рассказы о воинских подвигах (и зверствах) предков, как и у Сикейроса, составляли духовную пищу его детства. Оттого-то примитивность марксизма, без околичностей разделяющего мир на друзей и врагов, всегда готовых вступить в перестрелку, как нельзя лучше отвечала его темпераменту. А в схоластические дебри о прибавочной стоимости и первичности материи Диего Ривера не углублялся. Главное — быть бунтарем. И чем левей — тем лучше (кстати, именно он первым дал приют в Мексике Троцкому). Но если политика угрожает работе — к черту политику! Его тактические уловки в обращении с вельможными заказчиками, «соратниками по борьбе» часто казались изменой. Сикейрос даже уверял, что Ривера нарочно добивался своего исключения из Коммунистической партии.

Огромный толстяк, женолюб и жизнелюб, неутомимый кутила и, мягко говоря, сочинитель, он не укладывался в рамки партийной дисциплины. Зато работал как одержимый. Однажды от переутомления он задремал прямо на лесах и получил серьезные ушибы. Начинал Ривера преуспевающим реалистом в экзотическом вкусе, прошел через кубизм, сделавшись одним из его классиков, усматривая

в кубизме мину, подложенную под «буржуазный здравый смысл». В знаменитом парижском кафе «Рогонда» любил, по словам Эренбурга, порассуждать о том, что «искусству необходимо глотнуть глоток варварства». Все это было в духе времени, воодушевляло и сюрреалистов и экспрессионистов. Но Ривере (не без влияния Сикейроса) с некоторых пор стали казаться более величественными не дикие орды, а стальные полки организованного пролетариата.

Впоследствии он, случалось, вводил в свои фрески указующие фигуры Маркса, Ленина, нанося себе даже и творческий урон; в величественных росписях не брезговал примитивными агитационными стишками. Но его дар даже мертвые схемы умел наполнить бьющей через край жизнью: вместо обличения эксплуатации у него часто получался гимн человеческой изобретательности и слаженному труду. Ривера был схож со своим любимым праздником — днем усопших, справляемым на особый мексиканский лад: все веселятся напропалую, беспрерывно лакомясь сахарными черепами и шоколадными гробиками, забавляясь игрушечными скелетиками, разряженными кто во что горазд. Смерть превращалась в жизнь. Поклонник первозданности, в детройтских росписях Ривера исполнил такой гимн «капиталистической» промышленности, что несколько священников обвинили его в идолопоклонничестве перед Машиной.

Его «Спящая земля», даже во сне оберегающая зеленый росток, помогает понять, почему фрески Леонардо и Рафаэля казались Ривере началом отрыва живописи от коллективистского мироощущения масс, от слиянности в едином Мы. И он был совершенно прав — вспомнить хотя бы «Тайную вечерю» с ее бесконечным количеством оттенков во всем — в цвете, в движении, в мимике, в неповторимости каждой фигуры. А в росписи Риверы хотя и нет первобытной грубости, но нет и сколько-нибудь изысканных оттенков цвета, неуловимых линий, нет ни особенной пышности, ни особенной утонченности. Ривера удивительно точно остановился на грани между примитивностью и виртуозностью. И, однако же, упаси Бог, чтобы все искусство сделалось таким.

А роспись «Живописцы и красильщики» нужно разглядывать долго, входить в нее как в особый мир, почти до самого горизонта заполненный работающими людьми. Здесь

чем-то заняты все, а не только живописцы и красильщики на переднем плане. Можно переводить взгляд все дальше и дальше — и всюду находить сосредоточенные человеческие фигурки (как в муравейнике, добавил бы противник коллективизма). В этой фреске Ривера вплотную приблизился к желанной «великой простоте» древнего искусства доколумбовой Мексики: черты общие — расовые, профессиональные, особенности позы, движения здесь едва ли не утрированы, но черт индивидуальных, создающих неповторимую личность, почти нет. Вот оно, то роевое начало, которое грезилось Льву Толстому.

Почти то же самое можно сказать и о фреске «Город Теночтитлан», с той существенной разницей, что на заднем плане мы видим потрясающие плоды этого «роевого» труда — храмы, пирамиды. Древняя столица ацтеков, когда-то поразившая конкистадоров, немало потрудившихся, чтобы стереть это чудо с лица земли, отнюдь не выглядит раем, где отсутствует принуждение. Но это мир, который воспринимается его обитателями как единственно возможный.

В 1954 году Ривера после публичного покаяния был восстановлен в Коммунистической партии. Незадолго до смерти приезжал в Советский Союз лечиться от рака. Вернувшись домой, он заявил в интервью, что в СССР с одинаковым вниманием лечат и простого рабочего, и министра, а очереди сохранились только у ювелирных магазинов. Глядя на две последние фрески, можно догадаться, отчего Ривере так хотелось видеть земной рай всеобщего коллективного труда хотя бы на обратной стороне Земли.

И все-таки его тяготение к грандиозным символам за пределами политики приносило поистине мощные плоды. Надо же было придумать такую роспись для водораспределительной станции — огромные ладони, бережно собирающие воду. И лучшей фотографией этого бузотера и бабника осталась та, где он предстает озабоченным тружеником в замызганном комбинезоне. Жизнь для меня — это радость, объяснял он свои коммунистические симпатии, а я не умею радоваться в одиночку.

Как будто у человека нет иного выбора — либо тоталитаризм, либо одиночество!

«Окоп» — одна из самых известных в нашей стране фресок Хосе Клементе Ороско. Совершенно справедливо отмечается, что «Ороско избегает изображения предметной обстановки или пейзажа» (Полевой В. М. Искусство стран Латинской Америки, М.: Искусство, 1967, с. 125). Сухая земля и багровое зарево тоже даны очень обобщенно. Позы убитых, напоминающие о канонизированных «Распятиях» и «Снятиях с креста», переданы резко, но лаконично. Реалистические подробности вроде босых ног тоже слабо детализированы. Однако наиболее могуч Ороско не в героике, а в горечи и сарказме. По следам мексиканской революции он создал серию графических листов, настолько беспощадных, что большая часть их была уничтожена таможенниками при въезде в США за «безнравственность». В графике Ороско никому не льстил. Он и бедняков мог изобразить в виде оборванных жизнерадостных обезьянок, карабкающихся на сюсюкающих расфуфыренных дам.

«Мигель Идальго» — это священник, в начале прошлого века поднявший борьбу против так называемого испанского ига. На фоне зарева — скорбный лик кроткого лысого интеллигента, страдальческий взгляд (Идальго расстреляли, и его отрубленная голова в течение десяти лет была выставлена в железной клетке), а внизу — серая масса неотличимых друг от друга слипшихся тел. Пророк, зарево — и серая масса. Ороско, потерявший руку во время детских забав, никогда не забывал, какой ценой достигаются пиротехнические эффекты. В одной его картине «Победа» является зрителю в образе отвратительной старухи с отвисшими грудями, радостно бредущей по колена в реке бурой крови.

Роспись купола в приюте Каваньяса («Человек огня») по трагическому накалу может соперничать с Эль Греко или Гойей. Охваченный пламенем, уносящийся ввысь образ человека напоминает сразу и о самосожжении, и об очищении огнем. Замыкающие его в причудливое кольцо человеческие фигуры увлекает гигантский вихрь. Можно понять тех архитекторов, которые считают, что подобные росписи разрушают архитектуру здания, создавая собственное

пространство, сосредоточивая на себе внимание и восторг зрителя. Но ради таких шедевров не жаль и архитектуры. Говорят, что над могилой Ороско Диего Ривера пробормотал вполголоса: «Ты и здесь нас опередил».

* * *

Эта звездная тройца много рассуждала о необходимости подчинять искусство политике — и при этом своим искусством они сделали для Мексики в тысячу раз больше, чем все политики и политиканы вместе взятые. Их мировая слава пробудила у самих мексиканцев гордое чувство, что им выпало жить не на задворках истории, а у нас в России радикально переменяла образ Мексики из бестолковой нищей страны в страну героическую и романтическую — трем гениям удалось то, чего не принесли бы никакие миллиарды, затраченные на государственную пропаганду.

Производство гениев — самый эффективный и высоко rentабельный пиар-проект, — очень жаль, что об этом забыли мы, до сих пор проедающие славу Толстого, Достоевского, Мусоргского, Чайковского, Шостаковича, Менделеева, Колмогорова...

Без банкиров и раздолбаев

До конца отдаться исполинским грезам могучих мексиканцев нам мешала, правда, та, мягко говоря, неприязнь, которую все три кита мексиканского монументализма питали к алчным гринго, — ведь Америка с ее джазом, битниками и хиппи не менее, чем враждебная ей Куба, тоже была островом свободы. Однако Рокуэлл Кент и Эндрью Уайес подарили нам любовь еще к одной Америке, где нет ни геометрических небоскребов с их банкирами, ни обаятельных раздолбаев с их косяками.

Из воспоминаний Рокуэлла Кента («Это я, Господи». — М.: Искусство, 1965), написанных со старомодной, временами натянутой шутливостью, возникает «портрет художника в юности», удивительно напоминающий русского

интеллекта народнической складки. Одаренный юноша из хорошей семьи, потрясенный трактатом Льва Толстого «Что такое искусство?» (цель искусства — содействовать единению людей), одновременно восторгается Дарвиным (прогресс через борьбу) и Кропоткиным (взаимопомощь — не менее важный фактор эволюции). Подобно русскому «кающемуся дворянину», стыдится наслаждаться творчеством, не зарабатывая свой хлеб тяжким черным трудом. От признания высшего достоинства в наименее квалифицированных видах труда — естественный шаг к социалистическому учению, в котором Кент видел не экономическую и социальную теорию, не выдерживающую непредвзятой критики, а некий новый побег извечной христианской мечты, отдушину, дающую уверенность, что трагизм жизни вовсе не безвыходен, но может быть уничтожен простыми политическими средствами. Творческую судьбу Рокуэлла Кента можно было бы назвать бегством от сложности, если бы его живопись своей неотразимой силой не налагала печать немоты на самые желчные уста.

Картина «Аляска. Вид с Лисьего острова» написана действительно на Лисьем острове (на широте всего-то, кстати, Санкт-Петербурга), где Рокуэлл Кент со своим маленьким сыном провел зиму в бревенчатой хижине среди земного рая, в котором растут не кокосовые пальмы, а суровые темные ели. Нужно любить жизнь больше, чем искусство, повторял Кент, не нужно прибегать к воображению — нужно видеть. «Смотри вокруг себя как обыкновенный человек и благодари Бога и родную мать за то, что они дали тебе хорошие глаза; и пиши как обыкновенный человек, а не как художник». Но «обыкновенный человек» не видит с такой торжественной обобщенностью ни синий снег, ни темную зелень елей, ни черное кружево обнаженного дерева.

«Эскимос в каяке». Снова повергающая в немоту величественная красота. И шевелится завистливая грусть: каким бесспорно прекрасным может быть мир, какими бесспорно нужными и мужественными делами может заниматься человек, какой слитой воедино с природой может быть его жизнь... Жизнь, не рождающая ни ученых, ни поэтов, ни живописцев, подобных хотя бы и Рокуэллу Кенту. В Советском Союзе, который Кент неустанно защищал от бур-

жуазной пропаганды, казенная критика не преминула бы указать на его «бегство от подлинной жизни»: земной рай на Лисьем острове он обрел в год вступления его родины в мировую войну, эскимоса в каяке увековечил в год воцарения Гитлера.

Зато в шестидесятые годы Рокуэлл Кент был кумиром продвинутой советской молодежи — мы тоже прятались от сложного в бесспорное: в святыни Великой Отечественной войны, в борьбу с суровой, но прекрасной природой («Держись, геолог, крепись, геолог»), в борьбу, требующую мужества и не посягающую ни на что действительно серьезное. Это был труд «со всеми сообща и заодно с правопорядком». Рокуэлл Кент давал возможность поэтизировать этот суровый эскапизм и своим творчеством, и своей личностью: вот какими могут быть настоящие коммунисты (хотя формально Кент не был членом компартии) — мужественными, талантливыми, честными!

Отыскав такую отдушину, к чему было обращать внимание на всякие неприятные мелочи. На то, например, как Кент, справедливо возмущаясь капиталистическим неравенством, возмущаясь проявлениями антисемитизма в США, в годы борьбы с космополитами, в годы полукрепостного полуголодного существования в советской деревне восхищался чистотой Москвы, заваленной товарами широкого потребления. Впрочем, когда он ставил Россию в пример американским бюрократам, это было скорее забавно. Но его декларации о народности и органичности социалистического реализма выглядят уже менее трогательными (кстати сказать, он никогда не ел мяса и возмущался охотой). Однако меньше всего я желал бы быть судьей этому славному человеку и прекрасному художнику: возможно, чистота его красок и куплена наивностью, слепотой к неразрешимой трагичности бытия.

* * *

В отличие от Рокуэлла Кента Эндрью Уайес почти не выезжал из своего провинциального Чадс Форда, штат Пенсильвания. В противоположность мексиканским мону-

менталистам, стремившимся писать «человека вообще», его персонажи предельно конкретны. Они носят вполне известные фамилии и чаще всего являются соседями Уайеса по его любимому городку, но — Уайес умел видеть масштабное в самом малом.

Вот «Мир Кристины». Хрупкая девушка снизу всматривается в небогатый уголок провинциальной фермерской Америки. Лишь по некоторой неестественности позы ее (напряжены только тоненькие, слишком широко расставленные руки) угадываешь, что перед тобой парализованная. Тут-то название и пробирает до глубины: так, значит, этот пяточок и есть ее мир — она доползла до самой его границы. И — раз это целый Мир — сразу начинаешь видеть его с десятитеренной зоркостью.

Зато громадность Большого Мира не охватывается глазом — она открывается лишь воображению. «Не нужно прибегать к воображению — нужно только смотреть» — с этим правилом мы не могли бы ощутить, что ветер, всколыхнувший занавеску (письмо неправдоподобного для двадцатого века изящества), долетел до нас с моря, которого на картине «Ветер с моря» вовсе не видно. Столь изумительно найденное название, вносящее в картину то, чего нельзя изобразить, я могу припомнить разве что у Левитана — «Вечерний звон». Благодаря воображению и Кристина может соприкоснуться с морем.

«Сын Альберта» — известен у нас очень многим из-за того, что этот портрет был приложен как иллюстрация к книге Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Задумчивость это, мечтательность или отрешенность — трудно сказать. Скорее всего, и то, и другое, и третье. Главное — в этом мальчишеском лице столько человеческой подлинности, что всколыхнувшиеся чувства никак нельзя передать словами. Да иначе и живопись была бы ни к чему.

Уайес так роднит нас с Америкой, как не мог бы ни один комитет американо-советской дружбы, возглавляемый хотя бы и самим Рокуэллом Кентом. Не в обиду последнему. Но Рокуэлл Кент все-таки уводит нас от обычных людей, а Уайес ведет нас к ним.

Или я сморозил глупость?

А правильно было бы сказать, что Уайес дарит нам одну Америку, Кент — другую, а мексиканское звездное трио — третью.

Но что самое интересное — даже самые антикапиталистически и антиамерикански настроенные художники все равно работали на укрепление прозападной сказки. Поскольку приходили «из-за бугра» и властью встречались настороженно.

АВАНГАРД АРЬЕРГАРДА

Fortissimo огромного оркестра

«Художник» (непрерывно в кавычках) пляшет на огромном холсте, разбрызгивая краску прямо из банки (Джексон Поллок); облачившись в средневековый костюм, при стечении публики набрасывает бессмысленные загогулины под звуки оркестра (Жорж Матье); катает по полотну вымазанных краской натурщиков, выставляет покрытый жидкими красками холст под дождь, укрепляет его на капоте мчащегося автомобиля (Ив Клейн) — такими историями еще недавно любили нас потешать газетчики, разоблачающие «искусство жирных». Сегодня картины этих художников выставлены в крупнейших музеях мира. Однако попробуем, не поддаваясь ни напору поклонения, ни напору глумления, понять, что может заставить живописца любой ценой уходить от изображения понятных предметов, уходить от власти собственного здравого смысла, — иногда и ценой жизни: один японский абстракционист оставил на холсте отпечаток своего тела, выбросившись с пятого этажа.

В истории абстрактного искусства — оно же беспредметное, оно же нефигуративное — многое восходит к так называемому русскому авангарду, но мы настолько привыкли к звуко сочетанию «абстракционизм» — «капитализм», что и Василия Кандинского воспринимали как западного художника (кстати, несколько его работ так и висят в Эрмитаже возле деревянной лестницы на третий этаж, в соседстве с Ван Гогом, Руо, Матиссом и Пикассо). Меж тем начинал он в манере реалистической. Взять хотя бы его «Пейзаж в Ахтырке», — несколько повышенная яркость, неприглаженный мазок — все это к началу века сделалось достаточно традиционным. Картины германского периода в духе югендстиля уже ближе к будущему Кандинскому, но все равно вполне предметны. «Русская краса в пейзаже»

(«Невеста») большими монохромными пятнами напоминает витраж, при этом она очень красива («сказочна»), хотя в ее аксессуарах (холодная северная красавица, церковь, березы) привередливый зритель может почуять некую пошлость стиля «рюсс».

И в «Пейзаже с башней» вполне различаются как башня (грубый мазок отлично передает кирпичную фактуру), так и пейзаж (уже не столь отчетливый). Нет попытки скрыть следы кисти, автор явно тяготеет к интенсивному цвету. Вероятно, такую же свою картину Кандинский однажды увидел у стены перевернутой и, не успевши понять, что на ней изображено, пришел в восторг: «Мне стало ясно в тот день, бесспорно ясно, что предметность вредна моим картинам» («Модернизм. Анализ и критика основных направлений». — М.: Искусство, 1969, с. 103). В ту пору Кандинский был одним из вождей немецкого экспрессионизма, тоже очень склонного усиливать цвет и изменять форму. Однако полный отказ от предмета — это был шаг революционный. Теперь Кандинский прозревал в цветах «щупальца души», «клавиши», благодаря которым могут зазвучать ее струны. «Художник, который является творцом, уже не усматривает цели в подражании (хотя и художественном) природным явлениям, хочет и должен найти выражение своему внутреннему миру. С завистью смотрит он, как подобная цель сегодня естественно и легко достигается наиболее нематериальным искусством — музыкой. Понятно, что он обращается к ней и пытается найти в своем искусстве те же средства. Отсюда в современной живописи проистекают поиски ритма, математической, абстрактной конструкции, нынешняя оценка повторений цветового тона, манера приводить цвет в движение и т. п.».

Спору нет — музыка может волновать, ничего не показывая и не сообщая. Но есть ли в человеческой душе подобные «струны» не для звуков, а для цветов? Как уже упоминалось, одному и тому же цвету в разных культурах соответствуют разные ассоциации, а один и тот же алый тон производит различное впечатление на щеке портретного персонажа и на его носу. Теоретически «язык цветов» может быть создан, но для этого всем художникам следовало бы использовать цвета не по собственному произволу, а в соответствии с какими-то общепринятыми правилами.

Но... В Средние века пурпурный цвет означал могущество, лазоревый — красоту, черный с красным — смерть. Гёте казалось, что красный цвет вызывает страх, а французский ученый Ферэ как будто бы обнаружил, что тот же красный цвет увеличивает человеческую силу и производительность труда. Так что беспредметные работы Кандинского чаще вызывают ассоциации просто-напросто с чем-то знакомым или угадываемым.

Правда, «Импровизация без названия» — название очень подходящее для того, чтобы не наводить зрителя ни на какие догадки. Однако правая часть картины лично мне напоминает океанский прибой, сфотографированный со спутника, а чуть правее середины брезжит чуть ли не атомный гриб. В своем трактате «О духовном в искусстве» Кандинский разъяснял, что черное для него — символ смерти, белое — рождения, голубое — благородства, красное — мужества, а желтое — коварства, горизонталь — пассивна, женственна, вертикаль — мужественна, возвышенна. Чего больше в этой или иной картине — пусть каждый судит сам в меру своей внушаемости или пышности собственного воображения.

Так, в «Импровизации № 26» можно углядеть и сходящиеся вдаль рельсы, и горы, и мохнатую птицу над горами, и следы каких-то взмахов; в картине, не имеющей названия (так называемый «Потоп»), — вспышки, вихри, зигзаги, диковинные цветы (при желании можно отыскать связь и с потопом), но так свободно отдаваться предметным ассоциациям — вряд ли это устроило бы Кандинского. Он старался создать «непостижимое пространство». Он считал, что все в мире — даже «глядящая на нас из лужи пуговица от штанов» — имеет «тайную душу», и переживания этой «тайной души» называл «внутренним взором», который проходит сквозь твердую оболочку, через внешнюю «форму» к внутреннему началу вещей и позволяет нам воспринять всеми нашими чувствами внутреннее «пульсирование этих вещей».

Заметьте: не подчеркнуть, усилить какие-то зримые качества вещи, как это делали и Сезанн, и Матисс, и Пикассо, а воспринять нечто невидимое, пульсирование некой «тайной души». Попробуйте почувствовать это пульсирование в «Композиции в желто-красно-синих тонах». Если анимизм (наделение душой всех живых и неживых предметов)

кажется вам первобытной нелепостью, то вряд ли вы испытаете те чувства, которые желал пробудить Кандинский, а снова начнете невольно угадывать тут цветные шахматы, там солнце, сям змею... Кандинский называл «импровизациями» картины, требующие активного участия фантазии, а слово «композиция» звучало для него «как молитва». Некоторые «Композиции» и впрямь более прозрачны и геометричны — но разве это свойство молитв?

А вот «Синие небеса» действительно синие. И праздничные. Как будто в майском небе парят диковинные воздушные змеи, иногда похожие на каких-то пестрых причудливых амёб и инфузорий, если долго их разглядывать.

Но — позволяя этим пятнам и завитушкам разбудоражить наше воображение, отдаемся мы этим скрытой музыке красок и линий или вносим в картину то, чего в ней нет? Люди с богатым воображением видят в пятнах Роршаха настолько больше, чем натуры обедненные, что наводят на мысль: а не афера ли все эти импровизации и композиции? Пылкие фантазеры, гипервнушаемые истерики восхваляют щиз из топора, а мошенник, запустивший эту оргию, только посмеивается?

Игорь Грабарь так вспоминает о появлении Кандинского, которому было уже за тридцать, в мюнхенской школе Антона Ашбе: «Совершенно ничего не умеет, но, впрочем, по-видимому, симпатичный малый». Вот этот «симпатичный», искренний тон и располагает к его самоучителю художника-абстракциониста «Точка и линия на плоскости» (СПб: Азбука-классика, 2005): «Первые цвета, впечатлившиеся во мне, были светло-сочно-зеленое, белое, красное кармина, черное и желтое охры. Впечатления эти начались с трех лет моей жизни. Эти цвета я видел на разных предметах, стоящих у меня перед глазами далеко не так ярко, как сами эти цвета». Цвета впечатляют сильнее, чем предметы — Кандинскому начинаешь верить, вчитываясь в его гимн закатной Москве — «fortissimo огромного оркестра»: «Розовые, лиловые, белые, синие, голубые, фисташковые, пламенно-красные дома, церкви — всякая из них отдельная песнь, — бешено зеленая трава, низко гудящие деревья или на тысячу ладов поющих снег, или *allegretto* голых веток и сучьев, красное, жесткое, непоколебимое кольцо кремлевской стены, а над нею, все превышая собою, подобная тор-

жественному крику забывшего весь мир “аллилуйя”, белая, длинная, стройно-серьезная черта Ивана Великого».

«Впоследствии я поставил себе целью моей жизни написать “Композицию”. В неясных мечтах неуловимыми обрывками рисовалось передо мною подчас что-то неопределенное, временами пугавшее меня своей смелостью... С самого начала уже одно слово “композиция” звучало для меня как молитва. Оно наполняло душу благоговением. И до сих пор я испытываю боль, когда вижу, как легкомысленно зачастую с ним обращаются. При писании этюдов я давал себе полную волю, подчиняясь даже “капризам” внутреннего голоса. Шпахтелем я наносил на холст штрихи и шлепки, мало думая о домах и деревьях и поднимая звучность отдельных красок, насколько сил хватало».

Подобные и даже еще более страстные гимны краскам из Кандинского можно выписывать десятками, и в результате приходишь почти обезоруженным к его систематическому до занудства изложению, какое впечатление производят линия и точка, если их изобразить там, сям, так, этак... А вдруг в этом и правда что-то есть? Может быть, я просто лишен какого-то органа восприятия — ведь не все же могут ценить и музыку Баха?

Сомнительно, правда, чтобы такой способ воздействия, тысячи лет неотступно сопровождающий человека, не был открыт миром века назад — ведь музыка есть у всех народов, пусть очень разная, но музыка же! А просто линиями, просто красками как будто никто никогда себя не тешил? Или орнаменты, расцветки тканей уже были музыкой живописи?

Направлений в абстрактной живописи, требующих изгнания причудливых линий и ярких красок, Кандинский, кстати, не одобрял, считая, что стремление исключительно к горизонталям и вертикалям — это поиски «внутреннего молчания», но из такого стремления логически следовала бы «исключительная склонность к черно-белому», за которой должно последовать «полное погружение во внутреннее молчание».

Кандинский словно предсказал появление Малевича. Который, правда, в молчание так никогда и не погрузился.

Искусство вас не спрашивает

Путь Казимира Малевича — на первых шагах довольно обычный путь одаренного «самородка»: захоlustье, где ни единая душа не интересуется даже самой обыкновенной живописью (не говоря уже о новейших течениях и поисках), впечатлительный мальчонка, которого «в первую голову всегда поражает окраска и цвет», поражают отблески солнца в лужах, свинцово-синие отливы огромных туч и «иконы живописные», «изображения людей в цвете», в которых «даже в голову не приходило увидеть... обыкновенные лица людей», посчитать, что «цвет есть то средство, чем изображают последние. Таким образом, иконы не вызывали никаких ассоциаций и не связывались с окружающей жизнью». Поразительно: ведь живопись, которая была бы чем-то большим, нежели просто «изображение в цвете» людей и предметов, — именно этой мечтой впоследствии и был одержим Малевич. Потрясение от первой «поразительно живой» картинки в витрине магазина (девушка чистит картошку), первое наслаждение от кисти (удается покрасить крышу тайком от маляра), первые настоящие краски количеством пятьдесят четыре («любовался этими красками»). Первые опыты в сугубо реалистическом роде («вся речь сводилась к тому, похоже ли это»), недостижимые образцы — Репин и Шишкин, мечта о Москве, «адское время службы» ради заработка: «Как кончится служба, прямо бегу, несет меня к этюднику, к краскам. А огромной силы, невероятной, может достигать это живописное чувство. Прямо взорвать человека может». «И так тянулось не месяц, а годы...»

«Девушка без службы» принадлежит уже «импрессионистическому» Малевичу, хотя в «литературном», поясняющем названии, пожалуй, есть что-то и от передвижничества. Отрешенное лицо на фоне многоцветья может напомнить опять-таки девушку из бара «Фоли-Бержер» Эдуарда Мане, хотя в импрессионизме Малевича специалисты усматривают «известную статичность, своеобразную “неуклюжесть”, которая в дальнейшем будет нужна для выражения самых значительных его идей». Сам же Малевич, «работая импрессионизм», пришел к выводу, что главное не сходство «тютелька в тютельку», а некое «живописное качество», которому все «привносное» — так называемое «содержание», тема — только вредит, смешивает «живопись с неживописью».

Освобождение от «власти предмета», от ассоциаций с природой, от иллюстрации и рассказа сделалось уже сознательной мечтой, например, в его «заумном реализме», где предметы еще вполне узнаваемы, но размещены на холсте без всякого рационального смысла: «Отвергли мы разум в силу того, что в нас зародился другой... у которого уже есть закон и конструкция» .

(Бунт против здравого смысла так характерен для двадцатого века — века науки: уж больно мизерное место она отводит нашей душе.)

Вместе с тем искали выхода и детские впечатления: «коники, цветочки, петушки примитивных росписей и резьбы по дереву». Малевич учуял какую-то связь крестьянского искусства с «иконным» — он «понял крестьян через икону» . Это чувство опиралось на новейшие живописные находки: Малевич участвовал и в первой выставке «Бубново-го валета» (всем известные ныне Кончаловский, Лентулов, Машков, Куприн), тяготеющего к «сезаннизму», фовизму, и в выставке отделившегося от него «Ослиного хвоста», обратившегося к примитивизму, к иконе и лубку (Ларионов, Гончарова, Шагал). Однако «крестьянский» Малевич имеет очень мало общего с народным искусством — слишком много статики и геометрии. Русская деревня предстает окаменевшей, грубой, но могучей. Однако, кажется, довольно добродушной. «Лесоруб» Малевича почти так же геометричен, как бревна-цилиндры, окрашенные независимо от освещения: красный «бок» может оказаться и сверху, и внизу. Дальнейшая же геометризация привела уже к супрематизму (от латинского, если кто забыл, «supremus» — наивысший).

Его супрематический «Черный квадрат» в 1915 году был повешен, подобно иконе, в красном углу на футуристической выставке «0,10» («Ноль-десять», а не «ноль целых, десять сотых»: здесь выражено желание «свести все к нулю», самим же после перейти «за нуль» — так разъяснял это эпатажное название сам Малевич). Намалевать такой квадрат мог бы кто угодно и помимо Малевича, но в живописи этого рода любители ценят идею, а не мастерство. «Черный квадрат», по замыслу Малевича, это самостоятельная форма, которая ничего не изображает, ни с чем реальным не

ассоциируется. «Супрематическому квадрату» его создатель придавал значение высшей «экономии» в искусстве.

Чудесный художник и тонкий критик Александр Бенуа, зачарованный как раз прекрасной внешностью вещей, от этого окна во тьму пришел в крайнее негодование: «“Черный квадрат” — проявление того начала, которое через “гордыню” и “попрание всего любовного и нежного” приведет всех к гибели». По силам ли даже самой скандальной живописи привести всех к гибели, большой вопрос — если люди любят жизнь, они лишь посмеются над всеми теориями и экспериментами, которые попытаются отнять у них предмет их любви; но в том, что «Черный квадрат» был не случайной выходкой, а тенденцией — в этом сомневаться невозможно. Примерно в эти же годы другой классик абстракционизма Пит Мондриан искал такие формы и цвета, которые не напоминали бы ни о чем чувственном, «земном» и не затеняли бы некую «чистую реальность». Мондриан изгонял замкнутые контуры, всегда о чем-то напоминающие, и в конце концов оставил только вертикальные и горизонтальные прямые.

Малевич не ставил себе таких жестких рамок. Вглядимся хотя бы в две его картины с одинаковым названием «Супрематизм». Если первая не совсем свободна от заветов Мондриана, то во второй есть и замкнутый контур, и наклонная линия. И все-таки «отрицание эмоции, строгий математический расчет, обнаженная логика связей и разумная организация “первоэлементов”, освобожденных от груза реальности, — в этих основах супрематических композиций чувствуется дыхание нашего рационального века» — вовсе не случайно, что дыхание рациональности пожелал выразить не ученый, не интеллектуал, для которого рациональность — незамечаемая родная стихия, но самоучка — так глубоко в массу проникло это дыхание. Сам Малевич выставил свои беспредметные картины под общим названием «новый живописный реализм». Реализм — на этом слове он настаивал тоже далеко не случайно!

Иногда в картинах Малевича стараются увидеть (и при желании даже видят) нечто вроде красивого орнамента, однако сочетание, скажем, «белое на белом» почти исключает такую возможность. «Черный квадрат» можно принять

и за очередную ступень кубизма, но и это сходство ложное: супрематизм не просто новый шаг в обобщении формы, а отказ от самой формы. «Строгий математический расчет» в буквальном виде едва ли был присущ Малевичу, но попытки математического анализа своих картин он встречал с величайшим интересом. Велимир Хлебников, некоторое время обучавшийся на физико-математическом факультете, обнаружил у Малевича в соотношениях черных кругов и теней число 365 — это же число, возведенное в десятую степень, есть отношение поверхности Земли к поверхности красного кровяного шарика человека. Подобные пифагорейские поиски некой гармонической системы чисел, лежащей в основе мироздания, представлялись Малевичу делом вполне стоящим: а вдруг «через меня проходит та сила, та общая гармония творческих законов, которая руководит всем, и все, что было до сих пор, не дело». «В искусстве есть обязанность выполнения его необходимых форм, — писал он Александру Бенуа. — Нравится или не нравится — искусство об этом вас не спрашивает, как не спросило, когда создавало звезды на небе».

Эта готовность и даже стремление ощутить себя орудием каких-то высших сил, о чьих намерениях само орудие может только гадать, — так ли сильно они отличаются от веры в боговдохновенность художественного творчества? Или прежде верили, что высшая гармония творится для человека, дарит ему радость, а новые теории так и оставляют человека чужаком на пиршестве господ?..

Уже и в советские годы в своем ГИНХУКе (Государственном институте художественной культуры) Малевич пытался отыскать объективный и неотвратимый закон развития искусства, пока в «Ленинградской правде» в 1926 году не появилась статья «Монастырь на Госснабжении», принадлежащая критике с многозначительной фамилией Серый. После этого «монастырь» с его «юродивыми обитателями» был разогнан. Однако за границей в определенных художественных кругах идеи Малевича имели огромный успех.

Приблизительно в это же время Малевич возвратился к фигуративной живописи. В его новом «крестьянском цикле», пожалуй, уже больше супрематического, чем лубочного или иконописного. (Сам Малевич назвал своих крестьян

«полуобразами».) Прическа, борода очерчены геометрическими линиями, руки напоминают гаечные ключи. «Супрематисты сделали в искусстве то, что сделано в медицине химиком, — пояснял Виктор Шкловский. — Они выделили действующую часть средств». Как будто и впрямь геометрические формы способны дарить радость!

Впрочем, новое искусство и не стремилось ублажать человеческую плоть. Зато — совсем неожиданно, может быть — Малевичем была воспета «Красная конница». Трудно сказать, действительно ли Малевич усматривал поэзию в таком свирепом безумии, как гражданская война, или его волновала некая сказочная конница «вообще» — посланница алого света, под огромным небом скачущая на борьбу с силами тьмы. Но когда-нибудь и это, вероятно, сделается не важным. «Все функции жизни, за исключением искусства, непостоянны, — учил Малевич. — Все созданное искусством остается навеки и его не могут изменить ни время, ни новые формы социальных отношений».

В «Автопортрете» 1933 года тоже много супрематического, но он напоминает и о портретах Возрождения. Художнику осталось жить меньше двух лет. За год до этого его работы были показаны на выставке «Искусство эпохи империализма», еще двумя годами раньше он подвергся аресту (друзья на всякий случай сожгли множество его рукописей). Как ни оценивать его искания, он платил за них с достоинством. Именно вера в свою миссию давала ему силы: «Не жизнь будет содержанием искусства, а искусство должно стать содержанием жизни, так как только при этом условии жизнь может быть прекрасна».

Мы получили этот портрет лишь потому, что Малевич согласился примешать к живописи «неживопись». После смерти, в геометризованном «супрематическом» гробу, исхудавший, с отросшей за время болезни бородой, Малевич выглядел пророком. На его могиле (в чистом поле, недалеко от его подмосковной дачи) был установлен белый куб с черным квадратом на нем. «Малевич один из тех немногих художников, чье творчество изменяет искусство целой эпохи», — пишут о Малевиче сегодня. «Мировоззрение Малевича представляет интерес только для психиатра и социолога», — писали о нем совсем недавно. Не стоит с маху

обрушиваться ни на ту, ни на другую точку зрения (покуда они не стараются подкрепить себя принудительными мерами). Размышляя о судьбе Малевича, можно испытать гордость за неумность человеческого духа, вечно ищущего позади очевидности чего-то более высокого. Но можно испытать и горечь за нелепую человеческую душу, вечно ищущую чего-то несуществующего, пренебрегая тем миром, который и без того через край полнится и прекрасным, и ужасным. В эпохи, когда терпит крах очередная греза, очередной «прорыв к небу», такое чувство тоже очень и очень естественно.

Знающий глаз

Путь Павла Филонова — еще более просящийся в легенду путь «самородка». Сын извозчика и прачки, к живописи он прикоснулся через живописно-малярные мастерские, одновременно занимаясь по вечерам в Обществе поощрения художеств. В Академию художеств поступил вольнослушателем не с первого раза (отсутствие школы), был отчислен за своеволие («своими работами развращал учеников»), после восстановления вскоре ушел сам.

Горд и щепетилен был безмерно: уже в советское время, голодая самым немилосердным образом — до обмороков, он отказался от государственной пенсии, обставленной недостаточно почтительно к его художественным заслугам. Он не желал лишней раз принять кусок хлеба даже от собственной жены. Картин не продавал — хранил их для будущего музея «аналитического искусства». С многочисленных учеников ни под каким видом не брал ни копейки. Чтобы не потерять форму и не поддаться соблазнам, всю жизнь спал без матраца (чаще в нетопленной комнате) и отказывался хорошо поесть, даже когда представлялась возможность.

Новое искусство, взывающее к интеллекту, создавалось отнюдь не пресыщенными интеллектуалами. Идея неисчерпаемости мира, возбужденная эпохальными научными открытиями, владела многими умами: «Быть может, эти электроны — миры, где пять материков» (Брюсов), но именно самоучка Филонов воспытал фанатической страстью

вести в оборот мирового искусства «биологические, физиологические, химические и т. д. явления и процессы органического и неорганического мира... не удовлетворяясь popisыванием “фасада”, “обличья” объектов без боков и без спины... Интересен не только циферблат, а механизм и ход часов... Знающий глаз исследователя-изобретателя — мастера аналитического искусства... смотрит своим анализом и мозгом и им видит там, где вообще не берет глаз художника». Филонов поставил себе невероятную задачу: показать не только ствол и листья яблони, но и движение ее соков, их превращение в «атомистическую структуру ствола и ветвей», он стремился писать каждую вещь «с выявленной связью с творящейся в ней эволюцией».

Правда, в «Портрете Евдокии Николаевны Глебовой» он изобразил свою сестру «тютелька в тютельку» в обмен на то, что Дуня, педагог вокала, согласилась помочь ему переделать его великолепный бас в тенор. Попытка закончилась неудачей, но благодаря отступлению от «аналитической» манеры Филонов сохранил для вечности спасительницу своего наследия: страшной блокадной зимой, уже похоронив брата, в полубреду она чудом дотащила несколько сот филоновских картин и рисунков до Русского музея. Портрет, за неимением лучшего, написан на дворницком фартуке, из которого приходилось извлекать мелкие занозы.

Другое название «Крестьянской семье» — «Святое семейство» — дано не зря: святость сопрягается отнюдь не с бесплотностью, и животные входят в семейство на равных. Стихотворение «Лицо коня» не случайно написано большим почитателем Филонова — Заболоцким. Цветы, листья — роскошны (картины Филонова воистину не терпят пустоты), но «знающий глаз» угадывает в них что-то от минералов. В «Коровницах», тоже тронутых неопрIMITивизмом, «рогатые лица» (Н. Заболоцкий) коров чисто филоновские. И граненые плоды. И нагромождение унылых городских домов, напоминающее некую кристаллическую структуру, на которой стынет тоже очень невеселый уголок «естественного» мира...

Ну а «Цветы мирового расцвета» пребывают на грани живого и неживого. Из крупных кристаллов снизу вверх вырастают кристаллы все более и более дробящиеся, скла-

дывающиеся в сказочные цветы, которые все же так и не обретают мягкой плоти живых цветов, оставаясь больше похожими на кристаллические друзы. А выше — все снова крупнеет и каменеет. Филонов сначала прописывал до полной «деланности» один угол, чтобы вся картина выростала из него, как дерево, как кристаллическая структура в насыщенном растворе.

«Портрет Армана Францевича Азибера с сыном» — снова портрет родственника (мужа другой филоновской сестры) и снова написан «тютелька в тютельку». Эта манера могла бы сделать Филонова таким же любимцем партии и правительства, как какой-нибудь И. И. Бродский, который, к чести придворного живописца, горячо настаивал на открытии выставки Филонова в Русском музее в 1930 году, называя мастера-живописца «величайшим в Европе и Америке». В каталоге так и не открывшейся выставки (а от самых престижных зарубежных выставок Филонов отказывался) он учил «упорно и точно» рисовать каждый атом «делаемой вещи», вводить цвет тоже в каждый атом, чтобы он «органически был связан с формой, как в природе клетчатка цветка с цветом» (Глебова Е. «Воспоминания о брате». «Нева». — 1986. — № 10, с. 159).

В «Городе» рисунок выполнен пером, но атомистическая неисчерпаемость чувствуется и здесь. Кособокие трамвайчики, неуклюжие кораблики на мели или даже на суше, невероятно скучные, некрасивые фигуры людей из такого же скучного порошка, от которого, если долго всматриваться, начинает першить в груди.

Мир «Нарвских ворот» составлен как каменная кладка. Вместо гордой четверки красавцев коней — страшные, тупые звери с обрубками вместо ног, полуразбредшиеся кто куда... «Пусть картина говорит за себя и действует на интеллект зрителя, заставляя его, напрягаясь, понять написанное без всякого суфлера, шептуна со стороны», — твердил Филонов.

Мы и видим без всякого шептуна, что филоновская «Голова» вырастает из крупных кристаллов. Открытые ноздри придают ей сходство с черепом, рот напоминает прорезь. Но напряженная складка между бровей, глаза, похожие на

пещеры с самоцветами... Однако недостаток места позволяет мне наконец оставить неблагодарную роль «шептуна со стороны». Главное, что Филонов сам нам подсказал, — для него «вся вещь целиком есть фикция интеллекта того, кто ее сделал» .

Изобразить незримое — именно это пытались сделать все, кто желал всерьез работать в беспредметной живописи. Поэтому их картины нельзя обсуждать как расцветку ткани — красива она, некрасива... — они претендуют на нечто гораздо большее. Но если зритель не верит, что незримое поддается изображению, если теории художника представляются ему прямо чепухой, тогда что же — и от его искусства ничего не остается? К счастью, нет. Теории умирают, а искусство обретает самостоятельную жизнь, часто почти независимую от воли создателя. Древнеегипетские рисунки-схемы мы наверняка видим не так, как их современники. И для молодого человека, знакомого с современным дизайном, супрематизм Малевича уже не выглядит таким еретическим, как для Александра Бенуа.

Каким же будут видеть беспредметное искусство через столет, предсказать невозможно, однако уже сейчас многие воспринимают его как естественное развитие чисто живописных исканий. «Я спрашивал себя, не нужно ли скорее изображать вещи такими, какими их знают, чем такими, какими их видят» — эти слова Пикассо вполне переключаются со словами Филонова о том, что глаз должен быть «знающим», хотя кубистическое «познавание» представлялось ему слишком поверхностным и схематичным. «Детализация нарушает чистоту линий и ослабляет силу чувств», «Цвет действует тем сильнее, чем он проще» — в этих декларациях Матисса тоже можно усмотреть сходство с признаниями Малевича и Кандинского. И все-таки различие здесь принципиальное. Абстракционисты, повторяюсь, пытались не усилить впечатление от реального мира, а изобразить нечто ирреальное. Поэтому все попытки изобразить то, что изображению не поддается, — даже все подобные действия Поллока и Клейна, — вероятно, не следует объявлять заведомым шарлатанством. Если верить, что живопись в принципе способна стать знаком чего-то незримого, то есть логика и в том, что Ив Клейн продавал пустоту, выдавая коллекционерам расписку в получении денег.

И уж во всяком случае основоположники беспредметного искусства были людьми серьезными, подвижнически серьезными. Серьезными до такого трагического накала, что даже в скандальных выходках их последователей самый закоренелый позитивист иногда начинает тоже угадывать не то созидание еще не бывалого языка, не то рождение нового органа ощущений, способного улавливать нечто прежде сокрытое от нас. И ему вспоминаются строки Гумилева о том, мящем нас «шестом чувстве»:

Как мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем
И, ничего не зная о любви,
Все ж мучится таинственным желаньем.

Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья, —

Так век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

Я не верю, что этот орган когда-нибудь родится. Но мечта грандиозная! Зачаровавшая сначала Запад и только затем вернувшаяся на родину уже скорее исторической легендой.

Более чем прозрачно намекая, что поразить Запад нам легче всего не поставками углеводов и не средствами доставки водородных бомб, но размахом поисков российских пророков и странников. Трудно считать арьергардом цивилизации страну, которая в главном — в мире духа — шагает в авангарде.

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПЛЕВКИ

Эрнест Хемингуэй был знаменит и у себя на родине в Америке, знаменит и в Европе, но лишь в Советском Союзе он стал учителем и пророком — его прославленный фотопортрет украшал каждый свобододлюбивый дом. Чем же этот мудро прищурившийся серебряный бородач обольстил шестидесятников, которые, казалось, были полной его противоположностью?

Они мечтали покорить космос и оседлать термояд — он любил лишь охотиться и читать книги. Они грезили социализмом с человеческим лицом — он презирал политику и всяческие теории. Они были деятельным и оптимистическим поколением — он был певцом поколения «потерянного». Собственно, с хемингуэевского романа «И восходит солнце», он же «Фиеста», и покатился по миру образ поколения, разочаровавшегося во всех высоких словах после Первой мировой войны, которую Хем, как его ласково именовали друзья и поклонники, назвал плохо организованной бойней.

Янки в гарольдовом плаще

Нигде, однако, не упомянув, что сам рвался на фронт, ощущая войну чем-то вроде спортивного состязания. Оказавшись же в нестроевой части из-за поврежденного в боксе глаза, напросился на передовую раздавать подарки и вызвал перестрелку, выстрелив в сторону австрийцев. А потом выволоч из-под огня, уже неживым, раненного при его посредничестве снайпера, будучи и сам тяжело раненным в ноги. Изобразив в письме на родину свои раны с изрядной бравадой: рубашка и штаны выглядели так, будто в них варили кисель из красной смородины, а потом наделали дырок, чтобы кисель вытек.

В романе же «Прощай, оружие!» герой получает подобное ранение, запивая сыр вином. А ни об энтузиазме, ни о подвигах ни слова — только сдержанность: Хемингуэй понял, что в наш век гораздо больше спроса на разочарование.

Работая над первым романом разочарования «Фиестой», Хемингуэй ведет жизнь полуголодного труженика и нежного отца, сам кипятит соски и бутылочки, проживая в Париже над лесопилкой в квартирке без горячей воды и канализации. В эту пору они с любимой и верной женой Хэдли по прозвищу Шустрый Котик очень бедны и очень счастливы, в том числе в постели. Однако ни бедность, ни любимый ребенок, ни подвижнический труд, ни мечты о бессмертии, ни, наконец, упоительный секс, о чем тоже можно написать блестящую книгу, в «Фиесту» опять-таки не попадают — более обольстительной оказывается несчастная любовь и роскошное безделье.

Главные герои «Фиесты» Джейк Барнс и Брет Эшли тоже страстно любят друг друга, но — война отняла у Джейка его мужское достоинство, а его возлюбленную — ах, война, что ты, подлая, сделала! — наделила неодолимой жаждой как по внезапной страсти, так и по доброте душевной отдаваться все новым и новым партнерам, — ничего даже близкого ни советская литература, ни советская жизнь предоставить не могли, это был соблазн так соблазн! У нас-то и очаровательных распутниц не было, одни только бляди... Мужское бессилие нам тоже представлялось верхом позора, а у Хемингуэя и оно подавалось как красивая драма.

Леди Дафф Твисден (прототип Брет, умерла в сорок три от туберкулеза, и все, кто несли ее гроб, были ее любовниками) впоследствии даже опровергала слухи об импотенции Хемингуэя: его импотенция — это жена и ребенок. Но героя он ею наделил очень убедительно. «Это забавно, — сказал я. — Это очень забавно». Благородная мужественная сдержанность: «Мне было очень тяжело»; «Я заплакал»; «И ничего, ничего нельзя сделать, — сказал я». Это сегодня в любой газетенке можно найти тридцать три рецепта альтернативного секса, начиная от петтинга и куннилингуса и кончая (нет, лучше заканчивая) протезами всех калибров и цветов кожи! А хемингуэевские герои

даже не задумывались о такой профанации высокой трагедии. Искушая и советских девушек догадкой, что в любви важен и секс, а не только дружба и совместная работа на благо Родины.

Сам упорнейший труженик, Хемингуэй искушал нас и элегантной праздностью: «потерянное поколение» в «Фиесте» как будто вовсе не работает — эти обаятельные лоботрясы целыми днями валяют дурака, флиртуют, выпивают... Притом и напитки какие-то неслыханные: «Перно — зеленоватый суррогат абсента. Если налить в него воды, оно делается беловатым, как молоко». Джейк, правда, что-то там пописывает у себя в редакции, но путь к ней описан несравненно подробнее самой работы: «Утром я спустился по бульвару Сен-Мишель до улицы Суфло... Конские каштаны Люксембургского сада были в цвету... Доехал до церкви Мадлен... Прошел по бульвару Капуцинов...» Одна только музыка этих имен приводила на ум слова очаровательной распутницы Брет: «Да я вся точно кисель, как только ты тронешь меня».

Советская власть во избежание соблазнов не выпускала народ за границу — и тем превратила ее в волшебную сказку. А разочарованная хемингуэевская братия захотела — и, соблазняя нас еще и свободой странствий, — мотанула из Франции в Испанию на корриду. Соблазняющую уже соседством любви с кровью и опасностью. От которых наши девушки начали бы пищать и отворачиваться, а вот роковая красавица Брет с упоением берет уроки у своего возлюбленного.

«Я учил ее следить за быком, а не за лошадьё, когда бык кидается на пикадоров, учил следить за тем, как пикадор вонзает острие копья, чтобы она поняла, в чем тут суть. Чтобы она видела в бое быков последовательное действие, ведущее к предначертанной развязке, а не только нагромождение бессмысленных ужасов... Ромеро заставлял по-настоящему волноваться, потому что... работая очень близко к быку, он ждал спокойно и невозмутимо, пока рога минуют его».

Готовность к смертельному риску во имя абсолютно бесцельной красоты — это и есть искусительный стиль раннего Хемингуэя.

«Служители и личные слуги матадоров шли по проходу, неся на плечах ивовые корзины. В корзинах были плотно уложены туго свернутые, запачканные кровью плащи и мулеты. Слуги матадоров открыли тяжелые кожаные футляры, прислонив их к барьеру так, что видны были обернутые красным рукоятки шпаг...

— Они, должно быть, жесткие от крови, — сказал Билл.

— Странно, — сказала Брет. — Совсем не обращаешь внимания на кровь».

Вот оно: учитесь наслаждаться, не обращая внимания на кровь! И даже на разрушенную любовь.

«Мы пообедали в ресторане “Ботэн”, на втором этаже. Это один из лучших ресторанов в мире. Мы ели жареного поросенка и пили “Риоха альта”.

— Не напивайся, Джейк, — сказала она. — Не из-за чего.

— Я вовсе не напиваюсь, — сказал я. — Я просто попиваю вино. Я люблю выпить вина».

Когда в середине двадцатых Дос Пассос и Скотт Фицджеральд определили будущее Хемингуэя как Байрона XX века, это было очень даже неглупо. Благородный одиночка! Эстет-боксер! И отчасти даже матадор! (Хорошо, не додумались сравнить его с Фенимором Купером.)

У самого раннего Хемингуэя в его первом сборнике «В наше время» хватает жутких воспоминаний, вынесенных из Первой мировой и греко-турецкой войн: «Невозможно было уговорить женщин отдать своих мертвых детей. Иногда они держали их на руках по шесть дней»; «Когда артиллерийский огонь разносил окопы у Фоссальты, он лежал плашмя и, обливаясь потом, молился: “Иисусе, выведи меня отсюда, прошу тебя, Иисусе”».

И любовные истории в том же сборнике Хемингуэй умел заканчивать так, как оно примерно и было в реальности: Джульетта собирается замуж за обманувшего ее впоследствии майора, а Ромео заражается гонореей от какой-то продавщицы. Но ни ужас, ни цинизм отнюдь не являются хемингуэевской монополией, с ними бы он никогда не обрел такой громкой славы: трагедия среди красивого праздника — вот главная прелесть (от слова прельщать) Хемингуэя-искусителя.

Даже в романе конца 20-х «Прощай, оружие!», где с редкой силой изображены бессмыслица и демагогия войны, постельный режим в госпитале сопровождается упоительными постельными сценами и аппетитным пьянством, а вонь, стоны, даже боль, от которых настрадался сам автор, отступают на второй план — герой лишь изредка чертыхается. А когда он дезертирует, то со своей прелестной Кэтрин оказывается не где-нибудь, а в прекрасной Швейцарии.

Кстати, именно в пору этого сексуально беспроблемного романа после свадьбы с Полин Пфайффер у Хемингуэя «перестало получаться» — он перепробовал все средства вплоть до ежедневного стакана крови из свежей телячьей печени, покуда однажды невроз не был снят молитвой безбожника в католической церквушке. Однако слова «Прощай, оружие!» в этом романе никак не относились к оружию любви — в нем соблазняли соседствующие любовь и кровь. Зато разочарованность в войне советской молодежи была чужда: недавняя Отечественная не породила потерянного поколения, она, напротив, осталась предметом гордости не только для самих победителей, но даже для их детей. Тем не менее в период полураспада религий и социальных стереотипов, вероятно, каждое поколение ощущает себя потерянным, а потому будет возносить на самый высокий пьедестал того, кто позволит ему ощутить в этой потерянности красоту и даже некое величие. Ремарк тоже был кумиром шестидесятых: та же вера лишь в самые простые вещи — друг, любимая, кружка рома или стакан кальвадоса (чего бы мы не отдали, чтобы попробовать, что это за кальвадос за такой!). И никакой идеологии, никакой философии, то же отвращение к высоким словам, — но если другу нужна помощь, пошучивающий раздолбай немедленно превращается в героя: война отвратительна и бессмысленна, но фронтовая дружба священна (обаятельного раздолбая от обременительной патетической компоненты освободил только Довлатов).

Верность до гроба любимой женщине тоже была неизменным ингредиентом этого коктейля, куда более упоительно-го, чем неведомый нам двойной дайкири. Верность эту было соблюсти тем проще, что гроб маячил в самой ближайшей перспективе: Пат из «Трех товарищей» умирала от клас-

сической чахотки, а Кэт из «Прощай, оружие!» от родов. Роды — это был для романтика шаг очень смелый, ибо приближал к будничной жизни — семья, дети... Но через этот роковой порог никто из любимых героев Хемингуэя так и не переступил, учиться семейной жизни его поклонникам приходилось в других местах.

Хемингуэй-искуситель вообще учил не столько жить и побеждать, сколько красиво проигрывать. «Победитель не получает ничего» — так назывался один из его сборников. Эстетизация поражения — это, пожалуй, был еще один из главных соблазнов Хемингуэя-обольстителя. Находка для одаренных воображением лузеров. В юности, разумеется, никто себя лузером не считает, но запасной аэродром для красивого отступления на всякий случай готовят многие...

Поэтому отчаяние среди празднества, по-видимому, будет всегда пользоваться спросом у юных. Хемингуэй искушал безнадежностью среди роскошных декораций. Среди «зеленых холмов Африки» он соблазняет нас аппетитнейшим реквизитом: манлихеры, спрингфилды, куду, львы, носороги, зеленые тенты в тени развесистого дерева, где можно, наслаждаясь прохладным ветром, уплетать свежее масло, отбивные из газельего мяса с картофельным пюре, зеленую кукурузу и консервированные фрукты, — как всегда, не забывая и о напитках: тяжелое и густое немецкое пиво из оплетенной соломой бутылки с горлышком, обернутым серебряной фольгой, с черно-желтой этикеткой, на которой красуется всадник в доспехах. А на десерт «Казачки» Толстого — «очень хорошая повесть».

Среди этого пиршества духа и брюха соблазнитель произносит кощунственные для романтика слова: «Жизнью своей я очень доволен». Но писать ему необходимо для того, чтобы жизнь не утратила свою прелесть. При этом он абсолютно уверен, что писательская работа может служить самоцелью. Ибо истинные произведения искусства бессмертны. К этому кредо Хемингуэй присоединил пару увесистых оплеух современной литературе: люди не хотят больше заниматься искусством, потому что тогда они будут не в моде и вши, ползающие по литературе, не удостоят их своей похвалой; популярными писатели нынче становятся благодаря не лучшим, а худшим качествам их произведений.

Такой вот жрец чистого искусства. Ведущий вкусную и опасную жизнь в неизменно дивных декорациях — воды Гольфстрима, леса Вайоминга, роскошная вилла в соседстве с нищим рыбацким поселком. Но ни вилла с ее садом, теннисным кортом, бассейном и огромной гостиной с охотничьими трофеями и полотнами Хуана Гриса, Миро, Брака и Клее, ни соседствующие с нею труд и бедность не привлекают нового Байрона — он порождает на свет волка-одиночку Гарри Моргана, рискующего жизнью уже не эстетики ради, но лишь для того, чтобы его жена и дети не разделяли окружающую нищету («Иметь и не иметь»). Снова потрясающая смесь романтики и гиперреализма: «Он крючком зацепил его голову и повернул ее к себе, потом приставил дуло автомата и спустил курок. Звук от выстрела был такой, какой бывает, когда палкой ударишь по зрелой тыкве», — так Гарри зарабатывает на жизнь: кубинские революционеры втягивают его в ограбление банка, а он в море мочит их всех. А они его.

Снова красивое поражение. И все-таки уже в гранках Хемингуэй влагает в растрескавшиеся губы супермано-одиночки новые заветные слова, привезенные из осажденного Мадрида: «Все равно человек один не может ни черта». Потребовалась вся его жизнь, чтобы он понял это. А его творцу понадобилось наступление фашизма, чтобы он сумел преодолеть свое отвращение к политике и отправился в охваченную гражданской войной Испанию.

Странствующий рыцарь

Всемирно знаменитый писатель работает как рядовой сценарист и репортер, но его герои, как всегда, отнюдь не рядовые бойцы, они бойцы-одиночки, бойцы невидимого фронта. Филипп из «Пятой колонны» борется с пособниками фашистов в стане республиканцев — большой, шумный, в резиновых сапогах, склонный куражиться и буйствовать, оставаясь при этом довольно-таки картонным.

Зато Роберт Джордан из романа «По ком звонит колокол» — истинный рыцарь без страха и упрека. Хотя его создатель откровенно признавался, что ему нравятся коммунисты-

солдаты, но он ненавидит коммунистов-проповедников, комиссаров, которые раздают папские буллы (диалектический материализм, прибавочная стоимость, норма прибыли, диктатура пролетариата), — тем не менее их штабы Хемингуэй изображает чем-то вроде храма. «В тех штабах ты чувствовал себя участником крестового похода», и это ощущение братской близости со всеми защитниками угнетенных уподобляется и музыке Баха, и витражам Шартрского и Лионского собора, и полотнам Мантеньи, Греко и Брейгеля в Прадо...

Но этот паладин, как и все хемингуэевские герои, умеет и с аппетитом поеть: «Мясо было заячье, поджаренное с луком и зеленым перцем, и к нему — соус из красного вина, в котором плавал мелкий горошек. Хорошо прожаренная зайчатина легко отделялась от костей, а соус был просто великолепный. За едой Роберт Джордан выпил еще кружку вина». Выпивка не мешает братской близости. И небратской тоже: «Она прижалась к нему еще теснее, и его губы стали искать ее губы, и нашли, и прикикли к ним, и он почувствовал ее, свежую, и гладкую, и молодую, и совсем новую, и чудесную своей обжигающей прохладой».

Мир — хорошее место, и за него стоит драться. Пусть даже это наступление окончится неудачей, что ж, другое будет удачным.

Это писал уже «наш Хемингуэй» — не глашатай потерянного поколения и не эстетствующий барин, обожающий щекотать нервы экстримом, а странствующий рыцарь. Опять-таки склонный вести собственную войну на свой страх и риск.

На своем суденышке «Пилар» с отчаянной командой он рыщет в прибрежных водах Карибского моря в поисках немецких подводных лодок в надежде, что те примут их за рыбацкое судно и всплывут, чтобы конфисковать рыбу, — а встретят автоматный огонь и бомбу, заброшенную через люк. Шифровальные книги, команда, захваченная в плен — это было бы находкой для военной разведки, но — к счастью для литературы — этим пиратам двадцатого века удалось лишь радиоперехваты. Правда, одну лодку, которую они засекли, на следующий день забросали с самолета

глубинными бомбами и даже уверяли, что попали, но все же единственным наглядным результатом многомесячных рейдов были пигментные пятна на лице капитана, которые он считал даже раковыми. Они-то и вызвали к жизни знаменитую хемингуэевскую бороду, с которой он летал на британских бомбардировщиках, высаживался в Нормандии и организовывал разведку в Рамбуйе.

Генерал Бартон рассказывал корреспондентам, что у него на карте впереди линии фронта всегда воткнута булавка, указывающая на местопребывание старины Эрни. В его джипе ехали молодые участники Сопrotивления, приводившие к нему местных жителей, которые могли что-то знать о немецкой обороне, — где они видели немецкие танки и в каком количестве. Штаб-квартиру старина Эрни устроил в отеле «Гран Венер», где остался отличный винный погреб. На постели были свалены револьверы всех систем, а под кроватью размещался небольшой склад виски, входившего в армейский рацион; ванна была заполнена ручными гранатами, а из таза торчали горлышки бутылок с бренди.

В конце концов Хемингуэй вступил в Париж раньше командующего французской армией генерала Леклерка. Что вызвало бешеную ревность товарищей по перу, кое-кому из которых старый боксер даже расквасил нос. В отместку на него настучали, что он нарушил статус военного корреспондента, которые, согласно Женевской конвенции, не должны были принимать прямого участия в военных действиях. Началось целое разбирательство, стрелял он из автомата или только взял его подержать, но в итоге Хемингуэю удалось дожить в прежнем статусе до конца войны в отеле «Ритц», который он самолично отбил у неприятеля.

Там-то и начался его роман с Мэри Уэлш, его четвертой и последней женой, которой он публично предложил стать его супругой на восьмой день знакомства. Этим он подвел черту под своим третьим браком с гораздо более знаменитой журналисткой, чье имя сейчас носит даже специальная международная премия.

Марта Гельхорн, обладавшая умом и фигурой Цирцеи, оказывалась всюду, где становилось жарко, если даже там было так холодно, как во время финско-советской войны.

В Испании вместе с Папой, как Хемингуэя часто называли близкие ему женщины, они совершали поездки на фронт, — ее не пугали ни опасности, ни жизнь впроголодь, ни зима в горах, ни ночевки в кузове грузовика под солдатскими одеялами. В 1942 году она отправилась в джунгли Голландской Гвинеи, где шли бои с японцами. Перед высадкой в Нормандии она приехала в Англию на судне, везущем груз динамита, и нашла мужа на больничной койке с забинтованной бородатой головой после автомобильной аварии — ее хохот смертельно обидел Папу.

В день высадки она даже опередила Хемингуэя, которому не сразу удалось попасть на французский берег, а затем в поисках более бурных боевых действий вылетела в Италию. «Она любила все гигиеническое и старалась сделать дом похожим на больницу — никаких звериных голов» — эти сентенции фанатичного коллекционера звериных голов после развода с Мартой выглядят очень странными по отношению к такой боевой личности.

Мэри была далеко не столь экстравагантна. Но ни она, ни Марта не сделались «донорами» последней возлюбленной полковника Кантуэлла — последнего альтер эго Хемингуэя. Прообразом Ренаты из романа «За рекой в тени деревьев» стала прекрасная венецианка Адриана Иванчич, принадлежащая к аристократическому далматинскому роду. Она познакомилась с Хемингуэем в 1949 году, когда ей было девятнадцать, а в 1983-м покончила с собой — трагедия среди пышных декораций продолжалась и после смерти Байрона двадцатого века.

Последний роман был предназначен для обольщения стареющих мужчин: вас еще может полюбить и даже отдаться вне брака юная красавица, если вы человек бывалый и мужественный. Юная Дездемо... пардон, Рената полюбила практически умирающего полковника вовсе не за муки, но наоборот за то, что, трагическая личность, он тем не менее никогда не чувствовал себя несчастным. Вдобавок он гордится своими подвигами во время Первой мировой плохо организованной бойни и не знает никаких сексуальных проблем, хотя сам Хемингуэй по состоянию здоровья был уже недалеко от врачебного запрета на секс и выпивку. Юность и старость, любовь и смерть среди элегантнейших декораций,

напитков и блюд — коктейль «Хемингуэй» в романе был смешан в эталонных пропорциях: Венеция, палаццо, каналы и гондолы, мартини «Монтгомери» с мелкими оливками, нежный омар, крупный, но не жесткий с превосходными клешнями, редерер сорок второго года, аромат жареной грудинки и почек, отдающий темным, приглушенным духом тушеных грибов...

«— Я не уверен, что можно любить после того, как умрешь, — сказал полковник.

Он принялся сосать артишок, отрывая листок за листком и макая их мясистым концом в соус.

— Пожалуйста, сыру, — сказала она. В эту минуту она была далеко от них».

Соус и смерть, любовь и сыр, бесконечные разговоры о пустяках с бездонным подтекстом — приедается все, что делаешь слишком долго, — этот свой завет новый Байрон, к несчастью, не успел вовремя приложить к собственному творчеству. И обнажение приема начало наводить на страшные догадки...

Этот мужественный немногословный герой — уж не пародия ли он? А вечно цветущие декорации с шикарным реквизитом — не пошлость ли это? А вечное бегство из обыденности в экзотику — а ну как это инфантилизм? Неумение видеть драматизм и красоту в обыденных декорациях среди повседневного реквизита, что прекрасно умели столь чтимые Хемингуэем Толстой и Чехов, и даже Достоевский. У которых он брал многие уроки, кроме, может быть, главного...

Герой и создатель

Уфф, даже жалко стало так упорно не желавшего взростеть Папу Хема, лучше бы и не видеть этой наготы отца своего.

Неужто и его шедевр — «Старик и море» — выстроен по той же схеме?.. И рыбная ловля для героя такой же спорт, как и для автора?

Слава богу, нет. Здесь даже Гольфстрим не красивая экзотика, а величественная и равнодушная среда обитания, в которой людям приходится бороться за жизнь. И реквизит здесь самый аскетичный — багор, гарпун и обернутый вокруг мачты заплатанный парус из мешковины. Немножко, правда, коробит, когда маленький рыбак тоже заводит нагнетающую речь уже известных нам хемингуэевских персонажей: «Помню, ты швырнул меня на нос, где лежали мокрые снасти, а лодка вся дрожала, и твоя дубинка стучала, словно рубили дерево, и кругом стоял приторный запах крови», — но далее символический смысл слов и поступков почти уже не приходит в противоречие с бытовой достоверностью.

Сравнительно правдивыми кажутся даже львы, которые сняты старику. А уж реальные предметы один подлиннее другого: летучие рыбы, морские ласточки, крючки, унизанные свежими сардинами, черепахи, поедающие лиловатых физалий вместе с ядовитыми щупальцами, рука, разрезанная лесой, куски темно-красного мяса тунца, разложенные на досках, куски, которые хотя и с отвращением, но нужно съесть, чтобы подкрепить силы...

Каким же дешевым пижонством здесь смотрелись бы какие-нибудь бутылки с бренди или омары! Кажется, впервые за много лет Хемингуэй написал вещь, в которой не было ни десертной ложечки гедонизма. И с редкостной силой показал, что по-настоящему величественным бывает только мужество без украшений. Преодоление опасности естественной, а не вызванной искусственно, пусть даже сколь угодно искусно. Гордыня несгибаемых матадоров выглядит едва ли не позерством в сравнении со смиренной несгибаемостью старика: смирение пришло к нему, «не принеся с собой ни позора, ни утраты человеческого достоинства». Это непобедимое смирение открывает нам глаза, что более, чем все любители экстрима, заслуживает уважения обычный человек, продолжающий выполнять свои обязанности, зная о смертельном диагнозе, обычная мать, отдающая жизнь больному ребенку... Или мужу, отцу...

Может быть, именно героизм обыденности растрогал сердца Нобелевского комитета, когда он в 1954 году наконец-то присудил Хемингуэю давно заслуженную премию «за вы-

дающееся мастерство в области современной (а какой еще?) литературы», прибавив авторитета более себе, чем Хемингуэю. Да еще прочитав ему ханжеское наставление в том духе, что его ранние работы отличались-де некоторой жестокостью, цинизмом и грубостью, — что, впрочем, отчасти искупается героическим пафосом.

Эта фабрика фальшивого золота им. А. Нобеля в ту пору чеканила монету в пропорции примерно два к одному — две части латуни на одну часть золота (сегодня и эта пропорция представляется ей недопустимо расточительной). Тридцать пять тысяч долларов для Хемингуэя тоже не были определяющей суммой: за одну только публикацию романа «За рекой в тени деревьев» в журнале «Космополитен» он получил восемьдесят пять тысяч.

Но премия сыграла в его жизни роковую роль. Хемингуэй давно высказывался о литературных премиях как о дурацкой затее: «Премии только мешают. Ни один сукин сын, получивший Нобеля, не написал после этого ничего заслуживающего перечитывания», «Эта премия — проститутка, которая может соблазнить и заразить дурной болезнью. Я знал, что рано или поздно я получу ее, а она получит меня. А вы знаете, кто эта маленькая блудница по имени Слава? Маленькая сестра смерти».

О гламурной славе он высказывался и менее пафосно: «Как будто кто-то нагадил в моем доме, подтер задницу страницей из глянцевого журнала и все это оставил у меня». Но самоубийство Хемингуэя разом вернуло его образу романтическую красоту. И только обрушившийся следом каскад интервью и мемуаров раскрыл жадно следящему за каждым шагом суперзвезды человечеству, что это был не гордый возврат творцу билета на не устраивающее героя место, а самая что ни на есть медицинская душевная болезнь, сопровождаемая острой манией преследования.

Несчастный супермен, которому природа в очередной раз продемонстрировала, что суперменов для нее не существует, подобно запиленной пластинке, не мог выбраться из круга тягостных и вместе с тем до ужаса ординарных образов: ФБР подслушивает все его разговоры, окружив жучками; аудиторы выискивают орехи в его счетах, чтобы упечь за

неуплату налогов; ему хотят пришить дело о растлении малолетних; доктора разрушают его память; все его друзья предатели и негодяи, а кое-кто даже ищет возможности пристрелить его; жена только и ждет случая завладеть его деньгами...

«Я не лгала сознательно, когда заявила в прессе, что это был несчастный случай. Прошло несколько месяцев, прежде чем у меня хватило сил осознать правду», — писала Мэри Уэлш Хемингуэй в своих воспоминаниях, но старый приятель Хемингуэя журналист Леонард Лайонс вспоминает первый звонок Мэри совершенно иначе.

«— Лени, — услышал я спокойный голос Мэри, — Папа убил себя.

Придя в себя от шока, я спросил, как это случилось.

— Он застрелился. Теперь я хотела бы, чтобы ты организовал пресс-конференцию в своем отеле — прежде удостоверься, работает ли у них телеграф. Скажи всем: я сообщила тебе, что сегодня утром, когда Эрнест чистил ружье, готовься идти на охоту, он случайно выстрелил себе в голову. Ты все понял?»

Мало кто может выдержать длительное и тесное общение с душевнобольными, у которых приступы ярости чередуются с приступами нежности и раскаяния. К тому же и последняя книга Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», над которой он, случалось, просиживал днями, не в силах написать ни строчки, была посвящена его первой жене Хэдли.

«Писатель работает один, и, если он действительно хороший писатель, он должен изо дня в день думать о том, останется его имя в веках или нет», — писал Хемингуэй в своем стокгольмском послании, которое зачитал во время Нобелевской церемонии американский посол. Хемингуэй постоянно размышлял о самоубийстве и о бессмертии. И ему удалось попасть в «Бессмертие» — я имею в виду роман Милана Кундеры. Герой Кундеры из утренних новостей узнает о новой биографии Хемингуэя, сто двадцать седьмой по счету, из которой следует, что Хемингуэй за всю жизнь не сказал ни единого слова правды; он не только преувеличил число своих ранений, но и безо всяких оснований

изобразил себя великим совратителем, тогда как научно доказано, что в августе 1944-го, а затем с июля 1956-го он был полным импотентом.

А пишущий эти строки, случайно включив телевизор, узнал, что летчик, которого Хемингуэй сопровождал в боевой вылет, назвал храбрость Хемингуэя картонной, и к тому же Хемингуэй развелся с Мартой Гельхорн из-за того, что завидовал ее славе...

Великий писатель оставляет векам не только свои произведения, но и свой образ. И бывает очень неосторожно с его стороны привлекать слишком много внимания не к плодам своего воображения, а к своей персоне из плоти и крови. Конечно, Хемингуэй это делал не сознательно (мог выплеснуть виски в лицо слишком настойчивому журналисту). Но его образ жизни вечного искателя приключений, неизбежно порождающий сенсации вплоть до ложных сообщений о его гибели, превращал его в фигуру не просто гиперпопулярную, но буквально попсовую.

Однако красивое бессмертие и попса — две вещи несовместные.

Писатель и вообще никогда не может быть равен своему герою, как реальность никогда не может сравниться с искусством, которое долго формирует и шлифует свои произведения, прежде чем выставить их на суд. Но если писатель все-таки попытается сравняться со своими возвышенными персонажами, расплата будет жестокой. Ибо воображаемому персонажу простят претензии на совершенство, а реальному человеку не простят. И чем ближе к совершенству он подойдет, тем более беспощадно ему укажут на неполноту этого совершенства. Да еще и вдесятеро приврут.

Уж сколько смеялись над попытками Толстого превратиться в крестьянина — «пахать подано», соха с рябчиками, босоногий пиар, — но Хемингуэй претендовал на куда более ценный приз — на героизм, а потому и помоев на его голову было излито больше, чем на всех писателей вместе взятых. Даже в свидетельствах не злобных, но лишь недоброжелательных Папа часто предстает не только жалким, но и смешным. Ибо в сравнении с его

идеалами и, пожалуй, даже претензиями смешон был бы всякий реальный человек.

Я уже не говорю о его пьяной задиристости, о готовности вместе с дружками сидеть на шее у небогатых родителей, о неспортивном поведении (плюнул кровью в лицо сопернику, пару-тройку раз угодившему ему по зубам во время боксерского матча), о подростковом тщеславии (бездарный скульптурный портрет хозяина дома в холле и обида на коллегу, набросившего на бюст панаму) — чего не бывает, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон! И неблагодарность по отношению к литературным учителям и покровителям можно истолковать как гипертрофированную принципиальность. Натужную готовность смотреть на жестокую правду даже тогда, когда речь идет о разлагающейся дохлой собаке, тоже можно провести по той же статье, хотя именно умышленность хемингуэевской брутальности наводила на мысль об искусственном характере его мужества — фальшивом, вроде наклеенных волос на груди, как выразился один из его бесчисленных изобличителей.

Подобные же изобличители рассказывали о его неловкости (вечно что-то обрушивал себе на голову), о его хрупкости (вечно что-то себе ломал), о его болезненности (вечно лежал в кровати с больным горлом, на сафари подхватил дизентерию вместо мужественной гангрены из «Снегов Килиманджаро»), но никто не может так раздеть мужчину, как женщина. Что он называл свою последнюю жену Огурчиком, это еще куда ни шло. И безобразные перебранки с нею же («Ты на войне был только наблюдателем!» — «И я никогда не трахался с генералами, чтобы написать очерк для “Таймс”!») — с кем не бывает. Но когда получали слово женщины, вроде как, судя по его романам, дарившие его преданнейшей любовью...

Агнес фон Куровски («Кэтрин»): «Бога ради, он вовсе не был героем! Свои ранения он получил потому, что сделал что-то вопреки приказу. Ему было сказано держаться подальше от линии огня, ведь он был мальчишкой, раздававшим сигареты и тому подобные вещи... Его мучили раны на ногах, и он делал из этого целое событие... Между нами не было ничего серьезного... Он был большой эгоист и всегда уверен в своей правоте... Когда ему сообщили, что я

собираюсь возвращаться в Соединенные Штаты, он сказал: “Я надеюсь, что она споткнется на пристани и выбьет свои передние зубы”. В этом было уже что-то смешное».

Адриана Иванчич («Рената»): «Вначале мне было немного скучно с этим куда более старым, чем я, и многоопытным человеком, говорившим медленно и так, что я не всегда понимала ход его мыслей...

У меня как раз в этот день было назначено свидание с одним кубинским юношей, в которого я была влюблена, но я сразу поняла, что для Папы очень важно, чтобы я посмотрела на океан вместе с ним...»

А бедный старый Папа пишет ей, словно они и впрямь любят друг друга бессмертной любовью: о тебе и обо мне будут вспоминать еще много столетий; люди все равно заметили бы, что мы часто бываем вместе и что мы счастливы вдвоем...

Наши тайны и грезы, открытые равнодушному, а то и завистливому взгляду, всегда делают нас смешными. Но Хемингуэй еще и приукрашивал свою и без того исключительную бывалость мальчишескими рассказами, обреченными на разоблачение. То он «оттрахал» Мату Хари, расстрелянную до его прибытия в Европу, но все же оказавшуюся тяжеловатой в бедрах и эгоистичной в постели. То он занимался сексом на лестнице с любовницей гангстера Джека-Брильянта. То у него обнаружилась в Африке чернокожая жена Деббе из племени вакамба, семейству которой он подарил стадо коз...

Но хватит созерцать наготу Папы своего, ибо он задал себе такую планку, которой не мог соответствовать ни он сам и никто другой.

Хемингуэй был человеком редкостного мужества и благородства, и все-таки только человеком. Всего лишь смертным, кому не по силам соперничать с бессмертными фантомами.

Даже если это его собственные фантомы.

ФАБРИКА ФАЛЬШИВОГО ЗОЛОТА

Среди чарующих образов Запада не последнее место занимает и уже упоминавшаяся Нобелевская премия. Какой интеллигент не сетовал на то, что бессмысленный и беспощадный рынок с его культом прибыли губелен для высокой культуры. Но зато какое пиршество духа разворачивается в те дни, когда беспристрастный суд истинных знатоков венчает подлинные шедевры Нобелевской премией! И кажется, даже младенцы не смеют пикнуть, что Нобелевская премия по литературе — это истинная панама всех времен и народов.

Народы мира довольно часто продают чужеземцам свои природные ресурсы; продажа территорий — дело гораздо более редкое: когда сионисты обратились к благоволившему им турецкому султану с просьбой продать им какую-то часть Палестины, тот вежливо попросил их больше не делать ему подобных предложений, ибо земля не его личная собственность, а добытое кровью наследие предков. Территория страны, как правило, входит в единый образ родины в качестве одной из национальных святынь, а потому может быть изменена лишь путем каких-то тяжелых потрясений, железом и кровью. Но поскольку народы создаются и сохраняются некой системой наследственных иллюзий — национальной культурой, — то самой высокой национальной ценностью является культурный суверенитет, право самим определять собственных любимцев и наделять их венцом бессмертия, самим определять собственных великих писателей и поэтов и выбирать любимцев в иных культурах. Это право издавна тоже могло быть отнято лишь железом и кровью. И лишь двадцатый век додумался, что и это право можно купить.

Символично, что именно изобретатель динамита сумел взломать систему национальной культурной обороны всех стран отнюдь не взрывчаткой, но заработанным с ее помощью

златом. Купив для своей прелестной страны, давшей миру всего одного великого писателя — Стриндберга, право называть классиков для всего мира. Тогда как до этого у деятелей духа было лишь одно оружие экспансии — обаяние, способность очаровывать мир плодами своей фантазии.

Творения, которым удавалось в течение десятилетий выстоять во всемирном состязании грез без специальной финансовой и рекламной поддержки, — только они и только таким путем обретали право называться мировыми шедеврами.

* * *

Но, может быть, этот либеральный метод «естественного отбора» чрезмерно хаотичен и расточителен? Может быть, какая-то авторитетная группа экспертов позволяет заранее отобрать те произведения, которым предстоит сделаться украшением национальных культур и войти в культуру мировую? Может быть, с какой-то вершины легче заглянуть через национальные границы, чтобы определить, кто достоин бессмертного венца?

Увы — такого быть не может. Шедевры создают люди духа, творцы и служители наследственных грез, — премиями награждают люди дела, которые в своей узкой сфере могут быть вполне полезными и даже добропорядочными существами, но, вмешиваясь в сферу духа, неизбежно превращаются в ту самую пушкинскую чернь, которая ценит на вес Бельведерский кумир, стремится высшее поставить на службу низшему, вечное — суетному. Иногда каким-нибудь философским умничаньям, но чаще всего старой доброй политике, борьбе за физическое доминирование. Цветаева называла чернью тех, кто считает Гумилева великим поэтом за то, что его расстреляли, а Маяковского поэтом скверным за то, что он пошел на службу большевикам. И можно с уверенностью сказать, что Нобелевской премией аристократов духа награждает чернь. А значит, мотивы награждения у нее могут быть только фальшивыми, если даже в силу стечения каких-то обстоятельств награжденным окажется настоящий классик.

Результат оказывается примерно таким же, как при награждении Ленинской премией: в основном награждаются

нужные люди («нужность» у каждой премии в каждый исторический миг своя), разбавленные знаменитостями, чьим именем премия поддерживает свой авторитет, заодно разрушая шкалу ценностей, протаскивая свои конъюнктурные креатуры в один ряд с истинными классиками, Елинек в один ряд с Гамсуном и Памука в один ряд с Кипплингом. Разница между Нобелевской и Ленинской премией, конечно, существенная: Ленинская премия выдавала за золото глину, а Нобелевская только латунь, но зато и авторитет у Нобелевской неизмеримо выше, а потому и вред, который она наносит искусству, неизмеримо больше. Большую опасность представляет та фальшивая монета, которую наивные люди принимают всерьез. Ленинскую, к счастью, никто всерьез не принимал...

И в ту пору, когда она была главным навязанным авторитетом, Нобелевская премия ощущалась культурным союзником — премия, поддерживавшая Бунина, Пастернака, Солженицына, Бродского... А теперь она сама сделалась навязанным авторитетом, забивающим наши души подделками. Заставляя вспоминать такие неуместные вроде бы в культуре слова, как суверенитет и самооборона. Но всякое влияние, ощущаемое как принуждение, именно в культуре порождает особенно острый отпор.

Сегодня Нобелевская премия лишь дискредитирует писателей, заставляет выискивать конъюнктурные мотивы, по которым оказались избранными именно они: что это — кость, брошенная феминисткам? Или какому-то меньшинству? Правым, живущим под властью левых, или левым, живущим под властью правых? Либералам в коммунистическом окружении или коммунистам в либеральном? Традиционалистам, борющимся с модернизаторами, или модернизаторам, борющимся с традиционалистами? Тогда как подлинное искусство, наоборот, заставляет забыть обо всей этой дребедени...

Даже единственная ложка лжи в бочке правды уже заставляет с недоверием принимать к каждой новой порции, а если лжи больше половины... Ведь если взять список нобелевских лауреатов за тот период, по которому история уже вынесла свой приговор — скажем, до шестидесятых годов XX века, — то классиков среди них окажется не более

трети. А если обратиться, так сказать, к истокам, к генотипу, рассмотреть, скажем, параллельный ряд литераторов и физиков из первой великолепной семерки...

У физиков каждое имя звенит бронзой: Рентген, Лоренц — Зеeman, Беккерель — Пьер, Мария Кюри, Рэлей, Ленард, Дж. Дж. Томсон, Майкельсон.

А у литераторов — Сюлли-Прюдом, Моммзен, Бьернсон, Хосе Эчегарай-и-Эйсагирре, Сенкевич, Кардуччи, Киплинг, — если не считать Киплинга, эхо отзывается куда менее звонкое...

Зато звон монет толпа слышит более чем отчетливо: не может же быть, чтоб такое бабло давали за фуфлю!.. Может, может, дорогие наивные товарищи, у нас уже давно все то же, что и у вас.

В списке первых нобелевских лауреатов блистательно отсутствуют Марк Твен, Золя, Чехов, Стриндберг, Ибсен, Толстой. Естественно, со всех сторон выдвигавшийся и каждый раз отвергаемый высоким собранием анонимов. Однако лишь по истечении полувекового срока давности (вот пример истинной прозрачности!) военная тайна обсуждения кандидатуры величайшего писателя всех времен и народов была приоткрыта. Не могу удержаться, чтобы не пересказать фрагмент статьи Абрама Блоха «Несостоявшиеся Нобелевские премии в русской литературе» («Всемирное слово», № 15, 2002). Синклит или там ареопаг, возглавляемый Карлом Давидом Вирсенем (хороша переключка: Лев Толстой — Карл Давид Вирсен, это еще покруче, чем восьмая нобелевская пара Резерфорд — Эйкен!), требовал от претендентов «высокого и здорового идеализма», а у Толстого все время не хватало то здоровья, то высоты: «насколько, в сущности, здоров идеализм писателя, когда в его особенно великолепном произведении “Война и мир” слепой случай играет столь значительную роль в известных исторических событиях, когда в “Крейцеровой сонате” осуждается близость между супругами и когда во многих его произведениях отвергается не только церковь, но и государство, даже право на частную собственность, которой он сам столь непосредственно пользуется, когда оспаривается право народа и индивида на самозащиту».

Расшаркиваясь перед «бессмертными» «Войной и миром» и «Анной Карениной», всемирные судьи впадают в «чувство нравственного негодования» перед «Воскресением», «Власть тьмы» ужасает их «зловещими натуралистическими картинами», «Крейцера соната» оскорбляет проповедь «негативного аскетизма»... Интересно бы заглянуть в протоколы нобелевских мудрецов, где обсуждаются Джойс и Пруст (Кафка-то наверняка остался незамеченным), — насколько понизилась в них концентрация пошлости, пафос служения печному горшку банального морализма? Хотелось бы надеяться, но что-то не выходит: всякая власть развращает — власть абсолютная развращает абсолютно.

В итоге, берясь за книгу еще не успевшего обронзовать естественным путем нобелевского лауреата, вместо предвкушения освобожденности от мира суеты, наоборот ощущаешь недоверчивую настороженность: ну что там тебе еще собираются впарить? В чем заключается та примесь фальши, «нужности», которая позволила автору подняться на этот кратковременный пьедестал на современной ярмарке суеты?

Впрочем, это и хорошо — подвергать продукцию подозрительной фирмы независимой экспертизе. Те читатели, чей вкус воспитан Пушкиным, Толстым, Достоевским, Буниным — да и нобелевскими лауреатами из дымовой завесы: Анатодем Франсом, Гамсуном, Хемингуэем... — сделали бы благое дело для литературы, если бы регулярно разбирали особо приглянувшиеся им подделки в специальной рубрике «Фальшивое золото». Как еще мы можем противостоять этой организованной силе высококвалифицированной пошлости?

Последнее впечатление этого рода — Орхан Памук, нобелевский лауреат 2006 года. Его роман «Снег» читаешь, не веря своим глазам. Если бы его принес в толстый журнал какой-нибудь молодой писатель, ему бы наверняка посоветовали обратить роман, где искусство и не ночевало, в очерк, чтобы не потерять столь значительную тему — борьба исламизма со светским государством в современной Турции. Сюжет, пожалуй, был бы даже увлекателен, если бы герои подавали хоть малейшие признаки жизни, а не были идеологическими схемами. Впрочем, когда они произносят хотя

и неестественные, но интересные идеологические монологи, это еще переносимо: «По отдельности беднякам, может быть, и сочувствуют, но когда бедна целая нация, весь мир первым делом думает, что это нация глупая, безголовая, ленивая, грязная и неумелая. Вместо того чтобы посочувствовать им, мир смеется. Их культура, их традиции и обычаи кажутся ему смешными».

Но когда они пытаются любить... «Наслаждаясь тем, что они держат друг друга в объятиях, они с большим желанием поцеловались и упали на кровать рядом друг с другом. За этот короткий миг Ка почувствовал такое потрясающее желание, что в противоположность пессимизму, только что владевшему им, он с оптимизмом и желанием, не ведающим границ, представил, как они снимут одежду и будут любить друг друга». «Он сразу же изо всех сил обнял ее; и, засунув голову между ее шеей и волосами, стоял так не шевелясь». «После этого они с огромной силой облизались друг с другом, и остальной мир остался где-то далеко». Это уже похоже на издевку: что это дурачье (мы с вами) еще готово слопать? Ей-богу, я был бы этому почти рад — чтобы на литературном Олимпе сидели веселые бесстыдники, а не добропорядочные тупицы. В этом было бы как-то больше жизни.

Однако вряд ли, Нобелевская премия — это слишком серьезно. На задней обложке «Снега» приводится восторженный отзыв «Daily Telegraf»: Орхан Памук из тех писателей, для которых создана Нобелевская премия.

Для неглупых и актуальных публицистов, лишенных художественного дара? Теоретически, правда, можно допустить, что виною всему переводчик. Но ведь помимо языка есть еще и смысл, и если смысл фальшив или пошл, с этим ничего не сможет сделать никакой мастер стиля...

К счастью, роман Имре Кертеса «Без судьбы» (М., «Текст», 2007) очень быстро разгоняет недоверие — прежде всего предельной безыскусностью. Автор, по крайней мере, не пыжится, а точно перечисляет нарастающие обстоятельства: «В школу я сегодня не пошел. То есть пошел, но только чтобы отпроситься. Отец написал записку с просьбой освободить меня на весь день — “по семейным обстоятельствам”».

Классный наставник поинтересовался, что это за семейные обстоятельства. Я сказал: отца забирают в трудовые лагеря; больше классный наставник ко мне не цеплялся», — этот аскетичный, фиксирующий слог переводчиком Юрием Гусевым выдержан превосходно до самого конца.

И вот паренек идет к отцу, ему хочется расстегнуть куртку, но вдруг ветерок еще откинет в сторону полу — «и желтой звезды не станет видно, а это не по правилам. Нынче в некоторых вещах надо быть осмотрительным». Мир взрослых еще более осмотрителен: жена отца (он в разводе с матерью главного героя) уже заготовила список вещей, которые понадобятся отцу в трудовом лагере; торговцы заготовили нужные товары вплоть до очень красивых желтых звезд (догадались обтягивать тканью картонную форму), не говоря уже о котелках с герметичной крышкой, многофункциональных перочинных ножах и прочих практичных предметах. Трудовой лагерь называется Маутхаузен, но об этом оставшиеся в живых родственники узнают только после войны. А пока они напрягают всю свою мудрость, чтобы придать происходящему какой-то приемлемый смысл. Дядя Вили точно знает, что гонениями на евреев немцы шантажируют державы коалиции, чтобы вытребовать более выгодный мир, — ведь те на что только не пойдут, чтобы спасти евреев! Дядя Лайош призывает смиренно принять извечную еврейскую судьбу и воспринять испытание как наказание за грехи, — но для пацана это как-то слишком абстрактно.

И когда его самого отправляют на работу в Германию, он ощущает что-то даже вроде удовлетворения: «Благодаря этому, как я надеялся, моя жизнь наконец обретет размеренность и упорядоченность, я буду занят полезным делом, у меня появятся новые впечатления, а иногда, конечно, и поводы пошутить, посмеяться», — что им и обещали. Питья, правда, в поезде очень даже не хватало, но знающие люди разъясняли, что шесть-семь дней даже в жаркую погоду можно кое-как протянуть. И они в конце концов действительно прибывают на захолустную станцию «Auschwitz-Birkenau», их встречают какие-то преступники в полосатых робах, так что среди этого гвалта герой ощущает даже некоторое облегчение, увидев немцев в зеленых фуражках: «Аккуратные, подтянутые, чисто выбритые, они олицетворяли в этом столпотворении незыблемость и порядок».

И многие взрослые их тоже оценили: надо показать немцам, что мы тут люди разумные, а не какое-нибудь бестолковое стадо! И когда героя переводят в более гуманный Бухенвальд, а оттуда в малоизвестный трудовой «лагпункт», он тоже первым делом хочет показать конвоиру, как он умеет работать. И лишь натолкнувшись, мягко говоря, на непонимание, он превращается в нормального зэка, то есть сачка.

С какого-то места повествование перенасыщается выражениями типа «само собой», «надо признать», «если подумать» — герой хочет признать естественность этого мира, который еще вчера бы назвал абсурдом, если бы знал это слово, которому еще предстояло сделаться модной пошлостью. Ведь и Кафка вошел в моду, когда мир постановил, что он предсказал концлагеря... Хотя Кафка показал бессилие человека перед мирозданием, каким оно бывает всегда, но пошлякам открывается лишь в мгновения ужаса. Зато Кертеc убедительнейшим образом показал, что человека действительно можно убить, но сломить нельзя: люди до последнего мгновения защищаются какими-то иллюзиями, придающими окружающему какой-то смысл, а им самим какое-то достоинство. Хотя все лагерные ужасы изображаются с почти протокольной простотой: как бороться с грязью, если на тебе башмаки с деревянной подошвой и тряпочным верхом, к тому же приклеившиеся к ноге сочащейся кровавой жижей, как быть, если во время работы тебя схватит — а это вещь неизбежная — понос, как переносить побои, которые являются привычной практикой концлагеря...

Правда, у доходяг проблем становится намного меньше: когда его начинают бить, он сразу же падает и засыпает, хоть в луже. А когда в рану набиваются вши, он лишь старается поменьше о них вспоминать — «таков порядок вещей в природе».

И все же... «Могу со всей ответственностью сказать: видимо, невозможно накопить в душе столько печального опыта, невозможно впасть в такое абсолютное безразличие, невозможно дойти до такой степени всепонимания и всепрощения, чтобы не дать какой-то шанс и удаче». И когда умирающего старца-подростка привозят обратно в Бухенвальд

и сваливают в кучу с прочим отработанным человеческим шлаком, ему все еще немного любопытно, каким образом его прикончат — газом, пулей, ядом или еще как-нибудь. Тем не менее он страстно надеется, что ему будет не больно. И все-таки из гордости он не задает этот вопрос тем, кто толкает тележку с его останками. И все-таки в нем таится безрассудная мечта еще хоть немножко пожить в этом прекрасном концлагере!

Но когда, каким-то чудом оказавшись в больнице, он доживает до освобождения, то, услышав по радио весть о свободе, он испытывает недовольство: а почему нет ни слова о супе, ведь приближается обеденный час! И когда, уже в Венгрии, прогрессивный журналист просит рассказать о лагерьном аде, этот образ кажется ему пустым: ад — это место, где не соскучишься, а в лагере, даже в Освенциме, могло быть и скучно. А главным врагом человека было время — те громады секунд, каждую из которых надо было как-то прожить. Хотя спасало то, что все эти секунды приходилось проживать по отдельности, а не все разом.

Журналист был симпатичный человек, поэтому юный мудрец выбросил бумажку с его телефоном не у него на глазах.

Впрочем, пора остановиться, потому что упоминания требует буквально каждая строка этой небольшой книжки, которая воистину томов премногих тяжелей. Но что обидно — она мечена тем же самым нобелевским клеймом, что и всего лишь недурная, хотя и очень однообразная Елинек, и умный, но тусклейший Памук. Правда, насчет Памука я готов сделать уступку его поклонникам, вероятно, лучше меня читающим по-турецки: пусть даже во всем виноват переводчик. (Переводы Солженицына на английский, судя по комментариям Чуковского, тоже были чудовищны — но это опять-таки говорит о том, что и он получил премию за «нужность» — и слава богу: раз все равно в ходу фальшивая монета, так пусть на ней хоть раз заработаем и мы. Правда, заработала ли что-то русская литература — большой вопрос.) Так вот, пускай Памука испортил переводчик. Но если бы на книге не стояло нобелевское клеймо, разве издатели, среди которых есть несомненно люди со вкусом, стали бы выбрасывать на рынок полуфабрикат? Разве стали бы

его не задумываясь покупать сколько-нибудь культурные люди? И разве стали бы дожевывать его до конца, утратив доверие к собственному вкусу? Как видите, даже и в случае этого неправдоподобного допущения Нобелевская премия все равно сделалась двигателем и прикрытием халтуры.

Ей-богу, на месте журнала «Иностранная литература» — а лучше бы и во всех толстых журналах — я бы открыл специальную рубрику «Пробирная палата», чтобы заново переопределять содержание золота в тех квазидрагоценностях «наилучшего аглицкого сорту», которые спускают на наши головы европейские авторитеты. Разумеется, силы слишком неравны, но если мы хотя бы в своем кругу научимся произносить слова «Нобелевская премия», «нобелевский лауреат» без почтительного придыхания, уже и это будет неплохо.

А то что это еще за новое Политбюро мы посадили на свою голову!

Или это общий закон — устранение одного деспота открывает дорогу новым? И тогда в наших интересах оберегать Нобелевскую премию, чтобы не нажать худшего зла? И пусть она выдает за золото медь и латунь, но защищает нас от глетчеров навоза?

КАЛЕННЫЙ КЛИН

Устами младенцев глаголет национальная вражда

Нобелевская премия и впрямь защищала нас от советской власти, своим авторитетом поддерживая ее врагов, а стало быть, и наших. И так тогда было естественно прибавлять к имени Солженицына титул нобелевского лауреата, мысленно добавляя: что, слопали? Но когда Солженицын принялся проповедовать вещи более чем сомнительные, наш пиетет перед этим слишком человеческим чином обезоружил нашу мысль, долженствующую всякий желтый металл, претендующий зваться золотом, испытывать царской водкой скепсиса. Ну как же, ведь Солженицына вознес на Олимп сам гуманный и просвещенный Запад — куда уж нам с суконным рылом рассуждать о солженицынских эскападах!

Тем более что каждой своей эскападой Солженицын подтверждал, что он и впрямь крупная личность, ибо он всегда делал то, что считал нужным и справедливым, предоставляя остальным его обсуждать, осуждать, хвалить и хулить. И хотя после того как автор «Архипелага ГУЛАГ», не убоившись истеблишмента советского, не убоился истеблишмента и западного, в его искренности и бесстрашии сомневаться было трудно, но все-таки открыто взяться за русско-еврейскую тему, за этот «каленный клин»...

Я имею в виду его бестселлер «Двести лет вместе (1795–1995)» (М.: «Русский путь», 2001), для начала часть первую, сравнительно далекую от наших дней.

Солженицынскому бесстрашию, правда, частенько помогает простодушие. «Смею ожидать, что книга не будет встречена гневом крайних и непримиримых, а наоборот, сослужит взаимному согласию», — что-то очень знакомая интонация... Ах да — примерно этим же слогом писал взбешенному

Белинскому о своих «Выбранных местах» Николай Васильевич Гоголь: «В книге моей зародыш примирения всеобщего, а не раздора». Привести к согласию не только крайних и непримиримых, но даже и тех, кто спокойно и твердо убежден в своей правоте, невозможно ничем. Ибо эти люди ни за что на свете не согласятся утратить важнейшую составляющую райского блаженства — неведение сомнений, покоящееся на принципе «Истина есть то, что я и так знаю». Без лести преданное ядро любой прочной корпорации составляют младенцы — лысые, седовласые, часто дипломированные, нередко орденосные младенцы, для которых собственная мама — ну а как иначе? — разумеется же, лучше всех. Нескромное обаяние фашизма обаятельно прежде всего для этой нашей инфантильной мечты — вернуться в Эдем младенчества, где добро и зло предельно удалены друг от друга: все, кто за нас с мамой и папой, хорошие, а все, кто против, плохие. Истинно то, что сказали папа и мама. Пока они не поссорились.

Это и есть исходный принцип фашизма — отказ от понижения во имя воли. С той, правда, существеннейшей разницей, что сильный, вооруженный этим принципом, действует, а слабый лишь негодует. Покуда сам не сделается сильным. Увы — фашисты слишком часто отличаются от своих жертв не воззрениями, но лишь материальными возможностями... Действительно, что же может помешать нам пустить их в ход, если все добро, вся правда целиком на нашей стороне? Ведь тогда на долю наших оппонентов остается лишь беспримесное зло и чистейшая неправда! Это важнейшая черта мировосприятия блаженных — уверенность, что их противники вредят им не потому, что следуют каким-то своим интересам, но исключительно из бескорыстной любви к злу. Обитатели любого национального Эдема свято убеждены, что их противники ненавидят их без всякой причины, а просто потому, что они, эти противные противники, проникнуты антирусскими либо антиеврейскими настроениями (опиум усыпляет потому, что в нем заключена усыпляющая сила). Более того, любую попытку понять мотивы их врагов обитатели обителей блаженных воспринимают как попытку оправдания этих самых врагов. Ну а поскольку Солженицын, вместо того чтобы честно негодовать, указывает государственные соображения, побуждавшие правительство избирать ту или иную политику

в отношении евреев — пусть нелепую, утопическую, в итоге часто бесчеловечную, но не беспричинную... (Пишущий эти строки тоже вчитывается в соображения Солженицына, вместо того чтобы честно клеймить...)

Это только очень взрослые и скучные люди понимают, что агрессия — всегда реакция на угрозу: наши враги всегда ненавидят нас за то, что мы представляем опасность для их покоя, имущества, самооценки, для их надежд либо иллюзий — словом, ненавидят всегда за дело. Последнее вовсе не означает, что мы должны отступать и растворяться перед лицом всякой неприязни — мы вовсе не обязаны уважать ненависть бездари к таланту, ненависть лодыря к труженику, ненависть хулигана к добропорядочному обывателю и т. д., и т. п. Но, защищаясь сколь угодно решительно, взрослый человек все равно помнит: враг испытывает ненависть ко мне не потому, что является земным агентом Зла, а потому, что я каким-то образом мешаю ему жить. Мешаю своей активностью или своей пассивностью, своим умом или своей глупостью, своей недоверчивостью или своим простодушием, своей нетерпеливостью или своим смирением, раздражительностью или кротостью, скупостью или щедростью, богатством или бедностью, но чем-нибудь да мешаю.

Понимание причин вражды чаще, по-видимому, облегчает поиск «взаимного согласия» — хотя иногда и, наоборот, вскрывает непримиримость столкнувшихся интересов. Но даже и в менее безнадежных случаях боевое острие, «каленный клин» конфликтующих лагерей обычно составляют бесхитростные младенцы, для которых всякий, кто не кричит вместе с нами простодушное «Долой!» и «Мерзавцы!», есть вражеский лазутчик. Поэтому «Двести лет вместе» и прочитаны-то могут быть лишь теми, кто и без этой книги друг для друга не очень опасны: те, кто способен вдумываться в чужие аргументы, уже не натворят больших бед — разве что в каких-то совсем уж исключительных обстоятельствах.

В самом деле, попробуем пробежаться хотя бы по девятнадцатому веку невинными глазами младенца еврейского, младенца русского, а также глазами взрослого человека, на роль которого рискну предложить себя. Собственно, младенцы-то сумели бы передраться и из-за хазарского каганата

с жидовствующей ересью, но взрослые люди, мне кажется, для серьезного конфликта недостаточно остро ощущают свою солидарность со столь далекими и отчасти даже сомнительными предками.

Впрочем, виноват — высочайший указ 1791 года «О недозволении евреям записываться в купечество внутренних губерний» и мною был прочитан со злободневным интересом, — точнее, комментарии к нему. Прежде я как-то не задумывался, что в России «все торгово-промышленное сословие (купцы и мещане) не пользовалось свободой передвижения, было прикреплено к месту приписки (чтобы отъездом своим не понижать платежеспособность своих городских обществ)». А потому, сообщает Еврейская энциклопедия 1906–1913 гг. (т. 7, с. 591–592), этим указом «было положено начало черты оседлости, хотя и не преднамеренно». «По обстоятельствам того времени, — разъясняет энциклопедия, — этот указ не заключал в себе ничего такого, что ставило бы евреев в этом отношении в менее благоприятное положение сравнительно с христианами». Более того, «пред евреями были открыты новые области, в которые по общему правилу нельзя было переселяться» — губернии осваиваемой Новороссии. «Центр тяжести указа 1791 г. не в том, — подытоживает энциклопедия, — что то были евреи, а в том, что то были торговые люди».

А я-то прежде «знал», что черта оседлости создавалась специально против евреев. «Разумеется, специально! — подхватит обитатель еврейского Эдема. — Солженицын просто выгораживает своих». «Я и раньше знал, что русское правительство никогда не было антисемитским, — пожмет плечами обитатель русского Эдема, и хорошо, если не прибавит: — Вот отсюда-то и все наши беды».

Младенцев, живущих под лозунгом «Я так и знал», ничем удивить невозможно. Но вот лично я просто никогда и ничего не слышал о почти столетних усилиях российского правительства «посадить евреев на землю»: тот факт, что евреям запрещалось земледелие, ощущался мною без тени сомнения, как и все факты из разряда «Это знает каждый». Но стоило задуматься, в чем состояли реальные интересы конфликтующих сторон, ищущих пользы для себя, а не бескорыстного ущерба для другого, — как история, изла-

гаемая Солженицыным, начинает представляться вполне естественной. Вот возникло вынужденное сожительство двух народов, один из которых более или менее привычен к финансовым операциям, а другой привычен только к хлебопашеству, один уже освоил алкогольный бизнес, а другой в значительной своей части еще не освоил контроль алкогольного потребления... И все это в условиях чрезвычайной скученности на территории, где с трудом могло прокормиться и коренное население...

Классик социологической науки XX века Р. Мертон утверждал, что если какое-то, сколь угодно неприятное, явление, будь то ростовщичество или буттлегерство, десятилетиями, а то и веками не удается искоренить, значит, оно отвечает какой-то фундаментальной общественной потребности, которая непременно будет удовлетворена не одной, так другой социальной группой. А потому, если бы даже господь вовсе очистил Россию от евреев, как владения Дикого Помещика от мужика, их функции все равно взяли бы на себя наиболее подготовленные лица русской национальности (что и подтверждает, в частности, уровень потребления алкоголя во внутренних губерниях). Этим «лиц», конечно, тоже недолюбливали бы, но беда в том, что социальное расслоение, совпав с расслоением национальным, становится стократно более опасным.

Предотвращать подобные взрывоопасные ситуации — прямая обязанность любого правительства. Вот только осуществимое ли это дело? А если да, то какими средствами? Даже и сегодня простых русских людей охватывают небезопасные для правопорядка чувства, когда они замечают на рынке — ну если даже не преобладание, а лишь резко повышенный процент лиц иного антропологического типа. Либеральное ханжество велит нам не замечать национальностей, то есть не замечать реально существующего соперничества народов и культур, предоставляя ему катиться без участия наиболее образованных и морально устойчивых слоев общества — чтобы примитивные энергичные вожаки овладевали толпой уже без всякой интеллигентской коррекции (а фашизм и есть бунт энергичной примитивности против непонятной и отталкивающей сложности социального бытия). Но правительство империи позапрошлого века (равно как и его политические оппоненты — декабристы)

даже и не догадывалось, что можно не замечать того, что замечают все, — оно стремилось сделать население максимально пригодным для выполнения стандартных государственных функций. Можно, конечно, желать, чтобы государственная элита склонилась перед правом каждой личности заниматься тем, к чему она привыкла, только это означало бы, что социальный организм отказывается от принципа, которым веками обеспечивалась его жизнеспособность. Обеспечивалась, в частности, и крепостным правом — таковы были стандарты, от которых все отсчитывалось.

Вместе с тем для подпавшего под его власть другого национального организма, спаянного религией, преданиями, социальной структурой, образом жизни, языком и т. д., и т. д., было более чем естественно противиться любым мерам, тоже ведущим к его распаду. Национальный организм как целое все равно сопротивлялся бы этим мерам, если бы даже каждой отдельной личности они сулили относительно благоденствие (нам не удастся подкупить их уровнем жизни именно потому, что они народ, а не толпа сброда, — примерно так писал об арабах знаменитый сионистский лидер Вл. Жаботинский). Но российское правительство в ту пору не могло бы обеспечить и личного благоденствия: в России и титульная нация отнюдь не упивалась медом и млеком, а ступить на крестьянскую стезю, не имея ни опыта, ни желания, которые не могут возникнуть даже из самых щедрых льгот и ссуд... Солженицын и сам прекрасно понимает: «Земледелие — это большое искусство, воспитываемое лишь в поколениях, а против желания, или при безучастности, людей на землю не посадить успешно». Правительство тоже находило евреев «заслуживающими снисхождения», но утопического своего замысла не покидало — тем более что «образовалось среди колонистов сколько-то и зажиточных земледельцев, успешно занимавшихся своим хозяйством», — как штучные колхозы-миллионеры поддерживали в советских правителях иллюзорные представления о возможностях колхозного строя.

Вместе с тем Солженицын обильно цитирует многолетние инспекционные донесения о нерадивостях и мошенничествах еврейских колонистов и несопоставимо меньше говорит о мошенничествах, нерадивостях и «малых организационных способностях» русской администрации. И хотя цель

автора — доказать, что царское правительство ограничивало, но не преследовало евреев — формально оказывается вроде бы достигнутой, однако упомянутая пропорция дает повод упрекнуть его в подыгрывании русской стороне. (Тем более что он почти не говорит и о еврейских ремесленниках, а все больше о шинкарях.) А уж еврейские младенцы, можно не сомневаться, прямо объявят, что и вся-то история неудачной «аграризации» евреев изложена Солженицыным с единственной целью еще раз оклеветать безупречный еврейский народ. Тогда как если бы не русское воровство, лень и «бардак», евреи бы еще при Александрах устроили образцово-показательные киббуцы. В ангельской уверенности, что и вся книга написана ради поругания еврейского племени, их еще больше укрепит реакция русских младенцев: мы же, мол, всегда говорили — сколько еврея ни корми, трудиться он все равно не будет.

Трудиться... Как будто трудиться можно только серпом и молотом! Подозреваю, что не только опасения перед «прорывом» еврейской активности, как представляется Солженицыну, «питали оградительные меры российского правительства», но еще и архаические представления о том, что такое труд. Похоже, правительство страшилось не только усиления еврейского экономического влияния, но и вообще усиления торгово-финансового фактора, или, выражаясь по-простому, либерализации экономических отношений: либерализация и впрямь грозила расшатать государственную машину, управлявшуюся в основном внеэкономическими рычагами. Ну а что концентрация капиталов в частных руках, необходимая для реализации крупных проектов, на первых порах и впрямь вызывает пугающую имущественную дифференциацию, — этот факт страшил не только «государственников», но и «народников».

Тот же добрейший, благороднейший Глеб Успенский тоже цитируется Солженицыным: «Все вытерпел народ — и татарщину, и неметщину, а стал его жид донимать рублем — не вытерпел!», «Евреи были избиты именно потому, что не выжились чужою нуждой, чужим трудом, а не вырабатывали хлеб своими руками». Глеб Успенский в своих очерках с почти научной обстоятельностью продемонстрировал, сколь сокрушительно коммерциализация имущественных отношений ударяет по самым основам крестьянского мироощущения —

по убеждению, что лишь то добро праведно, которое нажито своими руками. Полученное от предков, от государя — это крестьянина мало касалось, — но вот когда у него на глазах кто-то, не косивши, не сгребавши, берет кредит в банке, скупает сено у тех, кто его накопил, высушил и сметал в стог, затем продает скупленное в городе, возвращает кредит и становится почти богачом... А заезжие англичане, и вовсе не суетясь, перекаладывают всю беготню на агентов, а сами спокойно разъезжают в коляске, незаметно прибирая к рукам всю местную торговлю сеном...

Эта картина оказывается столь катастрофической для мужицкого мироощущения, что один запивает, другой приходит к выводу, что нынче нужно жить воровством — и попадаетесь раз, другой, все больше и больше зверея... Ох, как были бы избиты и англичане, живи они поближе да погуще!

Глеб Успенский был убежден, что тогдашнему крестьянскому миру недостает только «правды», взаимопомощи, а вот западный мир наверняка обречен на скорую гибель, поскольку там можно нажиться на перепродаже бумаг, в то время как рядом умирают с голоду. Но вот на бумагах в западном мире все наживаются и наживаются, а с голоду уже давно никто не умирает. И взаимопомощи там, приходится признать, побольше, чем в России, отправившейся за правдой. Видный немецкий историк Вернер Зомбарт почти сто лет назад в своем классическом труде, выяснявшем роль евреев в становлении капиталистических отношений, изучил множество купеческих жалоб на «нечестную» еврейскую конкуренцию и обнаружил, что нечестность эта заключалась всего лишь в использовании современных методов торговли — в готовности снижать цены, доставлять товар к потребителю, рекламировать...

Это так не по-товарищески!

Подобная история повторялась в самых разных странах: к подступающей либерализации, модернизации оказывались лучше подготовлены какие-то национальные либо конфессиональные меньшинства — такими «евреями» могли оказаться китайцы, шотландцы, протестанты, но если они не слишком разительно отличались от основного населения, их «прогрессивная деятельность», разрушающая прежний по-

рядок, еще могла сойти им с рук, в противном же случае... Китайские погромы в Индонезии, судя по всему, затмевали даже еврейские погромы в России.

Однако, если волне народного гнева не удавалось остановить модернизацию, то в конце концов шустрое меньшинство более или менее растворялось в поднаторевшем большинстве — ведь только младенцы из младенцев станут серьезно утверждать, что и в Англии, в США, во Франции всем заправляют какие-то меньшинства. Или в Гер... Но в Германии антиеврейский взрыв достиг столь кошмарной мощи, что мимоходом Германию упомянуть невозможно. Тот же Зомбарт, который был противником еврейской ассимиляции именно потому, что считал еврейскую «расу» слишком ценной для человечества, предостерегал евреев от очень уж успешных карьер в германской науке, юриспруденции, государственном управлении, бизнесе: Зомбарт прямо говорил, что евреи умнее и энергичнее «нас», немцев, и занимают свои места абсолютно заслуженно. И тем не менее... Господствующая нация, намекал он, с таким положением мириться не будет. И не смирилась...

Но — неужели же одаренный и энергичный молодой человек при современных индивидуалистических представлениях о правах личности откажется от профессорского или директорского поста только потому, что это еще на одну тысячную повысит градус антиеврейского раздражения? Благополучный выход отсюда возможен только один: нация-гегемон овладевает всеми «еврейскими» навыками, и тогда еврейское участие в престижных сферах само собой укладывается в какую-то «естественную» (перестающую раздражать) процентную норму.

Относительно этой самой процентной нормы Солженицын задает рискованный вопрос: «А — возможно ли было найти путь плавного, безвзрывного решения этой сильной и вдруг возросшей еврейской потребности в образовании? При все еще неразбуженности, неразвитости широкого коренного населения — каким путем можно было бы это осуществить, без ущерба и для русского развития, и для еврейского?» Солженицын подчеркивает, что «процентная норма несомненно была обоснована ограждением интересов и русских и национальных меньшинств, а не стремлением к порабощению

евреев». Но итог подводит без околичностей: «Процентная норма не ограничила жажду евреев к образованию. Не подняла она и уровень образования среди не-еврейских народностей Империи, — а вот у еврейской молодежи вызывала горечь и ожесточение. И несмотря на эту притеснительную меру еврейская молодежь все равно выростала в ведущую интеллигенцию».

Конечно, лучше было бы не ограничивать евреев, а «разбуживать» и развивать прочие народности... Но такие советы неизмеримо легче давать, чем выполнять. Вожделенного «пропорционального участия» нет даже и в развитых странах. Великий Генри Форд считал финансовую сферу паразитическим наростом на честном теле реального производства, а потому и евреев сильно недолюбливал. Гитлер же из действительно существующей еврейской финансовой активности выводил и вовсе заоблачные теории — он полагал международную систему перетекания капиталов в наиболее прибыльные сферы стопроцентным еврейским изобретением и еврейской «державой»: даже и война-то по-настоящему ведется между немцами и евреями, прочие-разные русские и англосаксы лишь еврейские марионетки. Так что тов. Зюганов не столь уж оригинален, когда излагает в своей докторской монографии, что сегодняшнее коммунистическое учение видит основной исторический конфликт уже не в борьбе классов, а в борьбе этносов, из которых одни сосредоточивают в своих руках национальное производство, а другие — всем чуждые — интернациональные, космополитические, транснациональные финансы. (Однако заметим, что обилие космополитических еврейских капиталов не нанесло могуществу Соединенных Штатов сколько-нибудь заметного ущерба.)

Пожалуй, я уже слишком отвлекся в своем стремлении показать, что мне вполне близка та солженицынская точка зрения, что политика русского правительства, обычно трактуемая как антиеврейская, не была вызвана какой-то специальной враждой — чтобы дойти до будущей реальной вражды, было вполне достаточно естественного хода событий, когда каждая сторона действует так, как только и может действовать — в соответствии со своим пониманием собственных интересов и со своим набором предвзятостей (без предвзятостей же ни социум, ни индивид не способны ни видеть мир, ни принимать решения). И только потом,

когда начинается защита фантомов от фантомов, «святынь» от «святынь», рождается святая ненависть.

«Но если, например, проследить биографии виднейших русских образованных евреев, то у многих мы заметим, что с рубежа 1881–82 резко изменилось их отношение к России и к возможностям полной ассимиляции. Хотя уж тогда выяснилась и не оспаривалась несомненная стихийность погромной волны и никак не была доказана причастность к ней властей, а напротив — революционных народников, однако не простили этих погромов именно русскому правительству — и уже никогда впредь. И хотя погромы происходили в основном от населения украинского — их не простили и навсегда связали с именем русским».

М-да... Я и впрямь как-то не задумывался, что в погромном Кишиневе 1903 года нееврейское большинство в подавляющем большинстве своем составляли молдаване и отчасти украинцы... Впрочем, либеральный катехизис не велит нам замечать национальностей, поскольку плохие люди национальности не имеют; так что пускай лучше остается без конкретного адреса: виновата Россия и довольно об этом. Или, чтоб уж совсем никому обидно не было, пускай будет виновато русское правительство. И Солженицын с этим согласен, он считает, что и русский народ ответственен за своих мерзавцев («ни одна нация не может не отвечать за своих членов»), и русское правительство ответственно за погромы: «Или уж вовсе не держать Империи... — или уж отвечать за порядок повсюду в ней».

Но — помня при этом, что ни одного доказанного факта организации погромов со стороны, с позволения выразиться, «федерального правительства» так никогда и не нашлось — все аргументы в пользу этой версии относятся к разряду «Совершенно очевидно» и «Да кто же этого не знает!» Для еврейских младенцев даже и какие-то вопросы по этому поводу есть циничный антисемитизм — тем более что младенцы русские и впрямь с бесстыдством невинности отрицают и самое существование погромов либо приписывают их самим евреям. Солженицын же хотя и приводит убийственные факты бестолковости и даже прямого попустительства со стороны местного начальства, все они говорят лишь о том, что без либеральной клеветы правительство выглядело бы только

«косным стеснителем евреев, хотя неуверенным, непоследовательным. Зато путем лжи оно было представлено — искусным, еще как уверенным и бесконечно злым гонителем их. Такой враг мог быть достоин только уничтожения».

Еще раз убеждаешься — фантомы в истории играют неизмеримо значительнейшую роль, чем факты. Более того, конфликт реальных интересов способен вызвать лишь взаимное раздражение, святую же ненависть возбуждают только коллективные фантомы — Еврей, Буржуй... Такой же фантом — на весь мир! — был воздуд русским либерализмом из проклятого царского правительства, ибо оно слишком уж явно загораживало путь еще к одному фантому, воодушевляющему — вернее, к целой системе фантомов, в разной пропорции, по вкусу, включающей в себя «Демократию», «Социализм» и всяческое «Братство Всех Со всеми» (ну кроме разве что горстки негодяев, не имеющих ни роду, ни племени). Неравенство же евреев для раздувания зверского фантома «Царское Правительство» (а заодно и «Россия» — ну тут уж лес рубят...) было настолько удачным компроматом, что, уже обретя возможность продвигать через Думу вождевленное еврейское равенство, прогрессисты этой возможностью так ни разу и не воспользовались: выгоднее было держать этот антиправительственный козырь в вечном резерве. И в каких-то серьезных благотворительных акциях в пользу столь многослезно оплакиваемых евреев свободолобивые партии тоже замечены не были.

Все как сейчас — оплакивать бедных и несчастных лишь до той минуты, пока можно ими уязвить правительство, — в этом наши оппозиционеры — и красные, и белые, и синие, и зеленые, и коричневые, включая серых — неразличимы как матрешки. Ну а насчет прилгнуть — тут тоже закон один для всех: чем возвышеннее цель, тем непринужденнее обращение с фактами — до мелочей ли, когда речь идет о Великой Правде! С ее высоты можно любую уступку вырывать у правительства с такой страстью, будто судьба мира стоит на карте — но чуть правительство уступает, немедленно объявлять уступленное мелочью.

Но если, будучи уже совсем взрослым и даже немножко старым, впервые в жизни задумаешься: а в интересах ли правительства было устраивать погромы (обнаруживая

в этом единственном случае поразительную согласованность всех частей и герметическую конспирацию)? И сразу же видишь, что нет: резко ухудшается международное, финансовое положение; еврейская молодежь не то что не оказывает признаков запуганности, но, напротив, как констатировал С. Ю. Витте, вместо «зоологической трусости» наливается неустрашимостью; простонародье обретает опасную привычку к массовым беспорядкам... Впрочем, для младенца это не доводы: у него самого утилитарная сторона жизни не вызывает ничего, кроме скуки — он летит к папе за подарком, думает, в коробке пистолетик, а там — тьфу! — ботинки, — почему же он должен думать, что министры и государи руководствуются какими-то иными мотивами? Сорвал зло, а там хоть трава не расти. Притом и министры в самом деле всего лишь люди, они живут своими фантомами. И я подозреваю, что консервативный антисемитизм раздул свой фантом Еврея как могущественного и бескорыстного Врага России в противовес либеральному фантому еврея как беспомощного и безобидного страдальца.

И так во всем. «Ага, Солженицын хочет показать, какие евреи мерзавцы — уклонялись от службы в армии!» — «Ага, Солженицын показал, какие евреи мерзавцы — уклонялись от службы в армии!» Хотя даже на мой, не самый, я думаю, рациональный взгляд, евреи были бы просто слабоумными, если бы не стремились уклониться от воинской службы в чуждом им государстве (которому и собственная-то интеллигенция желала всяческих провалов), не имея ни перспектив для военной карьеры, ни национальных традиций, поэтизирующих погоны, наганы... И с сегодняшней точки зрения это практически уже не преступление — сегодня подавляющее большинство образованных людей полагают, что можно ничуть не хуже служить отечеству на поприще врача, инженера, ученого, и совершенно по-еврейски стремятся устроить своих сыновей в вузы, освобождающие от армии. Причем осуждаются эти уклонисты чаще всего только по долгу службы да еще из зависти.

Растущее нежелание отбывать воинскую повинность — в большой степени именно из-за него развитые страны перешли к профессиональной армии. Даже в Израиле, испытывающем нешуточную военную угрозу, все меньше и меньше желающих самолично держать границу на замке.

Можно этому радоваться, можно сокрушаться, но таков дух времени, провозгласившего примат прав личности по отношению к правам государства. Весьма вероятно, что евреи в диаспоре в среднем и несколько больше следуют этому индивидуалистическому духу, чем другие образованные слои соответствующих стран, но, стоит вспомнить, дух этот уже победно веял над Европой, когда российские евреи еще не вылезали из лапсердаков.

Мне и вообще кажется, что евреи были скорее страстными последователями, чем творцами ведущих фантомов века, почитавшихся высшими достижениями европейской мысли, скорее русскими европейцами, чем евреями. Но это вопрос отдельный, а, возвращаясь к началу, сослужат ли «Двести лет...» Солженицына примирению всеобщему — я думаю, нет, — тем более что Солженицын не желает звать «и к такому согласию, которое основывалось бы на несправедном освещении прошлого». Ведь иного согласия просто не бывает: всякое массовое, переходящее из поколения в поколение единство всегда основывается на системе коллективных иллюзий. Там же, где и впрямь ищут истину — в науке, — там не остается ни одного факта, который бы не оспаривался в нескончаемой борьбе научных школ. Может быть, когда-то и возникнет система грез, одинаково чарующая и русских, и евреев, но пока что таковая даже и не брезжит.

Пока что «каленный клин» вражды с каждой стороны составляют младенцы, которых невозможно переубедить, а можно только отвлечь: а вон птичка, птичка!.. Погреметь погремушкой, сунуть пустышку — глядишь, топающий ножками малютка и забудет о своем обидчике. И тогда уж по возможности не надо ему напоминать.

Не надо дразнить детей

Можно сказать, что национальная вражда — в ее самом опасном, бескорыстном аспекте — проистекает из нашей детской готовности жить выдумками, из доверчивости к слухам, преданиям и к бескорыстию во зле наших врагов. Поэтому когда народы достаточно повзрослеют, они утрачат и священную ненависть друг к другу — она сменится,

самое большое, досадой против удачливого конкурента. Но есть серьезное подозрение, что, повзрослев, народы просто исчезнут. Ибо их создает и хранит именно готовность жить выдумками и преданиями, а не более или менее проверяемыми фактами и материальными выгодами.

Боря Заславского в десятилетнем возрасте вывезли из Баку в Израиль, где он сделался Барухом. Сейчас он профессор экономической кибернетики в Калифорнии Боб Заславски. Каждая профессия порождает свою разновидность профессионального идио... я хочу сказать — редукционизма: для одних человек — двигатель внутреннего сгорания, для других ристалище борьбы энтропийных и антиэнтропийных сил, для третьих — стадное животное с неизменными инстинктами. Боря моделирует человека по образу и подобию биржевого маклера: все человеческие поступки продиктованы желанием максимизировать прибыль. Со снисходительной улыбкой взрослого дяди, рассказывающего о детских играх, он дивится тому, что некоторые его американские коллеги испытывают стыд при виде бездомных. «Но ведь где-нибудь в Нигерии их все равно останется в сто раз больше, — без особой надежды пытается вразумить их Боб и юмористически воспроизводит их кудахтанье: — Но ведь это же в нашем государстве!» — «Вы вдумайтесь, что такое государство, — безнадежно вздыхая, просвещает их Боб. — Вы принадлежите к какой-то местной общине, у которой есть свой глава. Кроме того, вы живете в городе — у него есть мэр. Потом в штате — у него есть губернатор. Затем в государстве — у него есть президент. И наконец, живете в мире — у него уже нет главы. Так чем же из всех этих общностей выделяется государство? У государства есть глава и есть сильная армия, вот и все».

Что ж, Боб мыслит ничуть не примитивнее тех мудрецов, которые пытались определить нацию через какие-то всеми наблюдаемые параметры — территория, язык, участие в относительно замкнутой системе разделения общественного труда. Бесплодность (никчемность) всех таких определений — ни одно из них не объясняет главного: национальной солидарности, готовности во имя национального целого платить неудобствами, лишениями, а иногда и смертельным риском. Мы сами почти всю жизнь прожили в новой национальной общности, связанной уже и общим языком,

и территорией, и системой разделения труда — и эта коммуналка в большинстве сожителей накапливала лишь раздражение да убежденность, что соседи их каким-то образом облапошивают. С другой стороны, Солженицын не случайно ведь посвятил свои будоражащие «Двести лет вместе» небольшому, но «звонкому» народу, который, бог весть когда рассыпавшись на части, многожды менял и территорию, и язык, и даже антропологический тип — но сохранил национальную солидарность до такой степени, что, собравшись из разных территорий, хозяйств и культур, возродил утраченное две тысячи лет назад государство. «Сие исполинское предприятие требует особенных обстоятельств и истинно гениальной предприимчивости», — такой итог когда-то подводил своим протосионистским размышлениям Пестель, и осуществиться это «исполинское предприятие» уж никак не могло без серьезной жертвенности. Да просто в войнах первоначального становления Израиля погибло огромное в процентном отношении количество молодежи, — на этом фоне даже уже и неэффектно упоминать о массовой готовности людей интеллигентных профессий предаваться труду скотника или земледельца, хотя довольно многие из них и сейчас еще живы, я с ними встречался. Вот первопроходцев, таких Павлов Корчагиных от сионизма, полагавших буржуазной мерзостью красивую одежду, вкусную пищу, чистую скатерть, — тех уже не осталось. Подобные жертвы могут приноситься лишь опьяняющим грезам, трезвый взгляд на реальность пробуждает в человеке расчетливость, осторожность (а еще более трезвый и глубокий — ужас и отчаяние).

С вершин общечеловеческого катехизиса можно, конечно, сожалеть, что это подвижничество было проявлено во имя всего только нации, а не человечества, но, увы, примеры далеко не одного только Бори Заславски наводят на мысль, что человек отпадает от национального целого чаще всего не в пользу какой-то более широкой солидарности, а в сторону гораздо более узкой — если только не чисто-го шкурничества. И даже те немногие, кто и впрямь без всяких промежуточных ступеней возносятся до единства со всечеловечеством, становятся не столь уж ценным для всечеловечества приобретением: сегодня еще не существует сколько-нибудь массовых и отлаженных институтов, через которые можно было бы служить напрямую человечеству,

а национальные структуры худо-бедно такие институты все-таки имеют. Нет-нет, общечеловеческие идеалы как тормоз против этноцентрического эгоизма важны чрезвычайно, но в качестве конкретных созидательных мотивов они пока что мало чего стоят.

Хотя богатые страны сегодня и помогают бедным в ирреальных для девятнадцатого века масштабах, однако обрели они эту возможность лишь благодаря тому, что сумели поднять свои национальные хозяйства; слияние же сложившихся национальных организмов в один общечеловеческий привело бы к тем же результатам, что и коллективизация: «кулацкие» хозяйства растворились бы в общей безалаберности и нищете.

Каждая нация с грехом пополам все-таки хранит «наследие предков», а сваленное в общий котел... Национальная вражда есть оборотная сторона национальной солидарности, без которой и цивилизованный мир, пожалуй, долго бы не простоял. Конечно, сегодня от граждан «атлантической цивилизации» не требуется очень уж большой жертвенности: пока «беднота» не подвергла «эксплуататоров» каким-нибудь понастоящему суровым испытаниям (а она берется за дело все круче), нации западного мира какое-то время могут существовать и как хозяйственные корпорации, в которых служат лишь до тех пор, пока находят выгодным, и теряют от этого, похоже, больше граждане, чем государства: далеко не каждый индивид способен очаровываться индивидуальными фантомами, а носителем прежних, коллективных была главным образом именно нация. И я вполне допускаю, что скоро наступит пора, когда снова начнут побеждать не те, кто лучше вооружен, а те, кто беспробуднее опьянен своими сказками.

Ибо нацию и образует не кровь, не почва и не хозяйственная система, а система коллективных, в основном наследуемых и медленно обновляющихся, фантомов — наполняющих душу гордостью или скорбью, но всегда чем-то возвышенным. А это, судя по всему, необходимо человеку по самой его социальной природе — слишком уж он беспомощен в мироздании, если смотреть на него трезвыми глазами: лишившись опьянения воодушевляющими фантазиями, человек пытается вернуть себе утраченное блаженство

при помощи алкоголя, наркотиков, всяческих безумств... Я вполне серьезно предполагаю, что рост наркомании, алкоголизма, самоубийств, немотивированной преступности есть результат «протрезвления», «повзреления» общества, отказа от выдумок во имя реальностей. Хотя это, конечно, самая что ни на есть детская (подростковая) иллюзия — верить, что уж ты-то от иллюзий свободен.

В качестве прозаика, по роду своей деятельности постоянно пребывающего среди людей и событий, которых нет и не было, я тоже приобрел свой профессиональный сдвиг — представление о человеке как о существе не столько разумном, сколько фантазирующем. Разумно, если хотите, животное — оно в несопоставимо большей степени живет реальными фактами, не преображая их домыслами и фантазиями. Хотя что мы знаем о животных!.. Но вот в том, что животные не тратят таких громадных (и даже никаких) сил на бесполезные сооружения — гробницы, памятники, храмы, — вот в этом сомневаться трудно. Жертвы, приносимые людьми во имя мнимостей (феноменов, живущих только в мнениях), настолько превосходят все когда-нибудь совершавшееся во имя реальной пользы, что это наводит на ведущую к важным следствиям догадку: по-настоящему боготворить человек может лишь собственные фантомы. И священную ненависть питать тоже только к фантомам во имя других фантомов.

Да, порождены эти фантомы чаще всего какими-то реальными явлениями, но настолько перегримированными и дорисованными фантазией, субъективными истолкованиями и ассоциациями, что фактический их источник оказывается замураван в этом комплексе мнимостей почти неразличимо, он становится подобен песчинке в порожденной ею жемчужине. Жемчужине, ощущаемой исключительно тем субъектом, который ее вырастил, — и чьих ощущений не могут подтвердить никакие посторонние наблюдатели: так никто, кроме матери, не видит неповторимой прелести ее малютки. Точнее, фантома ее малютки.

Поскольку фантомы являют собой наиболее драгоценную часть человеческого мироздания, постольку и самую неукротимую ненависть вызывают те, кто на них покушается, — вот вам истинная причина национальной вражды.

Родина — это тоже фантом — система фантомов, — ассоциированная со страной нашего предполагаемого происхождения. Именно потому, что это феномен не внешнего, а внутреннего мира, ни ценность его, ни само понятие «родина» не могут быть обоснованы и расшифрованы средствами рационального анализа, стремящегося оперировать фактами, которые максимально подтверждались бы независимыми наблюдениями. Такой анализ может разве лишь разрушить любой фантом, если его обладатель недостаточно крепко к нему привязан. Каждый конкретный вопрос: «Что же она такое, эта ваша родина — горы, доли, налоговая система, армия, президент?» — вполне подобен вопросу: «Что же такое ваша жена, которую вы так любите — кожа, скелет, мозг, ее кулинарные, административные, научные достижения?» Ясно, что любой ответ будет смехотворен, потому что предметом любви является не человек, а порожденный им фантом. Щедринский Провинциал в Петербурге рассуждал еще более забавно: скажем, Нахичевань то входит в наше отечество, то не входит — так любить ли нам отечество с Нахичеванью или без Нахичевани? За всеми изменениями не уследишь, так не лучше ли найти в отечестве нечто прочное и неизменное и уже со спокойным сердцем вверить ему свою преданность, — это неизменное есть начальство. Может ли гражданин любить отечество, не зная его границ, вопрошал Щедрин, и концепция «человека фантазирующего» уверенно отвечает: да, может. Ибо фантомы лишь в слабой степени детерминируются материальными параметрами.

О коллективных фантомах можно сказать ровно то же, что и о любых веками формировавшихся социальных феноменах: с ними опасно — без них невозможно. Да, коллективные фантомы порождают самую страшную вражду — но они рождают и самую высокую самоотверженность. В мирное время раздувать национальную солидарность до истерического накала дело не только невозможное, но и прямо вредное, ибо дискредитирует само понятие патриотизма, национальной солидарности. Тогда как без какого-то минимального ее уровня уж не знаю, как Западу, а России точно не простоять. Начать хотя бы с того, что в России много дотационных регионов, и, в сущности говоря, лишь национальная солидарность побуждает сургутского нефтяника делиться прибылью с псковскими старухами. Он, конечно,

кряхтит, увиливает, но в принципе считает это справедливым. Но если он искренне почувствует: «А чем, собственно, псковские старухи лучше нигерийских?» — у него тут же найдутся лидеры, которые поставят страну на грань гражданской войны. Падение общенациональных фантомов сегодня, возможно, обошлось бы дешевле, чем в семнадцатом году, но все равно нахлебаются все — и русские, и татары, и евреи. Причем евреи нахлебаются больше, потому что их меньше. А кроме того, их деятельность чаще связана с теми тонкими социальными функциями, которыми жертвуют в первую очередь, когда речь заходит о физическом выживании.

В этом, похоже, и заключается один из выводов, к которым подводит Солженицын и русских, и евреев: берегите то государство, которое есть, не надейтесь, разрушив не слишком благоустроенный дом, в три дня воссоздать Хрустальный дворец. Или переехать в другой дом — в таком количестве вас нигде не ждут. Но апеллировать к рациональным мотивам, когда речь идет о массовых движениях, дело совершенно пустое: трезвые люди предпочитают спастись в одиночку. Готовность забыть о шкурных заботах ради общего и весьма неясного наследства способны пробудить в толпе только воодушевляющие фантомы (я намеренно избегаю слова «святыни», чтобы подчеркнуть, что речь идет о чем-то существующем исключительно благодаря тому, что мы его таковым ощущаем). Возможно, именно поэтому Солженицын никак не пытается обосновать, чем, собственно, Россия заслужила, чтобы ее граждане принимали на себя какие-то хлопоты ради ее «интенсивного развития вглубь, нормального кровообращения»: тем, кто дорожит национальными фантомами, не нужно объяснять, зачем они нужны — служение фантомам вообще являет собой высший тип человеческой деятельности, наделяющей человеческую жизнь смыслом и красотой.

Любая страна стоит на детской доверчивости к непроверенному, почти во всем неверному, крайне неотчетливому и все же дорогому. А из реального и отчетливого можно любить лишь физически приятное. Любить так, как любят компот. Поэтому в относительной сохранности объединяющих русских фантомов заинтересованы все народы России.

Осознание того факта, что национальная вражда главным образом порождена страхом за любимые иллюзии, подразумевает, еще не дает окончательного решения еврейского вопроса — соперничество народов может быть устранено из жизни лишь вместе с самими народами, — вернее, со всеми, кроме какого-то одного: жизнь, из которой убраны все конфликты и сомнения, — глубинная греза всех протофашистских утопий. Но знание опасных зон позволяет тем, кто считает себя взрослыми, не затрагивать их без серьезной необходимости. Ни финансовые, ни научные, ни культурные, ни даже административные успехи евреев не навлекут на них по-настоящему опасной ненависти, пока русские не ощутят опасности для своих национальных грез. Кажется, в Америке именно так и устроилось, — если судить хотя бы по массовому кинематографу, в котором по крайней мере не бросается в глаза ничего обидного для достоинства англосаксонского большинства, — а хозяева грез — хозяева мира. Да и в частной жизни воспитанные люди, отнюдь не уклоняясь от реальной конкуренции, давно научились не затрагивать чужих иллюзий. Каждый-то, конечно, про себя знает, что именно его Дульсинея на самом деле прекраснейшая дама под луной, но все-таки не тычет и другому: твоя дама скотница, скотница, скотница...

Правда, на подобную рассудительность способны лишь взрослые люди, а народы — вечные дети. И когда разные мудрецы предлагают им гордиться не всякой полувыдуманной бесполезностью, а, например, объемом и качеством национальной продукции, — это походит на то, как если бы мальчишку учили гордиться не опасными подвигами и враками, а отличными успехами и примерным поведением.

Обнадеживает только то, что в лидеры народов, как правило, выходят все-таки взрослые дяди.

Если не дразнить мальчишек. Самое страшное — это их страх за любимые сказки. Тогда мальчишки превращаются в фашистов. И выводят в вожди самых осатанелых.

Поэтому лучше всего почаще демонстрировать им, что они могут быть совершенно спокойны за свое достоинство, в чем бы оно ни заключалось, и что пока они воистину дорожат своим национальным целым, им не страшны ни татарщина,

ни неметчина, ни евр... Нет, слово «европейщина» имеет другой оттенок, лучше сказать — «общечеловечина». Тем более даже национальные параноики согласятся, что уж физическую-то опасность для русских с незапамятных времен всегда представляли только русские.

Три послания

О любых проявлениях еврейской солидарности Солженицын на протяжении всех своих «Двухсот лет вместе» высказывается с подчеркнутым уважением — с единственной, кажется, на всю книгу оговоркой: «Более чем двухтысячелетнее сохранение еврейского народа в рассеянии вызывает изумление и уважение. Но если присмотреться: в какие-то периоды, вот в польско-русский с XVI в. и даже до середины XIX, это единство достигалось давящими методами кагалов, и уж не знаешь, надо ли эти методы уважать за то одно, что они вытекали из религиозной традиции». («Во всяком случае нам, русским, — даже малую долю такого изоляционизма ставят в отвратительную вину», — прибавляет Солженицын. Кажется, искренне не понимая, почему объединяющий имперский народ подлежит иному суду, чем этносы, отвечающие лишь за самих себя.)

Тем не менее в конце XIX века еврейская внутренняя изоляция была прорвана, — новые поколения не жалели сил, чтобы добиться социального успеха в российском обществе — однако не ценой крещения. «Казалось бы, почему масса еврейской молодежи, не соблюдавшая никаких обрядов, не знавшая часто даже родного языка, — почему эта масса, хотя бы для внешности, не принимала православия, которое настезь открывало двери всех высших учебных заведений и сулило все земные блага?» — цитирует Солженицын мемуары Я. Тейтеля, подчеркивающие главный признак национальной солидарности — бескорыстие, готовность на жертвы во имя мнимости, во имя того, что никому конкретно не приносит никакой выгоды (но лишь укрепляет экзистенциальную защиту).

Пророку российского сионизма Вл. Жаботинскому и этого казалось недостаточно: «Многие из нас, детей еврейского

интеллигентского круга, безумно и унизительно влюблены в русскую культуру... унизительной любовью свинопаса к царевне», «Наша главная болезнь — самопрезрение, наша главная нужда — развить самоуважение... Наука о еврействе должна стать для нас центром науки... Еврейская культура стала для нас прибежищем единственного спасения».

«И это — очень можно понять и разделить. (Нам, русским, — особенно сегодня, в конце XX века)», — это уже комментарий Солженицына.

Солженицын вообще старается согласиться с Жаботинским где только может. Жаботинский: «Кто мы такие, чтобы перед ними (русскими. — А.М.) оправдываться? кто они такие, чтобы нас допрашивать?» Солженицын: «И эту последнюю формулировку можно в полноте уважать. Но — с обоесторонним применением. Тем более ни одной нации или вере не дано судить другую». (Надо ли понимать эти слова так, что каждая нация является и верховной инстанцией в суде над собой? Означают ли они неправомочность Нюрнбергского и Гаагского трибунала? Или группа наций все же обретает какие-то дополнительные права? Но это так, в скобках. — А.М.)

С влюбленностью свинопаса, естественно, сочетались и не столь самоотверженные чувства (В.Мандель): в предреволюционные десятилетия не только «русское правительство... окончательно зачислило еврейский народ во враги отечества», но «хуже того было, что многие еврейские политики зачислили и самих себя в такие враги, ожесточив свои сердца и перестав различать между “правительством” и отечеством — Россией... Равнодушие еврейских масс и еврейских лидеров к судьбам Великой России было роковой политической ошибкой». Ну с масс-то взять нечего — их удел жить либо буднями, либо фантомами, а вот лидеры... Это именно их первейшая задача — канализировать преданность фантомам в берега прагматики.

В итоге еще один авторитетный еврейский наблюдатель (Г.Ландау) отмечает «мучительную двойственность» (выражение Солженицына) еврейской природы: «Привычная эмоциональная привязанность у весьма многих [евреев] к окружающему [русскому миру], врожденность в него, и вместе

с тем — рациональное отвержение, отталкивание его по всей линии. Влюбленность в ненавидимую среду». «Трудность сближения и была та, — подхватывает Солженицын, — что этим блистательным адвокатам, профессорам и врачам — как было не иметь преимущественных глубинных еврейских симпатий? Могли ли они чувствовать себя вполне русскими по духу? Из этого же истекал более сложный вопрос: могли ли интересы государственной России в полном объеме и глубине — стать для них сердечно близки?»

«Сложный вопрос» — подумаешь, бином Ньютона! Да разумеется же, нет. Несовпадение грез неизбежно ведет и к несовпадению целей. Но в данном случае — не к антагонистическому: это могло быть всего лишь различием приоритетов внутри единой программы. Больше того, при отправлении подавляющего большинства общественных функций и вообще требуется не больше государственного патриотизма, чем для будничной работы сантехника — для них вполне довольно простой добропорядочности и профессионализма, — в этих качествах еврейскому мещанству отказывают уже только параноики. Да и еврейские мошенники не поражают воображение своим бесстыдством в сравнении с мошенниками русскими — и те, и другие останавливаются лишь перед физической невозможностью. Но в развитых странах, которые дореволюционная Россия догоняла семимильными шагами, еврейская криминальная изобретательность не составляет заметной проблемы, а кроме того, были бы дырки в заборе, а свиньи будут — этот закон универсален для всех времен и народов. (Заборы же строит и ставит часовых к дыркам, как правило, коренное население...) Но зато уж мошенники никак не могут быть агентами еврейского влияния: национальная, равно как и всякая другая, солидарность принадлежит к числу самых редких мошеннических добродетелей.

И даже равнодушие евреев к международному престижу России в принципе могло послужить ей на пользу — в качестве тормоза против военных авантур: тех ужасов, в которые ввергло Россию патриотическое правительство, не могло бы измыслить и наичернейшее антирусское воображение — Солженицын тоже называет Первую мировую войну «самым неосмысленным безумием XX века», раскрученным «без всякой ясной причины и цели». Поэтому ниоткуда не

следует, что космополитический рационализм опаснее бурного патриотизма: именно страсть, а не расчетливость порождает наиболее губительные безумства. Оскорбленная любовь к родине была мощнейшими дрожжами гитлеризма... И много ли доброго она принесла Германии?

Для реальных интересов подавляющего большинства евреев революция была уж никак не менее опасна, чем для подавляющего большинства русских. Фантомы, или, если хотите, мечты и ценности «идишизма» или «сионизма» тоже вполне могли сожительствовать с русским патриотизмом — каждая сторона могла наслаждаться своей Дульсиной, втихомолку посмеиваясь над уродиной соседа. (Более сильный более громко, более слабый более ядовито.) Фантомы-то, конечно, примирить труднее всего. «Всякий народ до тех пор только и народ... пока верует в то, что своим Богом победит и изгонит из мира всех остальных богов», — эти слова Достоевского, возможно, и до сих пор выражают мироощущение младенческого ядра любого народа. Но, к счастью, в начале XX века даже младенцы — по крайней мере, младенцы западного мира — в большинстве своем победу и изгнание чужих богов уже понимали не в военном смысле, — равно как и сегодняшние младенцы ищут побед не на поле брани (разве что газетной), а в области балета, спорта, космоса, мод, машиностроения и сельского хозяйства, международного престижа, качества жизни и государственного управления: то есть и они преданы своим фантомам не до полной осатанелости. Так что при всем несовпадении народных устремлений мирное сосуществование — сотрудничество плюс соперничество без физического насилия вполне могло эволюционировать и в дореволюционной России.

Если бы не война, даже прямые враги русского народа, сколько бы их ни набралось, ничем серьезным не могли бы ему повредить: физически для русских внутри страны всегда были и будут опасны только русские. Убийство Столыпина, пожалуй, было единственным терактом исторического масштаба, но ведь Столыпин уже и до того был отвергнут «придворной камарильей»? Убийства же отдельных сановников лишь способствовали консолидации консервативных сил. Зато «прогрессивная общественность» террористам аплодировала... Здесь приходится повторить, что евреи лишь

присоединялись к уже существующим фантомам. Возможно и даже скорее всего — с большей страстью и меньшим внутренним противодействием, однако и без них утопические революционные призраки, порожденные «передовой западной наукой», не просто бродили, но прямо-таки маршировали по образованной России с пятидесятых годов. Перечитайте так называемых революционных демократов (которыми зачитывалась и еврейская интеллигенция) — всюду увидите младенческую убежденность, что они всего только несут в нелепую страну некое разумное до очевидности слово науки, в просвещенном мире уже сделавшееся общим местом. «Что там (в Европе. — А.М.) гипотеза, то у русского мальчика тотчас же аксиома, и не только у мальчиков, но, пожалуй, и у ихних профессоров», — Федор Михайлович, как известно, сильно недолюбливал евреев, именуя «жидовской идеей» овладевший, по его мнению, Западом культ корысти, однако самоуверенное верхоглядство он приписал все-таки русским мальчикам, вечно юным русским еропейцам.

В этой младенческой убежденности и жила либерально-западническая верхушка — в убежденности, что ей отлично известно, «как надо», и если бы не бездарность и эгоизм царской администрации... Прибавление щепотки даже самых остервенелых евреев к этой горстке русских умников, русских европейцев не могло существенно изменить ситуацию — пока не всколыхнулось и не остервенилось «народное море». Можно, конечно, доказывать, что именно еврейская соломинка, а не тысяча других сломала хребет российской государственности, но это аргументы уже для маргинальных антисемитов. Я же скажу больше: вступление евреев в либеральные и революционные ряды, возможно, укрепляло их меньше, чем ряды их противников, ибо вызывало недоверие масс к освободительному движению. Я думаю, Жаботинский не совсем сочинял, пересказывая один критический эпизод Первой революции: перед взвинченной толпой, готовой по умелому зову ринуться на твердыни самодержавия, один за другим выступают пламенные еврейские ораторы, и — «Да это какое-то еврейское дело...» — зреет охлаждающая догадка в трезвеющих умах. Вот и национал-коммунистическим друзьям русского народа сегодня следовало бы благодарить еврейских активистов из либерального лагеря за предоставление самого надежного пропагандистского козыря.

Социальная жизнь противоречива и непредсказуема: совершенно неизвестно, кто причинил России больше зла — ее друзья или ее враги. Впрочем, Солженицын и не опускается до обсуждения степени физического участия евреев в раскачивании России. Ему ли не понимать, что стойкость любого народа сосредоточена в его духовной сфере, в преданности своим — чтобы не оскорбить почитателей Солженицына, в данном случае употреблю слово «святыни», — в готовности ради их спасения в минуту опасности снизить претензии друг к другу. Основы практической политики тоже таятся в сфере коллективных мнимостей — в представлениях о коллективных целях, интересах, методах, — и вот их-то, по мнению Солженицына, русские упустили из своих рук в еврейские.

В этом и заключается главный итог книги: «Сила их развития, напора, таланта вселилась в русское общественное сознание. Понятия о наших целях, о наших интересах, импульсы к нашим решениям — мы слили с их понятиями. Мы приняли их взгляд на нашу историю и на выходы из нее.

И понять это — важней, чем подсчитывать, какой процент евреев раскачивал Россию (раскачивали ее — мы все), делал революцию, или участвовал в большевицкой власти».

Звучит чрезвычайно серьезно и ответственно — особенно на фоне либерального ханжества и патриотической клеветы. И все же возьму на себя смелость повторить, что евреи не создали ни одного из ведущих фантомов эпохи, а всегда только присоединялись. Даже к фантому России как дикого нелепого страшилища евреям было трудно что-либо прибавить — столь блистательно и эта работа уже была выполнена русскими европейцами. Да не швалью какой-нибудь — людьми, составляющими гордость этого самого страшилища! «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ!» — с такой силой выкресту не припечатать. Из Чаадаева можно выписывать страницами: и бурной-то поэтической юности у русского народа не было — одна сплошная тусклость, оживляемая лишь злодеяниями и смягчаемая только рабством, и идеалов-то долга, справедливости, права и порядка у русских нет — словом, чего нихватишься, того и нет, а есть исключительно полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи (чаадаевская горечь несомненно продиктована именно

таким равнодушием). И если даже взять славянофилов, ну хоть Хомякова — и у него Россия «в судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена, безбожной лести, лжи тлетворной и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна».

Хорошо, поэты, философы — народ крайностей, но реалистическая-то проза как будто гонится за типическим? Вот вам Потугин из тургеневского «Дыма»: всюду нам нужен барин, у нас и гордость холопская, и самоотречение лакейское, Запад браним, а внутри лебезим, ни одного изобретения не внесли в Хрустальный дворец человечества, даже самовар и лапти откуда-то стянули... Это джентльмен. А вот самородки из бунинской «Деревни»: «Боже милосливый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев? Скажешь, — правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят!» ...«Вот ты и подумай: есть ли кто лютее нашего народа?» — за мелким воришкой весь обжорный ряд гонится, чтобы накормить его мылом, на пожар, на драку весь город бежит и желает только, чтоб забава подольше не кончалась; а как наслаждаются, когда кто-нибудь бьет жену смертным боем али мальчишку дерет как сидорову козу! Учат дураков для потехи рукоблудству, мажут невестам ворота дегтем, травят нищих собаками, для забавы голубей сшибают с крыш камнями... А историю считаешь — волосы дыбом встанут! Брат на брата, сват на свата, вероломство да убийство, убийство да вероломство... И в былинах сплошной садизм — «выпускал черева на землю», и в песнях сплошной сволочизм — «вот тебе помой — умойся, вот тебе онучи — утрися, вот тебе обрывок — удавился»... Вся Россия — дикая, нищая, злобная деревня, — это итоговый символ, а не частная зарисовка. «Пашут тысячу лет, а пахать путем ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать, когда надо сеять, когда косить, хлеба ни единая баба не умеет спечь», — ну что худшего может выдумать самый лютей еврейский ворог?

Правда, интеллигентные либералы осуждали Бунина за очернительство их сказок, но он и в «Окаянных днях» по-

вторял, что все они видели народ только в образе извозчи-
чьей спины. И заключил: «Наши дети, внуки не будут в
состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы
когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не
понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье». Ключевое слово здесь, по-моему, сложность — именно ее-то
и не умеет ценить пошлость, как либеральная, так и ав-
торитарная. С романтических-то поэтов взятки гладки —
их дело судить реальность с высоты идеальной ирреаль-
ности, — только опять-таки пошлость понимает буквально
поэтическую скорбь поруганного идеала, поэтическую боль
оскорбленной любви к родине. Но ведь на пошлости мир
стоит! Немало даже и политических, религиозных утопий
возникло из-за буквального понимания художественного об-
раза, — почему бы неискушенному эстетически сознанию
чужака и не принять это раздирающее ран за медицинскую
констатацию фактов?

Что за русскими самообвинениями чаще всего следуют
какие-то «но» — «но я люблю — за что, не знаю сам», «да,
и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне», «умом
Россию не понять... в Россию можно только верить», — так
нелепо же присоединяться к чувствам, которые и самому
их носителю непонятны. Задуматься, что никакой трезвый
разбор достоинств и недостатков предмета любви в прин-
ципе никогда не сможет эту любовь обосновать, а разве
лишь разрушить, ибо любят не предмет, а фантом пред-
мета, — кто же станет задумываться о таких тонкостях,
когда очевиднейшим образом ощущает мнимость чужих и
подлинность своих ценностей? Однако я вовсе не утверж-
даю, что евреи «приняли» свои русофобские воззрения на
Россию из протоколов русских мудрецов и поэтов, — до
подобных итогов вполне можно прийти самостоятельно,
вглядываясь трезвыми глазами в историю и быт реше-
тельно каждого народа. Допустим, евреи так и поступили.
Но откуда и в этом случае следует, что русские способны
«принять» такой взгляд на свою историю, освободив душу
от всех противоречий любви-ненависти? А не испытать
еще более острую обиду за несчастья и пороки своего оте-
чества и не ощутить еще более мучительное желание что-
то сделать для его блага? Вообще-то, презрение чужаков
к нашим грезам обычно лишь обостряет нашу привязан-
ность к ним — а заодно и отчуждение от их обличителей.

Так что если даже признать самые эгоистические и неприязненные воззрения евреев на русскую историю и выходы из нее, то они очень даже могли не ослаблять, а укреплять русский патриотизм.

Поэтому, на мой взгляд, совершенно невозможно определить отдельный вклад какой-то нации в формирование негативного образа России. Раскачивали ее все, и фантом ее создавали все. И фантом желательного ее будущего, к которому можно прийти за три фантомных дня по прямому фантомному шоссе, тоже творили все — все верхоглядцы «всего цивилизованного мира». Но в России русские занялись этим фантомотворчеством еще тогда, когда евреи носы не показывали из-под власти кагалов и хедеров.

Мне ужасно не хочется оправдывать евреев, мне тоже опротивело и еврейское всезнайство, и еврейское стремление взирать на нашу неразрешимо запутанную реальность с высоты «давно известных всему цивилизованному миру» знахарских трюизмов, — еврейские пошлость и верхоглядство раздражают меня сильнее, чем русские. Потому что примитивизируют и дискредитируют те вещи, которыми в принципе и я дорожу. «Патриотические» пошляки, впрочем, тоже дискредитируют дорогие мне вещи, — слова «совесть», «духовность», «коллективизм» из-за них уже давно вызывают изжогу. Но с этой публики как-то спроса меньше — они ведь и не претендуют на рассудительность и образованность, а напирают больше на душу, на русскую непостижимость (в другом варианте на суровость, но это уж совсем младенцы). А про еврейских умников невольно думается: уж вам-то бы следовало быть умнее, потому что вам больше достанется (кроме уж самых верхних сливок, которым будет куда утечь). Короче говоря, еврейский апломб мне противнее, чем русский. Но опаснее ли он? Вот этого, как ни хотелось бы, сказать не могу. Не могу определить и того, в какой степени пошлость «западническая» и пошлость «исконная» уравновешивают, а в какой раздувают друг друга. А потому уверенность Солженицына в том, что одна сторона способна «слить» свои понятия с понятиями другой, представляется мне, как минимум, недостаточно обоснованной. И, подозреваю, даже и неверной: никто никогда не откажется от собственной экзистенциальной защиты во имя чужой.

Да, в последние лет сто — сто тридцать евреи постоянно примыкали и выбивались на виднейшие места в самых разных, но всегда «прогрессивных», «ультраевропейских» течениях, это правда. И этим их усиливали — но одновременно и ослабляли, вызывая к ним недоверие в патриотической и консервативной (еще какой немалой!) части общества. И какая гирька — левая или правая — оказывалась весомее, установить, я думаю, никогда не удастся. Кроме того, историческое преступление умеренных русских «прогрессистов» заключалось вовсе не в том, что они мечтали о прогрессе, а в утрате чувства реальности: они не желали вглядеться, насколько хрупко здание, где они устраивали свой возвышенный балет. Поэтому решительно ничто не говорит о том, что «прогрессисты» приняли участие в разрушении здания, в котором жили, именно в угоду евреям — в угоду их целям, их интересам. Во-первых, евреям этого вовсе не требовалось (исключая щепотку маргиналов, которых знать никто не знал, покуда здание не рухнуло). А во-вторых, ни с реальной благотворительностью, когда возникала нужда, ни с реальным равенством, когда возникла возможность, «русские европейцы» не спешили, предпочитая держать еврейское неравенство перед миром вечным обличением преступного царского режима (еще и удесятерая его истинные прегрешения — ведь во имя Правды лгать не только дозволено, но и необходимо). Хотя, впрочем, из того факта, что падение царского режима привело и к падению государства, ведь еще кажется, не следует, что всякий, кто подвергал правительство какой-либо критике, был неизбежным пособником большевиков, «лил воду на их мельницу»? («На чью мельницу?» — этот «исказительный оборот» справедливо возмущает Солженицына, когда при его помощи затыкают рты желающим сказать неприятную правду.) Скорее всего, в России зрел и нарывал обычный для истории трагический конфликт, где не бывает правых и неправых: каждая сторона действовала так, как только и могла действовать, как повелевали ей ее химеры. И химера, подчеркиваемая Солженицыным, — «прогрессивно то, что протестует против угнетения евреев, и реакционно все остальное» — для либералов вовсе не была самым могучим стимулом к борьбе, а, подозреваю, у всей «прогрессивной общественности» стояла на 81-м месте, но только Толстой с его ненавистью к лицемерию решился в этом признаться.

«Сочувствие к евреям превратилось почти в такую же императивную формулу, как “Бог, Царь и Отечество”», — цитирует Солженицын известного израильского публициста Александра Воронеля, называя его объективным и прозорливым; но следует ли из этой императивности, что либералы-западники ей следовали более искренне и самоотверженно, чем служили Богу, Царю и Отечеству консерваторы-патриоты? Где примеры — не деклараций, а реальных, серьезных политических жертв русского западничества еврейскому равенству? То есть примеры отступлений от собственных планов, от собственных либеральных и социалистических моделей, выработанных просвещенной пошлостью «всего цивилизованного мира»? Я задаю этот вопрос без малейшего желанья кого бы то ни было подкузывать, и менее всего — Александра Исаевича Солженицына. Упрек Бердяева всему левому спектру — ваша борьба за права евреев не хочет знать евреев — на самом деле констатирует совершенно естественный факт: если отдельные личности еще бывают способны на жертвенность, то корпорации — никогда, и народы могут идти на жертвы исключительно во имя собственных иллюзий.

Я повторяю без всякого яда: ни один народ не обязан жертвовать собой для другого, но, по-моему, никто этого никогда и не делал в сколько-нибудь серьезных масштабах. Однако я действительно недостаточно хорошо знаю русскую историю начала века, и если мне укажут, какие важные ошибочные шаги совершил русский либерализм именно ради евреев, а не из-за собственного верхоглядства и позерства, — я буду искренне признателен. Но неужели же это специфически еврейская черта — бесшабашность, доходящая до полной утраты элементарного чувства реальности, до полной утраты инстинкта самосохранения? Обычно евреев склонны обвинять в грехах противоположных... Солженицын же вот как рисует роковое начало Первой мировой войны — роковое и для русских, и для евреев: «И русская, и еврейская общественность и пресса оставались вполне преданы Победе, даже первые раззадорщики ее, — но только не с этим правительством! не с этим царем! Они были в запале все того же уверенного соображения, с которым начали войну, простого и гениального: еще на ходу этой войны (а то потом будет трудней) и непрерывно побеждая Германию, —

сбросить царя и сменить государственный строй. А тогда — наступит и еврейское равноправие». (Вроде бы и так уже готовившееся на Пасху 1917-го.)

Что в этом бреде — фантомном мире — принадлежит русским, а что евреям, — мудрый Эдип, разреши, а мне было бы проще частички влаги из единого облака разделить по водоемам, из которых они испарились. Правда, по моим личным впечатлениям, самоуверенная пошлость и верхоглядство в еврейском исполнении чаще окрашены теми «общечеловеческими» принципами, по которым не живет и не может жить ни одна страна в мире. Но более ли опасен, повторяю, именно этот вид упрощительства, чем истинно русские разновидности оного? И если даже допустить излишек еврейского влияния на русские умы, то говорить можно лишь о воздействии еврейских пошляков на пошляков русских: серьезные русские люди называли «прогрессивные» газеты и журналы журналами для детей. Но ведь, освободившись от еврейского влияния, русские пошляки и верхогляды западнической штамповки — они что, перейдут под власть разума и ответственности, а не под власть какой-то иной пошлости?

«Простота против неразрешимой сложности» — под этим лозунгом идут на штурм социальной реальности пошляки, они же утописты, всех сортов — либеральные, авторитарные, националистические, космополитические, — и либерально-западническая пошлость в этом ряду, может быть, и раздражает-то прежде всего потому, что не внушает истинного ужаса.

Хотя в конечном итоге предпочтение тех или иных сортов примитивности есть дело вкуса, — персонально мне трудно сделаться болельщиком за какой-то один из них, я предпочел бы перемещение не от одного утопизма к другому, а к мировоззрению трагическому, которое понимает, что опасности подстерегают нас не с какой-то одной, а буквально со всех сторон. Избыток патриотизма опасен, но опасен и его недостаток; ровно то же можно сказать и о масштабах государственного влияния, и о любых формах международной конкуренции, и обо всем прочем вплоть до предметов самых священных. Но где граница между социально полезным и социально вредным, человеку знать не дано, он обречен действовать

на свой страх и риск и вечно нести ответственность за последствия, так и не зная, прав он был или не прав. Вернейший же признак неправоты — уверенность в своей правоте.

И если Солженицын, на мой взгляд, преувеличивает важность еврейского влияния на русские умы, то выводы, к которым, мне кажется, подводит его книга, достойны самого серьезного отношения. Рискну сформулировать их в виде трех посланий.

Послание к евреям:

Не стоит слишком уж открыто презирать чужие химеры — это озлобляет их почитателей, а вам не приносит ни малейшей пользы: недостаток русского патриотизма для вас так же опасен, как его избыток. Тем более что избыток чаще всего и является реакцией на временный недостаток.

Послание к русским:

Берегите собственные святыни, вместо вас этого не будет делать никто. Прежде всего потому, что они в глазах посторонних и не могут иметь никакой ценности.

Послание ко всем:

В борьбе за свои права внутри государства опасайтесь обрушить его на свои головы. И помните, что невозможно нанести ущерб правительству, не нанеся ущерб стране. Агрессия всегда есть ответ на угрозу, и в государстве, не испытывающем страха за свое существование, в конце концов неплохо устраиваются и меньшинства, и большинства. Страшитесь прежде всего внушать друг другу страх.

Не знаю, согласится ли под этими посланиями поставить свою подпись сам Солженицын, но я понял его именно так.

О национальной стыдливости великороссов

После выхода моего романа «Исповедь еврея», сочтя меня, вероятно, специалистом по антисемитизму, ко мне обратилась прелестная финская корреспондентка с изумившим меня вопросом — антисемит ли Солженицын. Я ответил, что Солженицын — человек идеала (мира высоких мнимостей),

а потому может ненавидеть разве что враждебные его идеалу принципы, но никак не конкретных людей без разбора их личных дел. Кажется, девушка была разочарована, однако и сейчас, по прочтении солженицынских «Двухсот лет вместе» мне практически нечего прибавить. Да, Солженицын любит ту Россию, какой он ее видит, и еще более ту, какой он мечтал бы ее видеть. Вместе с тем он любит и справедливость, а та справедливость, для которой он открыт, говорит ему, что в начале XX века отношения русских с евреями сложились очень уж не «обоесторонне» в пользу евреев — не в области опять же материальной, а в области ценностей и принципов: «Еще с разгара XIX века, а в начале XX тем более — русская интеллигенция ощущала себя уже на высокой степени всеземности, всечеловечности, космополитичности или интернационалистичности (что тогда и не различалось). Она уже тогда во многом и почти сплошь отреклась от русского национально-го. (С трибуны Государственной думы упражнялись в шутке: “патриот-Искариот”).»

А еврейская интеллигенция — не отреклась от национального. И даже закрайние еврейские социалисты старались как-то совместить свою идеологию с национальным чувством. Но в это же самое время не слышно было ни слова от евреев — от Дубнова до Жаботинского и до Винавера — что русской интеллигенции, всею душой за угнетенных братьев, — можно не отказываться от своего национального чувства. А по справедливости, такое должно было бы прозвучать. Вот этого переклона тогда никто не понимал: под равноправием евреи понимали нечто большее».

Возможно, кто-то и желал вместо равенства прав чего-то большего — утопическим фантазиям закон не писан. Но вполне возможно и то, что еврейским лидерам просто не приходило в голову отстаивать права доминирующей, имперской нации. И это с их стороны непростительное упущение: такого рода расшаркивания абсолютно необходимы с обеих сторон, если даже это будут ни к чему реальному не ведущие слова. Слово политика — это чуть ли не главное его дело: дело национальных вождей формировать прежде всего возбуждающие или умиротворяющие коллективные фантомы, остальное сделают профессионалы, «спецы» безразлично какой национальности.

Еврейским лидерам стоило бы извлечь «своесторонний» урок из мужественных откровенностей И. Бодуэна де Куртенэ, опубликованных в захлебисто (невольно впадаю в солженицынскую лексику) филосемитском сборнике «Щит» (1916 г.): «Многие, даже из стана “политических друзей” евреев, питают к ним отвращение и с глазу на глаз в этом сознаются. Тут, конечно, ничего не поделаешь. Чувства симпатии и антипатии... не от нас зависят». Однако — нужно руководствоваться «не аффектами, [а] разумом». Если русские могли ощущать себя «на высокой степени всеземности, всечеловечности, космополитичности или интернационалистичности», питая при этом тайное отвращение к евреям, почему бы и евреям не руководствоваться не аффектами, а разумом? Для консолидирующей, имперской нации демонстрация «всеземности» и есть наиболее разумная политика: объединяя народы вокруг себя, конечно же, лучше всего делать вид, а еще лучше — верить, что никаких национальных интересов у тебя нет, а хлопочешь ты исключительно в пользу всечеловечества. Объединяемые же меньшинства, словно гости за грузинским столом, должны отвергать такое великодушие и уговаривать хозяина не раздаривать все добро гостям, а сохранить и для себя хотя бы крышу над головой.

Реальную же привязанность хозяина к дому могут открыть лишь те жертвы, на которые он пойдет в минуты реальной опасности для своего очага. Насколько равнодушно русская интеллигенция встретила мировую войну, с какой легкостью приняла поражения, аннексии, с какой готовностью, находясь в составе разных эфемерных правительств, раздавала независимость оказавшимся под ее рукой национальным территориям, насколько легко забыла о России в эмиграции, предавшись исключительно устройству личных либо каких-то общечеловеческих дел, — только это и говорит о подлинном уровне ее патриотичности. И очень многое мне подсказывает, что уровень этот не столь уж слабо возстаивал над уровнем моря всеземности, — судя по очень уж многому, русские интеллигенты под слоем утопического позерства в большинстве своем были нормальными людьми, то есть патриотами.

Принадлежа к имперской нации-гегемону, не размахивать своим патриотизмом — это, повторяю, не только тактично,

но и целесообразно. А главное, когда ни правам, ни достоинству нации ничего не угрожает (весь национальный позор представляется лежащим целиком на правительство) — нормальные люди чаще всего даже и не замечают своей национальной солидарности, — так здоровый человек может не подозревать, что у него есть селезенка. Как границы нашего тела мы наиболее убедительно ощущаем через боль от столкновения с внешними предметами, так и границы нашей национальной солидарности острее всего ощущаются через столкновение с другими нациями. Скорее всего, именно из-за нехватки достаточно болезненных для ее национального чувства столкновений русская интеллигенция так поздно задумалась над своей национальной задачей — как национальной, а не общегосударственной. «Когда недержавные национальности стали самоопределяться, явилась необходимость самоопределения и для русского человека» — эту и доньше актуальную мысль опубликовал в либеральной газете «Слово» во время «исторически важной полемики» 1909 года одобрительно цитируемый Солженицыным умный публицист В. Голубев. «Прежде, чем быть носителем общечеловеческих идеалов, необходимо поднять на известную национальную высоту самих себя», — для русского либерализма это было далеко не банально. И хотя выражение «национальная высота» довольно туманно, в том, что возвышенные декларации из уст народа презируемого будут встречены скептически, если вообще будут услышаны, — в этом сомневаться трудно. Миролюбие бессильного, бесребреничество нищего международным уважением пользоваться не будут. Не замалчивать особенностей русских людей — это совсем не значит подавлять другие национальности, спешил оговориться В. Голубев, но — между национальностями должно быть «соглашение, а не слияние». От слияния к соглашению — очень разумный переход, когда слияние (слияние национальных фантомов) оказалось невозможным: деликатно не замечать национальности можно лишь до тех пор, пока и национальности согласны себя не замечать. Но характерно, что столь масштабные раздумья явились результатом «раздутого, расславленного “чириковского эпизода”». Чириков в литературном застолье неосторожно задумался вслух, а способны ли рецензенты-евреи (большинство петербургских рецензентов) вникнуть в русские бытовые эпизоды? Спокойный ответ мог быть, например, таким: еврейские читатели способны понимать русских

писателей, минимум, в той степени, в какой русские читатели понимают Сервантеса, Диккенса, Флобера и Марка Твена. Тем не менее с одной стороны посыпались обвинения в антисемитизме, а с другой — чрезвычайно чтимый Солженицыным П. Б. Струве веско констатировал, что этот случай, который будет скоро забыт, вывел на свет важное явление: русская интеллигенция безнужно и бесплодно прикрывает свое национальное лицо, меж тем как его нельзя прикрыть. Национальность есть нечто гораздо более несомненное, чем раса и цвет кожи, — это духовные притяжения и отталкивания, которые живут и трепещут в душе. Можно и нужно бороться, чтобы эти притяжения-отталкивания не вторгались в строй государственных законов, но они — органическое чувство национальности, и П. Б. Струве не видит ни малейших оснований отказываться от этого достоинства в угоду кому-либо и чему-либо.

В правовой области, уточняет Струве, еврейский вопрос очень легок: дать евреям равноправие — да, конечно. Но в области притяжений-отталкиваний все гораздо сложнее. Сила отталкивания от еврейства в самых различных слоях населения очень велика — при том, что из всех «инородцев» евреи русским всех ближе, всех теснее с ними связаны. Русская интеллигенция всегда считала евреев своими, русскими, и сознательная инициатива отталкивания от русской культуры, утверждения еврейской национальной «особности» принадлежит не ей, а сионизму. (Что, я думаю, следует признать истиной — не забывая, однако, того, что полное включение в русскую культуру означало бы исчезновение еврейского народа. — А. М.) И вот еще трудность: нет в России других «инородцев», которые играли бы в русской культуре такую роль — но «они играют ее, оставаясь евреями».

Из этого факта Струве не делает никакого практического вывода, лишь повторяет: не пристало нам хитрить с русским национальным чувством и прятать наше лицо; чем ясней это будет понято, тем меньше в будущем предстоит недоразумений.

«И правда бы, — комментирует Солженицын. — И очнуться бы всем нам на несколько десятилетий раньше. (Евреи и очнулись много раньше русских.)» И со сдержанным не-

годованием пересказывает ответное «учительное слово» Миллюкова: «Куда это ведет? кому это выгодно? “Национальное лицо”, да которое еще “не надо прятать” — ведь это же сближает с крайне-правыми изуверами! (Так что “национальное лицо” надо прятать.)»

Но Струве настаивал на своем: и самим евреям полезно увидеть открытое «национальное лицо» русского конституционализма и демократического общества, для них совсем не полезно предаваться иллюзии, что такое лицо есть только у антисемитического изуверства. Это «не Медузова голова, а честное и доброе лицо русской национальности, без которой не простоит и “российское” государство».

В последнем, я полагаю, Струве прав: при том количестве социальных и национальных конфликтов, от которых трещала по швам предреволюционная Россия, без русского (имперского!) патриотизма непонятно что еще могло послужить добровольной консолидирующей силой. Но прятать национальное лицо — что это, собственно говоря, означает? Как уж так русское демократическое общество его прятало? Что оно, стыдилось русского языка? Бегало в церковь украдкой, тогда как страшно хотелось торжественно шествовать туда во главе семейства? Не смело произнести имя Пушкина или похвалить патриотическую «Войну и мир»? Стыдилось хоть в чем-то поддержать правительство? Но это уж, скорее, от стыда перед своими символами веры, чем перед инородцами. Господи, да какой инородец сумел бы превзойти в антиправительственном, антигосударственном, антинациональном, антицерковном пафосе русского гения графа Толстого! Пожалуй, именно это и было национальной традицией русских европейцев — пребывать в заблуждении, что именно они-то и выражают истинные нужды народа, то есть и являют собою истинное национальное лицо. Скрыть национальное лицо, я подозреваю, просто-напросто невозможно: что ты показываешь миру, то и есть твое лицо. И пока русская западническая демократия была уверена, что говорит от лица всей многонациональной России, она имела одно выражение лица. А когда поняла, что заблуждалась, — и выражение это начало меняться. Причем неизвестно, к лучшему или к худшему: государствообразующей нации слишком подчеркивать свои особенности, как это делают малые нации, вредно для ее консолидирующей роли.

При том, что — честное слово, я действительно не могу взять в толк, что же такого важного для судеб России, словно мусульманская женщина на приеме у врача, прятала на своем национальном лице русская прогрессивная общественность. Ведь прятать означает иметь, но не показывать, — однако и «Двести лет вместе», и «Красное колесо» убеждают в другом: русские прогрессисты в большинстве своем прежде всего не имели реалистической модели реформирования России и не догадывались, что играют с огнем. И ликовали они при падении самодержавия, оставившего их один на один с остервеневшими массами, в детском убеждении, что нынче все заодно, то есть скорее в патриотическом ослеплении, чем в национальной застенчивости.

Двойные стандарты и народное перевоспитание

В твердом уповании на невозвратность тоталитаризма не стану страха ради иудейска заверять скептически поглядывающую власть и самого себя в том, что все граждане России одинаково патриотичны независимо от их национальной принадлежности. Лучше еще раз повторюсь, что современному государству совсем не требуется к законопослушности граждан присоединять еще и поголовный патриотизм — тем более что избыток патриотизма никак не менее опасен, чем его недостаток. И, однако же, нарастание патриотизма в его наименее конструктивной форме «обиды за державу» и желания нанести ответную обиду я все чаще и чаще встречаю среди людей вполне интеллигентных и даже евреев — среди тех, кто во время перестройки беззаветно выступал за все хорошее: за сближение с Америкой, за вывод войск из Восточной Европы, за освобождение Прибалтики — о преданности демократии, гласности и рынку я уже не говорю. Чувства этих «разочарованцев», вероятно, в предельной остроте переживает какой-нибудь непутевый пацан, с жаром ринувшийся на путь исправления и через месяц обнаруживший, что теперь его распекают за кляксу в тетради едва ли не более строго, чем еще недавно за проломленную голову. Ну а если он и с самого-то начала каялся больше из великодушия... Нет, он не согласен так долго оставаться хуже всех!

Кто ближе к истине, он или его порицатели, обсуждать бессмысленно, ибо и в том, и в другом случае речь идет не о реальном индивиде, а о его фантоме (ну а если каждого судить по всей строгости, никто бы не избежал плетки). Однако умные педагоги знают, что ребенка (а народы — вечные дети) удерживает от дурных поступков прежде всего хорошее мнение о себе, а потому позитивную самооценку у воспитуемого стараются сформировать раньше, чем придут реальные заслуги, ибо без нее они никогда не придут: для того, кому нечего терять ни в мнении окружающих, ни в собственном мнении, единственным тормозом остается угроза насилия — розги, карцер...

Впрочем, всегда были и есть воспитатели, которые лишь эти средства и считают по-настоящему надежными — и тоже кое-чего иногда добиваются. Забитости. Это тоже вещь неплохая, по крайней мере, для безопасности окружающих. Только для ее достижения необходимо внушить воспитуемому уверенность в неодолимом могуществе воспитателя.

Индивидам такую уверенность внушить с трудом, но иногда удается — народам же никогда, ибо для них факты почти совсем уж ничего не значат в сравнении с коллективными фантомами, которые и обеспечивают народам их выживание. Эти-то фантомы и осуществляют отбор, интерпретацию и преобразование фактов в пользу собственного укрепления. А потому те российские граждане, кто живет с крепнущим чувством «Да чем другие-то лучше?!», с особым удовлетворением прочтут солженицынские «Двести лет вместе» в тех частях, где он касается проблемы двойных стандартов («другим можно, а нам нельзя»).

Всячески одобряя еврейскую национальную сплоченность, Солженицын лишь огорченно прибавляет: вот бы и нам, русским, так. (Но нам и малую долю ставят в отвратительную вину...) Бегло обрисовывая европейский фон русско-еврейской драмы в XIX веке, Солженицын перечисляет ряд авторитетных источников, отмечающих «значительное усиление неприязни к евреям в Западной Европе, где она, казалось, быстрыми шагами шла к исчезновению». Даже в Швейцарии еще в середине века евреи не могли добиться свободы поселения в кантонах, свободы торговли и «занятия промыслами». В Венгрии старая земельная аристократия

в своем разорении обвиняла евреев. В Австрии и Чехии мелкая буржуазия боролась с напором пролетарской социал-демократии под антисемитскими лозунгами. Во Франции, наоборот, социалисты под антисемитскими лозунгами напирали на буржуев. Словом — закон, общий и для России, и для Европы: торгово-промышленной либерализации сопутствует и усиление еврейского участия — которое многими принимается за причину социальной ломки. В результате ненависть к евреям складывается как из обиды обойденных социальных групп, так и из страха доминирующих наций утратить свое доминирование, и то там, то здесь прорывается иногда и в опасных формах. («И однако: передо всем миром дореволюционная Россия — не Империя, а Россия — клеймена как погромная, как черносотенная, — и присохло еще на сколько столетий вперед?»)

Среди множества «заступчивых всесторонне и исключительно за евреев» призывов и заверений сборника «Щит» (1916 г.; под ред. «звонких» Л. Андреева, М. Горького и Ф. Сологуба) Солженицын не случайно приводит актуальное для многих и ныне сетование Леонида Андреева: мы, русские — «евреи Европы, наша граница — та же черта оседлости». Рядом приводятся и замечания безупречно либеральных и возвышенно мыслящих авторов сборника (П. Милюков, Ф. Кокошкин, Вяч. Иванов) о заграничном происхождении идеологии «научного» антисемитизма: доктрина о превосходстве арийства над семитизмом — «германского изделия».

Разумеется, в ту пору никто не мог и помыслить, сколь кошмарные последствия будет иметь эта доктрина (все-таки, кажется, не «присохшая» к Германии на столетия вперед), но Солженицын, по-видимому, желает подчеркнуть, что эти чудовищности не обрушились с кроткого безоблачного неба вместе с невесть откуда взявшейся чудовищной личностью Гитлера: с конца семидесятых годов XIX века требование ограничить права евреев, а заодно запретить их иммиграцию в Германию, начавшись с кругов консервативных и клерикальных, «охватило и интеллигентные круги общества»: «Нынешняя агитация правильно уловила настроение общества, считающего евреев нашим национальным несчастьем» (Генрих фон-Трейчке). «Евреи никогда не могут слиться с западно-европейскими народами» и выражают ненависть

к германизму — примерно то же самое писали русские антисемиты с заменой германского и западно-европейского на русское и славянское. Однако они обвиняли только еврейскую религию, еврейский образ жизни, не додумавшись до идеи биологического предопределения: «Евреи не только нам чуждая, но и врожденно и бесповоротно испорченная раса» (Е. Дюринг — тот самый, который «Антидюринг»).

Но это все копилось среди наций-гегемонов, нации же поработанные наверняка были снисходительнее к другим угнетенным? В Польше подчинение ее России лишь усилило традиционную неприязнь к евреям — теперь уже как к проводникам русской культуры. А о таком гнете над евреями, как в Финляндии, по свидетельству Жаботинского, «даже Россия и Румыния не знают»: «Первый встречный финн, увидев еврея за городом, имеет право арестовать преступника и представить в участок. Большая часть промыслов евреям недоступна. Браки между евреями обставлены стеснительными и унижительными формальностями... Постройка синагог крайне затруднена... Политических прав евреи лишены абсолютно».

Если даже все это и чистая сионистская пропаганда, можно с облегчением констатировать, что к репутации Финляндии от нее ничего не присохло. Причем Солженицыну этого совершенно и не требуется, он желает только показать, что с Россией европейское общественное сознание обошлось несправедливо. И он совершенно прав. С тем уточнением, что и любой другой образ — фантом — Финляндии или России был бы несправедлив, ибо тоже создавался бы не фактами, — вернее, отчасти, конечно, и фактами, но из их необозримого океана господствующие фантомы все равно отбирали бы только нужные, перекрашивая и дополняя их для формирования им удобных новых фантомов. Фантомы, творимые фантомами, — никаким иным общественное мнение быть не может. Так что идти с фактами против фантомов — только укреплять их, ибо здоровому фантому, как и доброй свинье, все пойдет впрок: какими фактами его ни корми, он всегда сумеет трансформировать их так, чтобы превратить негодный ему объект в источник величайшей опасности, а удобный — в отраду и надежду человечества. Советскому Союзу в пору его самых страшных преступлений с рук сходило все, хотя, как подчеркивал сам Солженицын,

в его «Архипелаге» не было ничего, что уж не раз не кричалось бы в уши благороднейшим умам Европы: во время массового голода, массовых репрессий передовые писатели катались по Союзу и ничего не видели. Но вот когда Россия наконец предприняла долгожданную — рядовую по иллюзорности и невероятную по трудности попытку порвать с тоталитарной моделью, глаза и уши прогрессивного европейского человечества наконец-то открылись...

Вот вроде бы и ответ, почему одинаковые поступки разных субъектов оцениваются по-разному: да сквозь фантомное облако они и видятся разными.

Но здесь пора наконец перевести дух и покаяться в некоторых полемических чрезмерностях. Полтора века в бессилии следить за чередой господствующих над «передовыми умами» Европы пошлейших представлений о человеке как существе рациональном и прагматическом — руководствующемся реальными фактами и стремящемся к реальной выгоде (коллективной или индивидуальной, только в этом ведь и расходится коммунистическая модель с индивидуалистической), — такое издевательство над сложностью может загнать в противоположную монофакторность: миром правит не выгода, а выдумка. На самом же деле человек существо не рациональное и не иррациональное, а трагическое — то есть обреченное вечно разрываться между равно необходимыми противоборствующими потребностями. И душа его всегда будет требовать чего-то иного, чем реальность. Тем не менее и реальные факты, и материальные интересы, хотя и осязаемые сквозь искажающее фантомное облако, свою немалую роль, конечно же, играют. А настаивать на противоположном побуждает не только нескончаемый диктат псевдоматериалистического верхоглядства, но и постоянное мелькание на телеэкранах и в прессе неизъяснимо благородных личностей, уж совсем свободных от прагматизма — от заботы о реальных последствиях (которые, хотя и не всегда, приходится расхлебывать другим).

В этом отношении у благородных людей совсем не бывает совести — им желательно только тешить свои убеждения, как они именуют приятные им иллюзии. Но у руля обычно стоят все-таки люди прагматичные, насколько прагматизм вообще доступен человеку, — им-то, по крайней мере

в принципе, желательно знать правду. Да что там, даже среди интеллигентов попадаются не только благородные, но и честные люди, старающиеся разглядеть реальность сквозь толщи фантомов. Первый же признак интеллектуальной честности — собирать аргументы в пользу обидчика тщательнее, чем в пользу единомышленника. И тем, кто обижен за державу, я предлагаю заняться этим прямо сейчас.

Обычно, уличая Запад в применении различных критериев по отношению к своим любимчикам и по отношению к России, обиженные молчаливо предполагают, что двойных стандартов быть не должно вообще, — с чем я категорически не согласен. Когда какой-нибудь демагог, чувствуя некоторую недоброкачественность своего электората, грозно вопрошает: «У нас что — есть граждане первого и второго сорта?!» — не на площади, но в узком кругу (скажем, таком, как сейчас), я готов со всей откровенностью заявить: да, есть граждане первого, а есть второго, третьего, одиннадцатого и пятьсот тридцать восьмого сорта. Есть граждане, у которых преобладают паразитические наклонности, есть граждане, желающие служить только собственной зависти, есть безответственные, ищущие в политике прежде всего развлечений, есть фашиствующие всех цветов радуги, стремящиеся оставить неугодных им граждан вовсе без гражданских прав, — хранить для подобных господ универсальный принцип «один человек — один голос» можно разве что с горя, в качестве наименьшего зла, по возможности не давая ему разрастись, то есть всеми законными способами умеряя влияние деструктивно настроенных граждан (делая при этом вид, будто считаешь их первосортными). Однако когда это зло из наименьшего грозит сделаться наибольшим — когда низкосортные граждане готовы привести к власти уже не просто очередного мошенника или шута, но фюрера или аятоллу, — разумеется, не следует покорно класть страну к его сапогам или там чувякам во имя какого бы то ни было монопринципа. Мир трагичен, то есть противоречив, политические решения должны рождаться в борьбе, самое меньшее, трех противоречащих друг другу принципов — закон, нравственность, целесообразность, и абсолютный приоритет каждого из них порождает собственную (по-своему губительную) ветвь утопизма, при помощи которого человек не мытьем, так катаньем пытается сложить с себя ответственность за свой выбор. На который он,

однако, обречен. Обречен принимать решения и никогда не знать, правильно он решил или неправильно.

Ровно то же, что и о гражданах, можно сказать о народах и государствах. Не ставя ни на одном никакого вечного клейма, приходится, однако, признать, что некоторые из них на сегодняшний день грозят миру многими бедами, — и если Запад следит за опасными соседями (а сегодня соседи все) вдесятеро придирчивее, он лишь проявляет похвальную предусмотрительность.

Так что миру совершенно необходимы двойные, тройные и так далее стандарты. Другой вопрос — под какой из них лучше подводить Россию с точки зрения целесообразности? (С точки зрения идеального закона равны все, с точки зрения высокой нравственности все отвратительны.) Нет сомнений, внешне нужно делать вид, что, кроме уж явных безобразников, все члены мирового сообщества сплошь высшего сорта, — но на уровне правительств такой вид более или менее и делается. А вот о чем ответственные лица говорят в узком кругу, а лица безответственные во всеуслышание... Именно потому, что нам это неприятно, постараемся отыскать в их предполагаемых мнениях максимальную долю истины.

Ну так вот, положи руку на сердце: неужели же мы всерьез думаем, что Россия для Запада ничуть не более опасна, чем Англия, Франция, Германия или Эстония? Уж мы-то — возможно, еще и недостаточно хорошо — знаем, сколько в наших недрах таится непредсказуемых и слабоконтролируемых реваншистских сил. При наличии очень крупных сил материальных. Разумеется же, наши соседи станут принимать против них меры предосторожности. В частности, поддерживать бдительность своего населения, без одобрения которого невозможны и государственные меры. Я-то надеюсь, что российские граждане наиболее приемлемых для меня сортов сумеют удержать неприемлемых в узде, но не может ведь Запад целиком положиться на нас.

Правда, поддерживая бдительность в своих рядах, он этим же одновременно усиливает и напряжение между Западом и Россией, и напряжение внутри России — но кто тут взвесит, какое зло меньше? Непредсказуемость — вторая

неустрашимая компонента трагичности социального бытия: достигнутый результат всегда тонет в лавине побочных следствий. Нам-то кажется — мы же знаем, какие мы хорошие! — что с нами чем ласковее, тем лучше: вот еще совсем недавно фантом «Запад мечтает нас принять в свои объятия», соединившись с рядом других причин, добил Советский Союз, — неужели же этот фантом уже отработал свое? Да фантом-то, пожалуй, мы и не прочь сохранить, мог бы ответить какой-нибудь даже и благорасположенный, но осторожный представитель Запада, — так ведь для этого сегодня уже нужны ежедневные конкретные подтверждения нашей приязни, одни из которых мы исполнить не в силах, а другие — кто-то их хочет, а кто-то не хочет. Есть влиятельные люди, которые в России видят нежелательного конкурента, есть люди, чья профессия заключается в том, чтобы негодовать, ну а есть даже и весьма серьезные государственные мужи и жены, которые вообще считают международные отношения не такой сферой, где возможны доверие и снисходительность. «В мире не должно быть стран, которые хотели бы причинить нам ущерб» — эта цель представляется им недостижимой и шаткой; «в мире не должно быть стран, которые могли бы причинить нам ущерб» — эта ситуация представляется им единственно надежной. Они сторонники строгости по отношению не к одной только России, и никто за целые столетия еще не сумел убедить их, что они не правы. А это означает, что они по-своему правы, как решительно каждый был, есть и будет прав по-своему, под небосводом собственных химер. Тем более что если, как уверяет Солженицын, ни одной нации не дано судить другую, то нельзя осуждать и ничей суд над собой, будь он хоть строгим, хоть снисходительным.

«Пусть злятся, лишь бы не усиливались» — для тех, кто пребывает вне нашей страны, и такой принцип может счесть наиболее разумным. Но что он сулит нам, тем, кто внутри? А еще точнее — русским европейцам и особенно евреям, живущим в России? Да ясно, что ничего хорошего, ибо нарастание обиды против Запада неизбежно обернется против западников, а в особенности евреев, которые, хотя бы они того или нет, всегда будут ассоциироваться с западными ветрами. (Весьма часто давая к этому и поводы.) А имеет ли евреям смысл присоединяться к мерам воспитания строгостью, требовательностью, если они

действительно восторжествуют снаружи? Истинная дружба не в попустительстве, а в требовательности, как нас учили в школе, но тем не менее все народы на земле предпочитают попустительство. Участие в перевоспитании русского народа не принесет ничего хорошего ни евреям-воспитателям, ни русским-воспитуемым. Не имеет никакого значения, насколько обоснованны будут обвинения против России, — свой негативный образ никакой народ принять не может, не перестав существовать. Самокритичность в принципе исключается теми началами, которые создают и сохраняют народ — разве что он сумеет и эту самокритичность возвести в новое достоинство. Нацию создают и сохраняют лишь воодушевляющие, но никак не унижающие фантазии.

Какая-то часть населения, разумеется, может принять и самую уничтожающую критику, но все это будут взрослые люди, отпавшие от младенческого ядра, которое главным образом и хранит народ как целое, не разрушаемое сменой поколений. А следует ли даже Западу желать поголовного повзроления, то есть исчезновения русского народа — весьма сомнительно: ослабление русского младенческого ядра откроет дорогу другим силам, возможно, еще более непредсказуемым. Но все это из области неосуществимого, в реальности же младенцы никогда не примут никаких обличений от гражданина сомнительной преданности, как ревнивая женщина не примет никаких замечаний от супруга, если хоть на волос сомневается в его любви. «Он меня не любит» — единственный вывод, который она сделает из наитщательнейше обоснованных его требований — и, боже, как часто она оказывается права! Обличения могут пойти народу на пользу лишь в тех редчайших случаях, когда они исходят из уст всенародных любимцев, в ответной любви которых не может быть и тени сомнения, — такие любимцы всегда исчисляются штуками.

Но если какое-то лицо сомнительного происхождения тем не менее считает своим долгом или, уж во всяком случае, правом вслед за Лермонтовым, Чаадаевым, Буниным, Щедриным и Шендеровичем воспитывать русский народ горькими истинами и сарказмами, — это лицо должно понимать, что его обличения могут иметь эстетическую и научную ценность, доставлять автору моральное и материальное удовлетворение, но воспитательный их эффект — именно для на-

рода, а не для отдельных, уже и без того перевоспитанных частных лиц — будет отрицательным. Ибо все недовольные ими лица сомнительного происхождения младенцами воспринимаются как агенты — дай бог, если только западного, а не жидомасонского влияния, — а в ком не прячется младенец! Хорошо еще, если взрослые сумеют заставить младенца игнорировать обиды, а не мстить. (Я понимаю, что говорю на ветер, ибо с еврейской жаждой воспитывать может соперничать лишь русская жажда жить своим умом, — но в данном случае во мне возобладала первая.)

Нарастание младенческих обид пойдет во вред и русским, и евреям, поскольку реальные интересы и тех, и других в сегодняшней России не так уж расходятся, ибо прийти к процветанию по отдельности не удастся ни тем, ни другим. В неблагополучной России даже самые процветающие евреи будут чувствовать себя на пороховой бочке, а неблагополучие евреев для России тоже будет индикатором общего неблагополучия — индикатором противостояния Западу, а следовательно сближения — лучше к ночи и не поминать, с какими режимами.

Ну и, разумеется, при психологическом дискомфорте коренной нации — евреям автоматически будет отведена роль козлов отпущения. Исследование Солженицына проникнуто искреннейшим желанием понять и другую сторону — но даже из него можно усмотреть, что и у добросовестнейших русских патриотов все равно складывается впечатление, будто десятилетиями шатающиеся по Европе призраки «вселяются» в русское общественное сознание не как самостоятельная сила, а как сила еврейская, «сила их развития, напора, таланта».

А поскольку сила противодействия обычно превосходит силу действия, подобным смещением акцентов наверняка обладает и духовное зрение даже наиразумнейших еврейских патриотов. Только ради бога не подумайте, что и я приверженец этой мудрости: «патриотизм — последнее прибежище негодяев»; любая мудрость погибает в тот миг, когда ее начинают повторять пошляки. Негодяи всегда собираются в наиболее сытых и безопасных местах — пусть мне кто-нибудь докажет, что сейчас или когда-нибудь искренним русским или еврейским патриотам жилось более

сытно и безопасно, чем шкурникам: если исключить психопатов, то искренними патриотами гораздо чаще бывают хорошие люди, а паразиты никогда. Что благими патриотическими намерениями вымощены многие пути в ад — это уж так устроен наш трагический мир: зло рождает добро, а добро — зло независимо от воли творящих. И сегодня русские и еврейские патриоты, каждый сквозь свои фантомы, видят этот мир настолько по-разному, что все попытки объясниться поведут лишь к новым обидам. А потому лучшее, что они могут сделать, — на время забыть друг о друге.

Умные, добросовестные люди еще, пожалуй, и могли бы побеседовать — но ведь это всегда происходит при детях!.. А откровенные разговоры об отношениях наций — это не для детских ушей. Детям нужны только успокоительные поглаживания: вы великий и в конечном счете непобедимый народ, а потому будьте снисходительны к тем, кому не так повезло, щадите их жалкие мнимости. «Не будем отнимать у несчастных их последнее утешение» — только под этим девизом младенцы всех наций сумеют ужиться друг с другом.

ЗАВАЛ ОБИД НА ПУТИ К ОБЩЕЙ СКАЗКЕ

В уяснении

Я уже очень давно не верю во всеисцеляющую силу истины — если бы даже она каким-то чудом оказалась кому-то известной и выразимой во всей своей точности и полноте. Я думаю, даже самая нежная дружба и тем более — любовь в огромной степени основываются на умении забывать, не замечать, умалчивать, перетолковывать, приукрашивать... В результате чего мы любим уже не реального человека, а собственный фантом, или, если угодно, конструкт, для постороннего глаза иной раз до оторопи несхожий с оригиналом.

А уж сколько-нибудь массовое единство тем более может стоять лишь на лжи, ибо только ложь бывает простой и общедоступной, правда же всегда сложна, аристократична, неисчерпаема, противоречива, спорна, а главное — она во множестве своих аспектов отнюдь не воодушевляет... Это отчасти и неплохо, поскольку пессимисты всего только отравляют людям настроение, тогда как оптимисты ввергают их в катастрофы, но — всякое корпоративное согласие может стоять лишь на системе коллективных фантомов, а потому так называемая народная память неуклонно отвергает все унижительное, храня исключительно возвышающие если уж и не совсем обманы, то, по крайней мере, очень тщательно отфильтрованные элементы правды. Подозреваю, что ни один народ не в состоянии принять всей правды о себе, не рассыпавшись на множество скептических индивидов.

Когда-то я вложил в уста герою своей «Исповеди еврея» грубоватые, но, по-моему, довольно верные слова: «Нацию создает общий запас воодушевляющего вранья». Поэтому мечтать о том, что народы, однажды от всего сердца высказав «всю правду» друг о друге, после этого обнимутся

и простят друг друга, утопично с самого начала: принять правду о себе для любого народа означало бы перестать быть народом — это относится и к русским, и к евреям, и к французам, и к зулусам. Да и физическим лицам каяться вслух не всегда уместно: некоторые талмудические мудрецы допускали существование даже таких вин, в которых и признаваться не следует, ибо простить их все равно нельзя, а растравить обиды очень даже можно; мир же, считали они, более высокая ценность, чем правда (вернее, ее обнародование). Нет, каяться в совершенной гадости следует непременно, но вовсе не обязательно обнажать все подробности перед теми, кому ты причинил зло.

Александр Исаевич Солженицын в этом отношении отнюдь не талмудист, он считает, что к покаянию можно и подтолкнуть, всенародно и во всех подробностях напомнив обидчику (а также всем желающим), каких бед он натворил. Я-то, размышляя над первым его томом и наблюдая за полемикой вокруг одного, все время убеждался, что русским и еврейским патриотам лучше всего на время забыть друг о друге. Однако было бы смешно надеяться, чтобы подобный конформистский лепет коснулся слуха истинного борца за правду: «Никогда я не признавал ни за кем права на сокрытие того, что было. Не могу звать и к такому согласию, которое основывалось бы на несправедном освещении прошлого». Ну а если иного согласия не бывает — тем хуже для согласия.

Тем не менее в первом томе «Двухсот лет» содержалось и несколько положений, которые в принципе способны заметно ослабить накал национальной обиды, по крайней мере, с еврейской стороны. Солженицын, как я уже отмечал, последовательно проводит ту мысль, что русское правительство причиняло евреям разные неприятности не потому, что бескорыстно их ненавидело, а потому, что так понимало государственные интересы, а утопизм, глупость, нераспорядительность, даже корысть простить гораздо легче, чем беспричинную ненависть.

Правда, другой основной тезис первого тома гораздо более сомнителен — свои воззрения на русскую историю и на «выходы из нее» русские упустили в руки евреев. Солженицын настаивает на том, что понять духовное доминиро-

вание евреев (или, что то же самое, духовную податливость русских) важнее, чем подсчитывать, какой процент евреев раскачивал Россию («раскачивали» ее — мы все).

Тем не менее, когда листаешь второй том «Двухсот лет», начинает складываться впечатление, что именно это автор и делает — подсчитывает, какой процент...

Но, может быть, я просто предубежден? Общественное мнение всегда живет фантомами, и фантом русско-еврейских отношений, созданный Солженицыным, как мне кажется, не улучшил их, а ухудшил. Я не имел возможности исследовать сколько-нибудь репрезентативную выборку, но практически все примеры, которые подбрасывала мне жизнь, отнюдь не свидетельствовали о том, что евреи и русские стали с бóльшим сочувствием относиться к бедам друг друга и более критично к деяниям своих предков, да и к своим собственным.

Типичное мнение многих русских (далеко не «крайних»): Солженицын показал, что евреям жилось совсем не так плохо, как они изображают; по крайней мере, не им одним было плохо. Мнение более жесткое: Солженицын показал, что все меры против евреев были исключительно оборонительные.

Типичное мнение евреев (из самых мягких): Солженицын старался быть объективным, но натура свое взяла. Мнение более жесткое: он постарался выгородить своих, свалив причины всех еврейских бед на голову самих евреев, для чего он постарался отобрать о них все самое скверное.

Беру первый попавшийся отклик на сайте «Центральный еврейский ресурс» — Ю.Окунев (Коннектикут), «Приведет ли книга Александра Солженицына к ослаблению антисемитизма?»: «Это — мощная попытка выдающегося русского писателя, претендующего на национальное духовное лидерство, придать антисемитизму новый импульс, возродить его утраченную после развала советской империи объединяющую функцию». Вот так. Ни больше и ни меньше.

Вот еще наудачу отклик с того же сайта — уже на второй том: Г.Еремеев, «А.Солженицын о евреях: сомнительные рекомендации на зыбких основаниях» (материал подготовлен

Московским бюро по правам человека). «Для Солженицына цифры — это только материал для нравственного учительства. Он призывает евреев принести общенародное покаяние за содеянное зло, “морально отвечать за свое прошлое”. Уже неоднократно писалось о том, что популярная ныне идея массового покаяния сомнительна и с теоретической, и с практической точки зрения. Народ — это всегда не есть что-то монолитное, а являет собой многообразие человеческих личностей. Какое-то единое, унифицированное покаяние здесь невозможно, поскольку индивидуальные личностные особенности обуславливают индивидуальные эмоциональные и интеллектуальные реакции, тем более когда речь идет не о собственном грехе, а о грехе дедов и прадедов. Когда канцлер ФРГ становится на колени перед еврейским мемориалом и просит прощения, этот жест призван быть символическим отражением воли немецкого народа. — Призван, но соответствует ли он реальности? Несомненно, многие немцы испытывают ужас от содеянного их дедами, но многие входят и в “Национальный фронт” (объединяющий, по некоторым данным, полтора миллиона человек) и, обрив голову, шествуют колоннами по улицам Берлина. А в “покаявшейся” Европе опять жгут синагоги и оскверняют кладбища. Какова тогда “общенародная” практическая ценность поступка канцлера? И как должны поступать евреи в связи с грехами их дедов и прадедов? Выступить Шарону и покаяться от имени евреев всего мира? Или главному российскому раввину от лица российских евреев? Но ведь большинство молодых евреев имеют смутное представление о деятельности евреев — большевиков и чекистов. А если и имели бы — что, им всем выйти на площадь и, взявшись за руки, хором прочитать покаянный псалом? Вообще религиозное понятие “покаяния” применяется к месту и не к месту, лишаясь своего истинного смысла. Речь может идти только о знании истории, индивидуальном внутреннем переживании этого знания, формировании соответствующего нравственного чувства и желания самому подобных поступков не совершать. А каким образом практически можно уловить преобладающие настроения в этом смысле? На основе индивидуальных выступлений. И вот тут совершенно непонятно, что, собственно, не нравится Солженицыну. Ведь в перечислении имен евреев-убийц он ссылается главным образом на еврейские же источники, которые аккуратно эти имена фиксируют и без всякого восторга!

Приводя мнения евреев — противников большевизма, он обильно цитирует десятки книг, называя десятки имен современных авторов-евреев, которые не позволяют и себе, и всем нам забыть о том, что творилось в России. А кто, собственно, из нынешних евреев восторгается “подвигами” дедов-большевиков?»

Отыскать таких и в самом деле нелегко — по крайней мере, под знаменами Зюганова еврейские физиономии в глаза не бросаются. Может быть, это и следует считать материальным выражением некоего раскаяния? Или как?

В уяснении уяснений

Принимаясь за второй том солженицынских «Двухсот лет вместе», невольно оказываешься уже до такой степени переполненным опасениями и предвзятостями, что почти не разбираешь самого текста, а все больше то угадываешь авторские намерения, то прикидываешь возможные последствия. Но что, если просто-напросто попробовать как можно более тщательно и бесхитростно вдумываться в буквальный смысл прочитываемых слов, стараясь понять его как можно более точно? Пытаясь со всей добросовестностью соответствовать названию вступительной главы — «В уяснении» — и стараясь выделить важнейшие места, чтобы общий ход мысли был понятен и тем, кто по каким-то причинам не успел прочесть разбираемую книгу.

Первый вопрос — кого считать евреем? Солженицын начинает с определения ортодоксальных раввинов — еврей тот, кто рожден матерью-еврейкой или обращен в еврейство посредством определенной канонической процедуры (именуемой «гиюр», если кто еще не знает) — и тут же предостерегает от понимания этнической общности как общности по крови. Он упрекает даже Российскую Еврейскую Энциклопедию в «кровном» отборе персонажей: «Евреями считаются люди, родители которых или один из родителей которых был еврейского происхождения, независимо от его вероисповедания». Вот и в международной спортивной «маккабиаде» участвовать могут только евреи, — «надо понимать, что и тут — по крови»? «Тогда зачем же так страстно и грозно

укорять всех вокруг в “счете по крови”? Надо же отнестись зряче и к национализму собственному».

Последнее бесспорно. Однако что до составителей Еврейской Энциклопедии, то они же просто вынуждены руководствоваться какими-то отчетливыми наблюдаемыми признаками — невозможно ведь включать в энциклопедию только тех, кто связан с еврейством по туманному «духу». И на счет маккабиады — если, скажем, устраивают вечеринку или футбольный матч члены какого-то землячества или выпускники какого-нибудь университета, — неужели это так оскорбительно для тех, кто закончил другой университет? Хотя нация, конечно, не то же самое, что корпорация, но ведь и нацивильзованнейшие национальные государства устраивают внутринациональные чемпионаты, на которые иностранцы не допускаются. Что ж, изолироваться дозволено лишь посредством государственных границ? А если границы разительно отличаются от ареала расселения, значит нельзя и наперегонки побегать среди соплеменников? Впрочем, аналогия снова не совсем точна: на внутринациональные чемпионаты попадают не по крови, а по подданству. Вместе с тем чужаку обрести подданство цивилизованного государства ничуть не легче, чем принять гиюр и обратиться в стопроцентного еврея. Я абсолютно согласен, что ко всем разновидностям национализма надо относиться «зряче», а потому дифференцированно. Не следует ли из этого, что нужно различать национализм, так сказать, оборонительный, стремящийся удержать народ от растворения, и национализм, так сказать, наступательный, стремящийся, сознательно или бессознательно, растворить другой народ в себе? Да к тому же, есть ли уверенность, что именно организаторы маккабиад страстно и грозно кого-то в чем-то укоряют? Вполне возможно, что они-то как раз считают определенные формы национализма столь же естественными для народа, как для индивида естественен и необходим инстинкт самосохранения. Евреи все-таки тоже бывают разные, у них нет общей головы и единого голоса.

Солженицын здесь же цитирует и весьма авторитетные еврейские источники, совершенно не склонные к счету по крови. С одобрением — «эх, и нам бы так!» — приводит он слова известного израильского писателя Амоса Оза: «Быть евреем означает чувствовать: где бы ни преследовали и му-

чили еврея, — это преследуют и мучают тебя». И еще — его же: «Быть евреем означает участвовать в еврейском настоящем... в деяниях и достижениях евреев как евреев, и разделять ответственность за несправедливость, содеянную евреями как евреями (ответственность — не вину!)».

Мне-то до сих пор казалось, что ответственность и вина приблизительно одно и то же (примерно так же их толкует и словарь Ушакова), но Солженицыну различие, вероятно, представляется очевидным, он подчеркивает другое: «Вот такой подход мне кажется наиболее верным: принадлежность к народу определяется по духу и сознанию». То есть, насколько можно понять, по самоощущению. Однако на следующей странице он цитирует Сартра: «Еврей — это человек, которого другие считают евреем». И в конце концов приходит к выводу: «Не сказать, чтоб ото всего выслушанного здесь стало нам четко-ясно».

Сделаться четко-ясно здесь не может в принципе, поскольку невозможно точно очертить границу размытого по своей природе множества. Иными словами, национальность человека характеризуется не одним, а многими и многими параметрами — может быть, даже неограниченным их числом. И потому анкета о национальной принадлежности должна содержать не один вопрос, а чрезвычайно длинный (если не бесконечный) их список. «Кем ты ощущаешь себя сам?», «В каких ситуациях и до какой степени?», «Насколько эмоционально близкими ощущаешь героические и трагические эпизоды национальной истории?», «Какие именно, до какой степени и в какие минуты?», «Ощущаешь ли подобную близость к воодушевляющему вранью других народов?», «Каких именно, в каких ситуациях, до какой степени?», «Кем себя ощущали твои родители?», «Кем тебя ощущают окружающие?», «Если не все, то какая их часть, какая именно и в каких ситуациях?» — и так далее, и так далее, и так далее.

В результате среди множества претендентов на звание еврея выделится некое ядро счастливицков, которые окажутся евреями по всем пунктам, и периферия, куда попадут те, кто является евреем лишь по какой-то части признаков. При том, что даже и это их частичное еврейство будет не стабильным, а изменчивым во времени.

Могу пояснить на собственном скромном примере. Имея русскую маму и еврейского папу и воспитавшись в беспримесно русской среде, я лет до шестнадцати чувствовал себя стопроцентным русским, а еврейство свое ощущал как абсолютно нелепую метку, не имеющую решительно никакого отношения к моей сущности и только временами осложняющую мою жизнь. И если бы в ту пору у меня была возможность ее смыть, я бы не сделал этого разве что в силу какой-то самому мне непонятной неловкости. Достижениями евреев я потихоньку начал интересоваться лишь в пику тем, кто меня время от времени унижал. Интересовался, интересовался и доинтересовался до того, что и впрямь сделался евреем: страдания евреев сегодня я ощущаю заметно более остро, чем страдания людей других национальностей.

Не считая, конечно, русских: когда их обижают, это задевает меня тоже заметно сильнее, чем этого требует общечеловеческая гуманность и справедливость.

А вот когда русские и евреи обижают друг друга, на чью сторону я тогда становлюсь, что я делаю, когда папа и мама ссорятся? Попеременно сочувствую тому, кому в данный миг больнее, горю от стыда за того, кто эту боль причиняет, — а потом стараюсь их помирить по мере своих мизерных силенок. Но уже не спешу объяснять, что мама у меня все-таки русская, — надоело, спокойнее без затей называть себя евреем. Я думаю, многие русские евреи превратились в евреев из чувства собственного достоинства.

Однако испытываю ли я ответственность за грехи еврейского народа? Исключительно в том смысле, что глупости и подлости евреев меня раздражают сильнее. Мне — да, известно за них. Еще больше, чем за русских. Но та ли это взыскуемая Солженицыным ответственность, не знаю. По крайней мере, терпеть за чужие, хотя бы и еврейские грехи какое-то материальное наказание я не согласен. И что касается уроков прошлого — я тоже не очень понимаю, какие практические выводы из них я должен сделать. Солженицын весьма одобряет ту трактовку еврейской избранности, которую предлагает Н. Щаранский: избранность «приемлема только в одном плане — как повышенная моральная ответственность». Но требует ли эта повышенная ответственность

вмешиваться в российскую политику или, наоборот, избегать ее, чтобы не повторить ошибок дедов, я совершенно не представляю. Если изыскивать психологические корни современного еврейства в иудаизме (занятие более чем сомнительное), то можно найти в Вавилонском талмуде следующее наставление: «Кто может предотвратить грехи людей своего города, но не делает этого — виновен в грехах своего города. Если он может предотвратить грехи всего мира, но не делает этого — он виновен в грехах всего мира». Очень благородно. Жаль только, что, уничтожая один грех, мы слишком часто открываем дорогу десятку других, и никакая сила в мире не способна дать ответ, какое зло окажется наименьшим — зло вмешательства или зло невмешательства.

Вмешиваться, если это приведет к улучшению жизни, и не вмешиваться, если это приведет к ухудшению, так что ли? Но чтобы так поступать, требуется пророческий дар. Если понимать уроки Октября буквально, то нужно всегда стоять на стороне существующей власти, всегда больше страшиться потерять, чем надеяться приобрести — но тогда в 60–80-е годы прошлого века следовало поддерживать советскую власть и осуждать еврейских диссидентов, которых Солженицын, наоборот, всячески приветствует (в свою очередь осуждая тех, кто боролся за отдельное право на выезд).

Его не смущает и то, что именно «евреи снова оказались... и истинным, и искренним ядром нововозникшей оппозиционной общественности», хотя Солженицын с большим сочувствием цитирует Стефана Цвейга, считавшего опасным, «чтобы евреи выступали лидерами какого бы то ни было политического или общественного движения». «Служить — пожалуйста, но лишь во втором, пятом, десятом ряду и ни в коем случае не в первом, не на видном месте. [Еврей] обязан жертвовать своим честолюбием в интересах всего еврейского народа». «Нашей величайшей обязанностью является самоограничение не только в политической жизни, но и во всех прочих областях».

«Какие высокие, замечательные, золотые слова, — и для евреев, и для не-евреев, для всех людей, — подхватывает Солженицын. — Самоограничение — от чего оно не лечит!» Но если уж самоограничиваться, то не нужно и строить планы, как нам обустроить Россию, разве нет? Ответ на это

дан, пожалуй, в том месте, где Солженицын присоединяется к той мысли Ренана, что удел народа Израиля быть бродилом для всего мира: «И по многим историческим примерам, и по общему живому ощущению, надо признать: это очень верно схвачено. Еще современнее скажем: катализатор. Катализатора в химической реакции и не должно присутствовать очень много».

Не должно... А сколько должно? Но смысл, в общем, ясен: к обновленческим движениям каждый новый еврей должен присоединяться со все большей и большей осторожностью. Если, конечно, речь не идет о борьбе с большевиками.

Вроде бы так? Когда речь идет о политике. Но как быть с самоограничением «во всех прочих областях»? Где борются не за власть, не за деньги, а за самореализацию, за реализацию своих дарований? — в науке, в искусстве? Ты ощущаешь (и демонстрируешь) талант математика, музыканта, поэта, но должен идти в шоферы или шахтеры, потому что евреев-математиков, музыкантов и поэтов и без тебя выше крыши? Или в ученые — музыканты — поэты идти все-таки можно, только не нужно там работать в полную силу, чтобы, не приведи бог, не сделаться слишком яркой звездой? Цвейгу этот вопрос задавать уже поздно, но Солженицыну я бы со всей почтительностью его задал. Мне и в самом деле непонятно, как он трактует эти высокие, замечательные, золотые слова.

Этапы большого пути

В первой же посвященной реальным фактам главе «Двухсот лет вместе» — «В Февральскую революцию» — рухнуло неравенство евреев перед законом — вместе с самим законом. Однако первый обзор тогдашних газет обходится без евреев: газеты «выступили с трубным гласом, менее всего задумываясь или ища жизненные государственные пути, но наперебой спеша поносить все прошедшее. В невиданном размахе кадетская “Речь” призывала: отныне “вся русская жизнь должна быть перестроена с корня” (Тысячелетнюю жизнь! — почему уж так сразу “с корня”?) — А “Биржевые ведомости” вышли с программой действий: “Рвать, рвать без жалости

все сорные травы. Не надо смущаться тем, что среди них могут быть полезные растения, — лучше чище прополоть с неизбежными жертвами”. (Да это март 17-го или 37-го?)», — замечания в скобках принадлежат Солженицыну.

И это были не подметные еврейские листки, а уважаемые русские СМИ! Впрочем, что я — ведь взгляды на свою историю и на выходы из нее русские усвоили от евреев. А потому все далее упоминающиеся идейные глупости и безумства «прогрессивного» толка можно без рассмотрения списать на еврейскую долю вины. Но что оказалось не скрытым, психологическим, а явным фактом, — евреи замелькали на общественной арене не в пример гуще прежнего, и даже, как «итожит Еврейская Энциклопедия, “евреи впервые в истории России заняли высокие посты в центральной и местной администрации”».

Но вот тут-то «на самых верхах, в Исполнительном Комитете Совета рабочих и солдатских депутатов, незримо управлявшего страной в те месяцы, отличились два его лидера, Нахамкис-Стеклов и Гиммер-Суханов: в ночь с 1 на 2 марта продиктовали самодовольно слепому Временному правительству программу, заранее уничтожающую его власть на весь срок его существования».

«Этот Исполнительный Комитет — жесткое теневое правительство, лишившее либеральное Временное правительство всякой реальной власти, — но и, преступно, не взявшее власть прямо себе».

Преступно не взявшее власть... Но было ли это в его власти? Неужто взвихренная Русь и остервеневшая армия повиновались бы какому бы то ни было правительству, потребовавшему от них какой бы то ни было дисциплины? Масса жаждала мести, разгула, и всякий, кто потребовал бы от нее повиновения, превратился бы в ее врага — и был бы сметен. Совет, да и всякая другая политическая сила могли выжить лишь в качестве оппозиции правительству. У них был единственный выбор (не раз становившийся актуальным и в наши полубурные десятилетия): или быть влиятельным дезорганизатором, или исчезнуть. Когда народ охвачен разрушительной страстью, можно ли представить, чтобы не нашлось самопровозглашенной инстанции,

которая бы санкционировала эту страсть? И тем создала иллюзию обладания реальной силой.

«Потом оказалось, что был в ИК десяток солдат, вполне показных и придурковатых, держимых в стороне. Из трех десятков основных, реально действующих, — больше половины оказались еврей-социалисты. Были и русские, и кавказцы, и латыши, и поляки, — русских меньше четверти».

Для умеренного социалиста В. Станкевича, размышлявшего над этим обстоятельством, остался «открытым вопрос, кто более виноват — те инородцы, которые там были, или те русские, которых там не было, хотя могли бы быть».

«Для социалиста это, может быть, и вина, — подводит итог Солженицын. — А по-доброму: вообще бы не погружаться в этот буйный грязный поток — ни нам, ни вам, ни им».

Но поток-то уже вырвался на волю, и трудно сомневаться, что главной причиной его осатанелости была война, та война, которую начало царское правительство — никак не проеврейское. И если уж раскладывать вину по долям (что в принципе невозможно из-за системного эффекта: действующие факторы срабатывают только вместе, по отдельности каждый из них бессилен), то придется оставить открытым и другой вопрос: кто нанес России больше вреда — ее враги или ее друзья?

«В ходе 1917»: слияние в экстазе; списки жертвователей на «Заем Свободы» поражают изобилием еврейских фамилий и отсутствием крупной русской буржуазии, не считая нескольких виднейших имен московского купечества; митинги: «И в ненависти, и в любви евреи слились с народной демократией России!»; возвращение из Соединенных Штатов сотен эмигрантов, включая Троцкого; предостережение благоразумного Винавера (ближайшего сподвижника Милюкова и невольного единомышленника Цвейга — Солженицына): «Нужна не только любовь к свободе, нужно также самообладание... Не надо нам соваться на почетные и видные места... Не торопитесь осуществлять наши права»; «внезапная, бившая в глаза смена обличья тех лиц, кто начальствует или управляет»; всеобщий развал; надрывное обращение генерала Корнилова — и ответное хихиканье Суханова...

«И дело тут не в национальном происхождении Суханова и других — а именно в без-национальном, в антирусском и антиконсервативном их настроении. Ведь и от Временного правительства, — при его общероссийской государственной задаче и при вполне русском составе его, можно бы ждать, что оно хоть когда-то и в чем-то выразит русское мирочувствие? Вот уж — насквозь ни в чем».

«За несколько первых месяцев после Февраля раздражение против евреев вспыхнуло именно в народе — и покатилося по России широко, накаплиаясь от месяца к месяцу».

«Уже в середине 1917 (в отличие от марта и апреля) возникла угроза от озлобленных обывателей, или от пьяных солдат, — но несравненно тяжелей была угроза евреям от разрушающейся страны». А следовательно, заключаю я, те евреи, что «раскачивали» Россию, либо не понимали что творят, либо в предчувствии собственного взлета были готовы рискнуть судьбой своих соплеменников — то есть действовали уж никак не в интересах еврейских масс не как евреи.

«Во все время революции самыми горячими защитниками идеи великодержавной России были наряду с великороссами — евреями». (С согласием приводимая цитата из Д. Пасманника.) Любопытно, не знал.

«И надо отчетливо сказать, что и Октябрьский переворот двигало не еврейство (хоть и под общим славным командованием Троцкого, с энергичными действиями молодого Григория Чудновского: и в аресте Временного правительства и в расправе с защитниками Зимнего дворца). Нам, в общем, правильно бросают: да как бы мог 170-миллионный народ быть затолкан в большевизм малым еврейским меньшинством? Да, верно: в 1917 году мы свою судьбу сварганили сами, своей дурной головой — начиная и с февраля и включая октябрь-декабрь». Это «сами» сказано столь отчетливо и великодушно, что и мне хочется в ответ проявить великодушие: да нет, и мы, евреи, тоже наделали дел.

«На выборах в Учредительное собрание» более 80% еврейского населения России проголосовало «за сионистские партии». Ага, не за большевиков. Более того, сомнительно,

чтобы эти партии можно было считать такими уж «прогрессивными», модернизаторскими для России.

«Не попало в историю, что после “декрета о мире”, но прежде “декрета о земле” была принята резолюция, объявляющая “делом чести местных советов не допустить еврейских и всяких иных погромов со стороны темных сил”. (Все-таки, выпуская на волю неуправляемые силы, они хоть как-то пытались их заковать резолюциями.)

Даже и тут, на съезде рабочих и крестьянских депутатов, — в который раз еврейский вопрос опередил крестьянский». Согласен, это было крайне бестактно. За подобными вещами нужно следить очень внимательно.

«Это не новая тема: евреи в большевиках». Ох, не новая...

«Да, это были отщепенцы».

«И что ж — могут ли народы от своих отщепенцев отречься? И — есть ли в таком отречении смысл? Помнить ли народу или не помнить своих отщепенцев, — вспоминать ли то исчадье, которое от него произошло? На этот вопрос сомнения быть не должно: помнить. И помнить каждому народу как своих, некуда деться.

Да и нет, пожалуй, более яркого примера отщепенца, чем Ленин. Тем не менее: нельзя не признать Ленина русским. Да, ему отвратительна и омерзительна была русская древность, вся русская история, тем более православие; из русской литературы он, кажется, усвоил себе только Чернышевского, Салтыкова-Щедрина да баловался либеральностью Тургенева и обличительностью Толстого. (Солженицын совершенно точно перечисляет малый джентльменский набор российского радикала — но где же там еврейские имена? — А.М.) <...> Но это мы, русские, создали ту среду, в которой Ленин вырос, вырос с ненавистью. Это в нас ослабла та православная вера, в которой он мог бы вырасти, а не уничтожить ее. Уж он ли не отщепенец? Тем не менее он русский, и мы, русские, ответственны за него.

А отщепенцы евреи?»

Для иудаизма здесь нет вопроса: еврейская община никогда не должна отказываться от своих грешников. А для светского, так сказать, еврея? Помнить — да, зачем-то это нужно. Но платить чем-то реальным? Чем же, скажите! И чем должны платить русские за Ленина? Ответа нет снова. Ладно, будем читать дальше.

«10 октября 1917, заседание, принявшее решение о большевицком перевороте, — среди 12 участников Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов, Урицкий, Сокольников. Там же было избрано первое “Политбюро”, с такой обещающей историей вперед, — и из 7 членов в нем все те же Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов, Сокольников. Никак не мало».

Уж это точно... Даже при восьмидесяти процентах просионистского электората.

«Большую службу революции сослужил также тот факт, что из-за войны значительное количество еврейской средней интеллигенции оказалось в русских городах. Они сорвали тот генеральный саботаж, с которым мы встретились сразу после Октябрьской революции и который нам был крайне опасен. <...> Овладеть государственным аппаратом и значительно его видоизменить нам удалось только благодаря этому резерву грамотных и более или менее толковых, трезвых новых чиновников». (В. И. Ленин в пересказе С. Диманштейна, главы Еврейского Комиссариата при наркомате национальностей.) Интересно, не знал.

«Даже свободолюбивый и многотерпеливый Короленко наряду с сочувствием евреям, страдающим от погромов, записывает в своем дневнике весной 1919: “Среди большевиков много евреев и евреек. И черта их — крайняя бестактность и самоуверенность, которая кидается в глаза и раздражает”. Бестактность и самоуверенность — узнаю брата Колю... Кто как, а я в объективности Короленко сомневаться не могу. И этот урок — не быть бестактным и самоуверенным — я с удовольствием вынес бы из книги Солженицына, если бы не усвоил его из всей своей предыдущей жизни. «О, как должен думать каждый человек, — восклицает Солженицын, — освещает он свою нацию лучиком добра или зашлепывает чернью зла». Что ж, если бы к прочим тормозам,

удерживающим людей от низостей и безумств, прибавился и этот, наверно, было бы и в самом деле неплохо.

«А что — жертвы? Во множестве расстреливаемые и топимые целыми баржами, заложники и пленные: офицеры — были русские, дворяне — большей частью русские, священники — русские, земцы — русские, и пойманные в лесах крестьяне, не идущие в Красную армию, — русские. И та высокодуховная, анти-антисемитская русская интеллигенция — теперь и она нашла свои подвалы и смертную судьбу. И если бы можно было сейчас восставить, начиная с сентября 1918, именные списки расстрелянных и утопленных в первые годы советской власти и свести их в статистические таблицы — мы были бы поражены, насколько в этих таблицах Революция не проявила бы своего интернационального характера — но антиславянский. (Как, впрочем, и грезил Маркс с Энгельсом.)»

Антиславянский характер революции... Утверждение очень ответственное — слишком уж легко оно трансформируется в излюбленный штамп кондовой антисемитской пропаганды — «геноцид русского народа». Где хоть какие-то доказательства, что большевики уничтожали людей по национальному признаку? Разумеется, они истребляли те слои, в которых видели опору прежнего режима, в которых усматривали возможность или признаки протеста, и поскольку в прежней элите и в ограбляемом крестьянстве преобладали славяне, то они чаще и попадали под пресловутый «карающий меч». Якобинцы тоже казнили большей частью французов — следует ли из этого, что Французская революция была антифранцузской?

Если уж предпринимать опасную затею исцелять межнациональные отношения правдой, в подобных, наиболее ответственных случаях необходимо использовать особо проверенную правду. Однако, повторяю, во всей книге нет даже попытки найти хоть какие-то доказательства того, что хоть какая-то статистически уловимая социальная группа преследовалась не потому, что большевистский режим видел в ней угрозу для себя, а потому, что в ней преобладали славяне. И если бы таковые доказательства существовали, я думаю, в увесистом томе им нашлось бы место, — значит, их нет.

«Не будем гадать, в какой степени еврей-коммунисты могли сознательно мстить России, уничтожать, дробить именно все русское», — но в книге на этот счет есть именно одни гадания. То есть опять-таки никаких доказательств, а подозрения — подозрения все равно возбуждаются. Притом непонятно, насчет чего в точности. Если говорить об утопическом стремлении обновить все сверху донизу, пальнуть в Святую Русь, — это стремление охватывало и романтических поэтов, и респектабельных господ из «Речи» и «Биржевых ведомостей» («Все перестраивать с корня», «Рвать без жалости все сорные травы, не смущаясь, что среди них могут оказаться и полезные растения»). Куда дальше этого могли бы зайти евреи?

Но, конечно, огромная часть их пошла служить Советам, чтобы просто не умереть с голоду, — равно как и множество русских, но не о них сейчас речь. Солженицын отвергает «объяснения извинительные»: «Идти на службу в ЧК — это никогда не единственный выход. Есть по крайней мере еще один — не идти, выстаивать». Ну в ЧК-то не могло попасть очень уж много народу, а вот чтобы умирать с голоду, но не идти в простую советскую канцелярию, — для этого нужна огромная идейность, которой требовать от обыкновенных людей, у которых нет никакого особенного «во имя» (да как раз «во имя» и могло привести к большевикам)... Вернее, требовать-то можно, но когда, в какие времена люди этим требованиям соответствовали? Разве что в легендарные времена Спарты, Рима и Израиля... Хотя желать, чтобы люди не были людьми, а были какими-то гораздо более высокими существами, — наверно, это тоже высокое, хотя и опасное, как все высокое, желание.

С этой точки зрения снисхождение к человеческому стремлению выживать, поступаясь принципами (которых у людей заурядных и вообще-то негусто, и, быть может, к счастью для мира: в эпохи «великих социальных экспериментов» он и выживает-то во многом благодаря тому, что основная масса людей остается беспринципной, живет по Зоценко, а не по Солженицыну) — это снисхождение действительно «есть отречение от исторической ответственности».

«Да, много доводов — почему евреи пошли в большевики (а в Гражданской войне увидим и еще новые веские). Однако,

если у русских евреев память об этом периоде останется в первую очередь оправдательной, — потерян, понижен будет уровень еврейского самопонимания.

...Однако приходится каждому народу морально отвечать за все свое прошлое — и за то, которое позорно. И как отвечать? Попыткой осмыслить — почему такое было допущено? в чем здесь наша ошибка? и возможно ли это опять?

В этом-то духе еврейскому народу и следует отвечать и за своих революционных головорезов, и за готовые шеренги, пошедшие к ним на службу. Не перед другими народами отвечать, а перед собой и перед своим сознанием, перед Богом.

...Отвечать, как отвечаем же мы за членов нашей семьи».

А как мы отвечаем за членов нашей семьи? Стыдимся — больше никак. Нам стыдно за них перед другими. Но выше сказано, что отвечать евреям нужно не перед другими народами, следовательно и каяться не перед русским народом, а перед собой и перед Богом. Перед Богом-то верующие евреи от имени всего еврейского народа каются регулярно в специальных молитвах: мы творили то-то и то-то, и перечисляют все мыслимые безобразия; светским евреям труднее: они должны осмыслить то, что, на мой взгляд, заведомо не по силам человеческому разуму.

«Возможно ли это опять?» Это, разумеется, невозможно, история вся состоит из неповторимых событий, если брать их во всей совокупности обстоятельств. Но когда мы станем перед новым историческим выбором, все, что лично я после всех раздумий и изучений мог бы посоветовать и себе, и другим: не обольщаться, быть осторожнее, человеку не дано предвидеть будущее, то, что считают благом «умнейшие люди своего времени», завтра обернется несомненным злом и глупостью, граничащей с безумием. Однако и эта «агностическая формула» наверняка не понравится Александру Исаевичу — за нечто подобное он строго осуждает Галича, написавшего «А бойтесь единственно только того, кто скажет: “Я знаю, как надо!”»: «Но как надо — и учил нас Христос...»

И тем не менее из учения Христа люди делали самые противоположные выводы, им оправдывали и войны, и казни, и уничтожения целых культур, и — заодно уж — массовые избиения евреев, что Солженицыну несомненно известно. Мало кто подставлял ударившему другую щеку, больше обращали внимание на загадочную формулу «Не мир, но меч...» Боюсь, Солженицын лишь тогда сочтет евреев достаточно покаявшимися, когда они все до последнего жлоба примут ту интерпретацию христианства, которая представляется правильной лично ему. Такое складывается впечатление.

В Гражданскую войну и еврейство, и Белое движение проявили крайнюю близорукость: евреи близоруко тянулись к тем, кто их реже убивал, а белые близоруко отталкивали нейтральных или сочувствующих им евреев «из-за множественного участия других евреев на красной стороне», — руководствуясь излишне прямолинейным представлением о коллективной вине. Народное представление о коллективной вине воплощалось еще более бесхитростным образом — в виде массовых погромов: по различным оценкам, погибло от 70 до 180–200 тысяч евреев, причем примерно 40% погромов приходилось на долю петлюровцев, 25% на долю разных украинских «батек», 17% на деникинцев и 8,5% на красных (редчайший случай, когда общую вину действительно удается разложить на «доли»).

Поражает автора «Двухсот лет» и близорукость «сквозь всю Гражданскую войну» недавних союзников России. Правда, такого рода близорукость проходит настолько неизменно сквозь всю человеческую историю, что не пора ли признать ее нормальным свойством человеческой природы? А если это так, то раскаяние в ней может быть только лицемерным: человек не может искренне раскаиваться в том, что у него всего два глаза и один нос. Хотя, может, и стоило бы.

«В эмиграции между двумя мировыми войнами» среди более чем 2 миллионов эмигрантов, тоже с превышением процентной нормы оказалось более 200 тысяч евреев, — одного этого было бы достаточно, чтобы не отождествлять коммунизм с еврейством, если бы народы жили фактами, а не фантомами. При этом евреи, к моему приятному удивлению, оказались самыми щедрыми благотворителями и для

материальных, и для культурных нужд русских эмигрантов. К сожалению, распри между правыми и левыми продолжались и на чужбине, и было бы странно, если бы там обошлось без активного участия евреев. Но, к счастью, для чужеземных устоев это серьезных последствий не имело, а потому и покаяния не требует.

А вот в чем конкретном провинились те оставшиеся в России евреи, кто развил невероятно бурную и успешную деятельность в администрации, в экономике, в госбезопасности, в обороне, в здравоохранении, в науке, в технике, в культуре, — вопрос более сложный. Вернее, с чекистами ясно: добывать уже и без того еле живую прежнюю элиту, наводить ужас на население — это мерзость и грех. Однако службу в армии Солженицын считает безгрешной, хотя армия тоже служит большевицкому режиму. Да и героиразведчики, среди которых был ни с чем не сообразный процент евреев, безусловно крепили оборонную мощь большевицкой России. Служить народу, одновременно укрепляя сатанинское государство, или ослаблять государство, одновременно ослабляя и народ, — это вопрос трагический, на который нет и не может быть универсального ответа: никто не может знать, какое зло в конце концов окажется наименьшим. И если Солженицыну кажется, что он знает ответ, он заблуждается.

Работать на будущее страны, не укрепляя одновременно и правящий режим, возможно разве что в просвещении, в искусстве... Но тогдашнее искусство (дозволенное!) в основном лишь укрепляло советские устои, в этом Солженицын безусловно прав. Однако есть ведь и у искусства свое собственное, внутреннее развитие, собственные цели, и имеет ли оно право им служить, игнорируя социальные ужасы, а то и прямо их лакируя, или оно должно непременно бичевать социальное зло, а если такой возможности нет, — замереть в ожидании, покуда она появится, — это вопрос тоже трагический. Имел ли право Пушкин написать «Евгения Онегина», в котором нужно с увеличительным стеклом выискивать ужасы крепостничества? Для меня ясно, что имел, — для Писарева это повод для презрения. Скажут, что Пушкин, в отличие, скажем, от Эйзенштейна, «не взвинчивал проклятий старой России», и это будет правда. Скажут, что Эйзенштейну далеко до Пушкина, — я и с этим

согласусь. Но многие и не согласятся с тем, что Пушкин имеет какие-то исключительные права, они потребуют их для всех художников.

А потом, не упускаем ли мы главное — склонность человека считать нормальным то, с чем он сталкивается, входя в жизнь, что доказало свою неизменность и неотвратимость, — как смерть, например. Должен ли каяться какой-нибудь ацтек, что спокойно жил в государстве, где приносились человеческие жертвы? Да что ацтек — великий Платон считал рабство совершенно естественным делом... Да, да, друг мне Платон, но — увы. Всегда ли человек способен возвыситься даже не храбростью — умом! — против устоявшегося, привычного зла?

Впрочем, если даже и не способен — почему бы не восстать и против самой человеческой природы? Начав, естественно, с евреев: это же для них избранность означает повышенную ответственность. Но... ведь готовность восставать против привычного, устоявшегося — именно то, в чем их обвиняют. Хорошо пророкам, которые точно знают, когда надо, а когда не надо раздувать протест, — но как быть людям обыкновенным?

«В лагерях Гулага» Солженицын, по его словам, впервые понял, что есть не только единое человечество, но и нации: в «спасительном корпусе придурков» были отчетливо сгущены евреи, грузины, армяне, азербайджанцы и отчасти кавказские горцы. «А русские “в своих собственных русских” лагерях опять последняя нация». Впрочем, кавказцы могли и ответно упрекнуть русских: не держите нас в вашем государстве, и мы освободим для вас тепленькие места банщиков и кладовщиков. «А как с евреями? Ведь переплел русских с евреями рок, может быть, и навсегда, из-за чего эта книга и пишется».

Тем не менее о евреях, заявивших: «Не держите нас в вашем государстве», — Солженицын отзывается очень раздраженно: эти, мол, как всегда, о своем... Зато несколько известных ему евреев, добровольно пошедших на общие работы (в том числе знаменитый генетик Эфроимсон), вызывают его восхищение: это и есть «те пути самоограничения и самоотвержения, которые одни только и могут спасти человечество».

Что ж, здесь вполне понятно, как в данном случае можно самоограничиваться и чем тут можно восхищаться. Но как это следует делать на воле, в творческих профессиях, убей бог, не понимаю. Человеку с талантом отказаться от его реализации почти равносильно смерти, это писателю Солженицыну должно быть хорошо известно. Или ради сближения наций и смерти не следует бояться? И во имя столь высокой цели следует жертвовать всем — кроме, разумеется, правды? В своем «Архипелаге» Солженицын перечислил имена орденоносных руководителей БелБалтгуглага — всех шестерых евреев — и вызвал, по его словам, всемирный шум: это антисемитизм! В лучшем случае — «национальный эгоизм».

«А где ж были их глаза в 1933, когда это впервые печаталось? Почему ж тогда не вознегодовали?»

Повторю, как лепил и большевикам: не тогда надо стыдиться мерзостей, когда о них пишут, а — когда их делают».

Где были глаза Запада, для меня самого величайшая загадка; возможно, его духовные вожди боялись посадить пятнышко на свою любимую цапку — социализм. Но что до нашей стороны, то здесь, я думаю, было гораздо меньше стыда, чем опасения за практические последствия такой публикации, опасения, что она будет способствовать и усилению антисемитизма, и подведению под него оправдательной базы.

«Как будто художник способен забыть или пересоздать бывшее!» — восклицает Солженицын, и он совершенно прав: художник его склада не может. Перед нами снова типичный трагический конфликт двух одинаково справедливых принципов: «Говори правду!» и «Не навреди!»

Солженицын выбирает правду, как он ее видит. И я верю, что он видит ее именно такой.

«В войну с Германией» евреи, по выкладкам Солженицына, вполне пристойно соблюли процентную норму. Однако он не сдает без боя и то «расхожее представление», что «на передовой, в нижних чинах, евреи могли бы состоять гуще». «Так что ж — народные представления той войны

действительно продиктованы антисемитскими предубеждениями? <...> Можно предположить, что большую роль здесь играли новые внутриармейские диспропорции, восприятие которых на фронте было тем острее, чем ближе к смертной передовой». Действительно, цитирует Солженицын израильскую энциклопедию, «евреи составляли непропорционально большую часть старших офицеров, главным образом потому, что среди них был гораздо более высокий процент людей с высшим образованием». «Рядовой фронтовик, — продолжает Солженицын, — оглядываясь с передовой себе за спину, видел, всем понятно, что участниками войны считались и 2-й, и 3-й эшелоны фронта: глубокие штабы, интендантства, вся медицина от медсанбатов и выше, многие тыловые технические части, и во всех них, конечно, обслуживающий персонал, и писари, и еще вся машина армейской пропаганды, включая и переездные эстрадные ансамбли, фронтовые артистические бригады, — и всякому было наглядно: да, там евреев значительно гуще, чем на передовой».

Но ведь все перечисленное выше есть не что иное, как наложение профессиональной структуры общества на военные условия. А потому протест против более благоприятных условий евреев есть также не что иное, как все тот же вечный протест против их места в системе разделения общественного труда. Протест, на который может быть только два ответа: или сдерживать профессиональный рост евреев искусственными средствами — или расти самим, самим становиться врачами, инженерами, интендантами, журналистами, актерами... Солженицын, оправдывая более чем понятные чувства рядовых на передовой, не замечает, что оправдывает этим и социальную зависть, которая в отношениях между людьми одной нации отнюдь не представляется ему чем-то достойным уважения. Но замечать за евреями то, что не замечается за своими, — не есть ли это как раз те самые антисемитские предубеждения?

Далее Солженицын пересказывает несколько историй как о сомнительных фронтовиках-евреях, так и об отчаянных смельчаках, завершив следующим образом: «Но на отдельных примерах — ни в ту, ни в другую сторону — ничего не строится».

Зачем тогда их и приводить в книге, претендующей высказать значительную и достоверную правду? Примеры лишь невольно оправдывают в глазах профанов ту убийственную для любой сколько-нибудь достоверной социальной истины манеру делать обобщающие выводы из всегда немногочисленных и тенденциозно, пускай и бессознательно, отобранных фактов личного опыта. Вот и сам Солженицын из единственного эпизода с каким-то безвестным Шулимом Деином, считавшим, что лучше бы евреям смотреть на драку немцев и русских со стороны, выводит целую теорию о «неполной заинтересованности» евреев в «этой стране». В обвинениях такого масштаба следует либо опираться на достоверную статистику, либо молчать.

Однако трудно не остановиться на загадочном финале Солженицына, завершающем рассказ о массовых убийствах евреев в немецком тылу. Солженицын опасается, как бы за гибелью евреев «не упустить же, и что была для русских та война». И это справедливо: каждому погибшему была безразлична та тонкость, что от еврейского народа требовалось исчезнуть, а от русского — покориться. Но Солженицыну кажется, что «в этом накате еще одной Беды — посверх Гражданской и раскулачивания — он почти исчерпал себя». Что означают эти слова? Как может исчерпать себя народ? Но, если поверить в это, обида на всех его предполагаемых недоброжелателей удесятерится.

Чего же все-таки хочет Солженицын?

«С конца войны — до смерти Сталина» — у евреев наконец исчезла возможность быть палачами. «За восемь последних сталинских лет произошли: атака на “космополитов”, потеря позиций в науке, искусстве, прессе, разгром Еврейского Антифашистского Комитета с расстрелом главных членов и “дело врачей”».

«До Шестидневной войны, еще задолго, произошла “историческая смена вахт” на советских верхах, с еврейской на русскую».

«Антисемитизм (цитирует Солженицын В. Богуславского из журнала «22», 1985, № 40) страшен не столько тем, что он делает евреям (ставя им известные ограничения), сколько

тем, что он делает с евреями, — превращая их в невротичных, придавленных, закомплексованных, ущербных».

«На самом деле, — продолжает Солженицын, — от такого болезненного состояния — вполне, и быстро, и уверенно — оздоравливались те евреи, кто с полнотою осознавал себя евреями».

«И при таком-то назревавшем самосознании советских евреев — грянула и тут же победно унеслась, это казалось чудом, Шестидневная война. Израиль — вознесся в их представлениях, они пробудились к душевному и кровному родству с ним».

«А многочисленные отказы в выезде привели к неудавшемуся 15 июня 1970 захвату самолета для угона. Последовавший “самолетный процесс” можно считать историческим рубежом в судьбе советского еврейства».

И — чрезвычайно важное замечание: «Работая над этой книгой, убеждаешься, что еврейский вопрос не только всегда и всюду в мировой истории присутствовал — но он никогда не был частно-национальным, как другие национальные вопросы, а — благодаря ли иудейской вере? — всегда вплетался в нечто самое общее».

Похоже, это действительно так: благодаря той самой досадной склонности евреев в раздражающем количестве становиться на сторону всего самого «прогрессивного», то есть каким-то боком европейского, борьба с ними становилась неотделима от борьбы с «прогрессом» и западничеством, а борьба с «прогрессом» и западничеством — от борьбы с ними.

«Когда ж это случилось, что евреи из надежной опоры этому режиму перекинулись едва ли не в главное противотечение?» — за что их теперь снова готовы проклясть те, кто пострадал от перестройки.

«А тут эта нарастающая кампания против “сионизма”, уже вяжущая одну петлю с “империализмом”. И — тем чужей и отвратительней представился евреям этот тупой большевизм, — да откуда он такой вообще взялся?»

«И теперь, отпадая, обратили против него свой фронт. И вот тут бы — с очищающим раскаянием — самим сказать о прежнем деятельном участии в торжестве советского режима и сыгранной жестокой роли.

Нет, почти нет».

«У большинства евреев-комментаторов позднесоветского периода мы прочтем совсем не то. Оглядысь на всю даль от 1917 года, они увидели одни еврейские муки при этом режиме». Среди многочисленных национальностей Советского Союза евреев якобы всегда выделяли как самый «ненадежный» элемент (Ф.Колкер, «22», 1983, № 31).

«Это — с каким же беспамятством можно такое промолвить в 1983 году? Всегда! — и в 20-е годы! и в 30-е! — и как самый ненадежный?! Настолько все забыть?»

«Но <...> не встает разве вопрос о каком-то чувстве ответственности за тех? В общем виде спрося: существует ли моральная ответственность — не круговая порука, а ответственность — помнить и признавать?»

Если требуется только это — помнить и признавать, — я помню и признаю. И тем более понимаю, что и евреи — всего только люди. Если бы кто-то из нас поклялся не повторять ошибок дедов, это было бы претензией на сверхчеловеческое ясновидение: могут сложиться обстоятельства — и ты снова наломаешь дров не меньше тех, над кем пытался возвыситься — хоть над своими предками, хоть над чужими. И подобную самокритичность, мне кажется, могла бы усвоить даже народная память, вообще-то отвергающая все унижительное: ведь честность по отношению к себе можно возвести в новое достоинство, и на нем-то снова утвердить свою гордость.

Но Солженицыну-то зачем нужно, чтобы евреи покаялись? Почему его так волнует «уровень еврейского самопонимания»? На эти вопросы, похоже, дает ответ решающая глава: «Оборот обвинений на Россию».

«Разумеется, — как и вообще у всех людей и у всех наций, — нельзя было ждать, что при этой переоценке будут

звучать сожаления о прежней вовлеченности. Но я абсолютно не ожидал такого перекоса, что вместо хотя бы шевеления раскаяния, хотя бы душевного смущения — откол евреев от большевизма сопроводится гневным поворотом в сторону русского народа: это русские погубили демократию в России (то есть Февральскую), это русские виноваты, что с 1918 года держалась эта власть!

Мы — и конечно виноваты, еще бы!»

Но не мы одни, как следует из предыдущих четырехсот пятидесяти страниц. «Нет, вы одни!» — следует из приводимых ниже выписок из разных еврейских авторов, отобранных, не знаю уж, из большого или из малого числа им подобных. (Я выбираю лишь самые характерные и однозначно толкуемые.)

«Это тоталитарная страна... Таков выбор русского народа», — расстреливаемого тысячами и тысячами, не могу удержаться и я.

«В огромных глубинах душевных лабиринтов русской души обязательно сидит погромщик... Сидит там также раб и хулиган».

«Пусть все эти русские, украинцы... рычат в пьянке вместе со своими женами, жлѣкают водку и млеют от коммунистических блефов... без нас... Они ползали на карачках и поклонялись деревьям и камням, а мы им дали Бога Авраама, Исаака и Якова».

«Заметим, — сетует Солженицын, — что любое гадкое суждение вообще о “русской душе”, вообще о “русском характере” — ни у кого из цивилизованных людей не вызывает ни малейшего протеста, ни сомнения. Вопрос “сметь или не сметь судить о нациях в целом” — и не возникает».

Если это так, я человек нецивилизованный: вся эта мерзость вызывает у меня не только сильнейший протест, но и не просто сомнение, а даже и уверенность, что отнюдь не каждый русский, и даже далеко-далеко-далеко не каждый русский в глубине души погромщик, раб и хулиган, это просто ложь — и даже хуже, если бессознательная:

что же за картина мира у людей!.. И на что она способна подвинуть при удобном случае!..

Снова непонятно: кто причинил больше вреда еврейскому народу — его враги или эти мстители (к счастью, словесные) за его обиды? Пусть Солженицын примет мои слова как извинения от имени еврейского народа — который ни меня, ни кого-либо другого на это не уполномочил и уполномочить не мог за отсутствием технических средств, которые могли бы материализовать такую фикцию, как «глас народа».

Зато наконец понятно, почему Солженицын принялся за свой титанический труд над этой книгой — от обиды. И еще понятно, каких практических следствий он желал бы от еврейского покаяния: покаявшийся человек не склонен обвинять других. И это не только высоконравственно — побольше думать о собственных грехах и поменьше о чужих, — но и в высшей степени целесообразно: чем больше русским будут давать понять, что они хуже прочих, тем чаще они будут отвечать: «А вы еще хуже!».

И заодно уж отвечу тем возмущающим и Солженицына умникам, которые выводят все российские бедствия из неких вечных свойств русского народа — из его пресловутого менталитета, традиций, протянувшихся аж до монголов, и тому подобной наукообразной дребедени. Никаких вечных народных качеств не существует — наиреспектабельнейшие скандинавские народы начинали как разбойники. Кроме того, совершенно невозможно — системный эффект — разделить, до какой степени сам человек или народ бывают виновны в своих бедах, а до какой их обстоятельства. Но если бы даже это было возможно, взваливать вину человека или народа полностью на его собственную голову до крайности непедагогично. Единственный урок, который они извлекут из подобных обличений, — обличитель их ненавидит. Ну а единственной реакцией на ненависть бывает сами знаете что. И на приязнь, на сострадание — тоже понятно.

Те, кто нес вышеприведенный злобный бред, могут сказать, что они лишь отвечали оскорблениями на оскорбления — но разве на ложь надо отвечать непременно тоже ложью? Ведь мы-то, евреи, претендуем на рациональность.

Солженицын очень проникновенно пишет о тех евреях, которые «пронялись» чувствами более объемными, нежели исключительно свои национальные обиды: «Какую надежду это вселяет на будущее!»

И каким же он видит это будущее?

Две последние главы — две (последние?) возможности: «Начало исхода» и «Об ассимиляции». Два эти выхода на самом деле между собою связаны: антисемитизм больнее ранит тех, «кто действительно настойчиво пытается отождествить себя с русскими». В итоге наиболее острые стимулы уехать получают те, кто сильнее хочет остаться. Хотя, скорее всего, главную роль в нарастании еврейского самосознания сыграло то, что отверженность от российского государства ослабила их экзистенциальную защиту и заставила искать новой. Однако Солженицын с явным сарказмом отзывается о готовности американского капитала помогать советскому правительству в обмен на право эмиграции «именно и только евреев». «Никакие ужасы, творимые Советами, не могли пронять Запад — лишь когда коснулось отдельно евреев...» — таков примерно ход его мысли. Однако все ужасы 37-го пали на голову евреев уж никак не меньше, чем на других, и ничего, Запад проглотил. Запредельная антисемитская истерия в гитлеровской Германии тоже не побудила Запад приютить у себя массы еврейских беженцев.

После 1933 года, когда евреям в Германии уже не просто чинили неприятности, а прямо убивали, Американский легион и Союз ветеранов требовали полного запрета на въезд беженцев. И организации эти были отнюдь не слабые: пара миллионов членов, включая чуть ли не треть конгресса, да еще поболее того единомышленников охватывали десятки, если не сотни мелких структур. Это если говорить об активистах. Но их желание закрыть страну разделяли примерно две трети рядовых граждан. Этим мнением, да, мнением народным создавался чиновничий саботаж, усилиями которого за время войны даже весьма нещедрая квота в двести с лишним тысяч душ была реализована лишь на десятую часть. Осквернение еврейских кладбищ, свастики на стенах синагог и еврейских магазинов, избиения, на которые полиция закрывала глаза, антиеврейские листовки,

карикатуры, надписи на этом фоне выглядят уже сравнительно невинными забавами. По некоторым опросам, больше половины американцев считали, что евреи в США забрали слишком много власти, и даже «Новый курс» Рузвельта называли «Еврейским курсом» («New Deal» — «Jew Deal»); правда, лишь треть этой половины готова была на деле принять участие в антиеврейской кампании, тогда как остальные соглашались только отнестись к этому с пониманием.

В таком окружении даже после войны авторитетные еврейские организации в Нью-Йорке отвергли предложение о создании мемориала холокоста, предпочитая не напоминать ни о своих успехах, ни о своих страданиях.

Сегодня обстановка в Америке совершенно иная, и я ворошу эти малоприятные воспоминания совсем не для того, чтобы растравить старые обиды. Мысль моя совсем другая: славны бубны за горами. Сказки о заморских рыцарях без страха и упрека никак не помогут поладить с теми соседями, с которыми свела судьба, зато разладить ревностью существующее равновесие они очень даже могут, порождая несбыточные мечты и неосуществимые требования.

Кажется, довольно многие евреи из немногих оставшихся до сих пор верят, что кто-то станет о них заботиться в каких-то иных целях, кроме собственных.

Начиная с шестидесятых-семидесятых, «товаром стал дух еврейского мятежа» (В. Богуславский, «22», 1984, № 38). Но готовность платить за дух — это же явно бескорыстный романтический порыв, однако романтик Солженицын почему-то пишет о нем без всякого энтузиазма. Зато вполне последовательно с презрением отзывается о тех, кто через пробитую брешь отправился напрямик в Америку за более «легкой» западной жизнью. «В чем духовное превосходство тех, кто решился на выезд из “страны рабов”?» — спрашивает он, и я недоумеваю: наверно, ни в чем; но откуда вообще взялся этот вопрос? Почему от евреев нужно ждать какой-то повышенной жертвенности? И разочаровываться, когда они ведут себя всего лишь как люди?

Последняя глава, «Об ассимиляции», рисует, с одной стороны, картину мощнейших ассимиляционных процессов, с другой — содержит вереницу цитат, настаивающих на непрочности обретаемой евреями новой национальной идентичности. Итог? «Пока что ассимиляция явлена недостаточно убедительно. Все, кто предлагали пути ассимиляции всеобщей, — обанкротились. <...> Но отдельные яркие судьбы, но индивидуальные ассимилянты большой полноты — бывают. И мы в России — от души приветствуем их».

А как быть с ассимилянтами не столь большой полноты? Две любви, две страсти, два борения — слишком много для одной души, с этим, судя по всему, Солженицын согласен. И все-таки рискну сказать, что присутствие в обществе людей с усложненной, противоречивой психикой может сделать его не только более эстетически богатым, но и более мобильным. Твердая, неколебимая, простая национальная идентичность — вещь очень ценная, когда перед народом стоит историческая задача сохранить свою идентичность в противостоянии другим нациям. Но бывают эпохи, когда не менее важной исторической задачей становится задача обновления этой идентичности, задача отыскания себя в сближении с другими народами, — и тут-то традиционный патриотизм упрощенного, черно-белого типа может сделаться из достоинства опаснейшим препятствием.

Материальные интересы русских и евреев уже и в сегодняшней России практически совпадают: в неблагополучной стране даже и самые преуспевшие евреи будут всегда оставаться под дамокловым мечом социальной зависти, удесятеренной национальной неприязнью, а в России процветающей хватит места всем. Но поскольку и социальная вражда, и социальное единство создаются в основном не материальными интересами, а какими-то злыми или добрыми сказками, то нам, я думаю, и русским, и евреям, вполне по силам создать убедительную сказку о нашей общей трагической, но вместе с тем и прекрасной судьбе: наша совместная история дает более чем достаточно материала и для этого. Можно, разумеется, из нее вывести и другую сказку — что мы, например, посланы во испытание друг другу. Но можно также, не солгавши ни словом, сотворить

многокрасочную историю о том, что мы рождены обогащать и усиливать друг друга, — будь я президентом, я бы непременно заказал такой лазоревый двухтомник: «Двести лет вместе» — 2. Да, мы громоздили и совместные безумства, и совместные мерзости — но мы творили и совместные подвиги и созидали совместную красоту: история нашей общей жизни прекрасна и величественна (что-то подобное я пытался выразить в своем романе «И нет им воздаяния»). Ну а то, что чувство величия невозможно без примеси ужаса — эта истина из разряда азбучных.

Простодушные люди могут возразить или даже возопить: но Солженицын, по крайней мере, зовет нас к правде, а вы безо всяких стеснений — ко лжи! Звать на словах можно к чему угодно, но на деле мы можем творить лишь коллективные фантомы. И любовь творит фантомы добрые, а обида злые.

Но две любви — совсем не много для одного сердца. Я люблю оба мои народа, а потому и вижу их совместную историю через другие светофильтры — ничуть не более лживые, чем у Солженицына, хотя ничуть и не более правдивые. Мне не требуется лгать, чтобы ощущать боль и русских, и евреев, чтобы, сочувствуя Израилю и ощущая совершенно родной европейскую культуру, чувствовать своей родиной все-таки Россию. Чувствовать себя частицей именно этого бессмертного потока.

Уверен, я не один такой.

УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА

Но с чего начинается родина? С обмана, отвечают марксисты и либералы. Для первых родина — это ширма, под прикрытием которой обдeldывает свои делишки буржуазия. Для вторых (для самой буржуазии) родина — это ширма, под прикрытием которой обдeldывает свои делишки некое антропоморфное «государство». И все-таки дерзну возразить: родина, эмоциональное отождествление себя с каким-то народом дарует человеку три важнейшие иллюзии, без которых он обречен на беспросветное уныние, — это иллюзия могущества, иллюзия красоты и иллюзия бессмертия. Ибо примерно этими иллюзиями и создаются нации. Кто красивее? — вот тот главный роковой вопрос, из-за которого народы будут еще долго истреблять друг друга.

Недавно сначала в Америке, а затем и у нас наделала некоторого шума книга Юрия Слезкина «Эра Меркурия: евреи в современном мире» (М.: НЛЮ, 2005). Еврейский вопрос Ю. Слезкин помещает в контекст настолько широкий, что он почти утрачивает свою пикантную специфику. Общая схема его примерно такова: народы делятся на аполлонийцев и меркурианцев — одним покровительствует заведующий скотоводством и земледелием благородный Аполлон, другим шустрый и жуликоватый Меркурий. Первые обеспечивают «базис», вторые «надстройку» общества, и едва ли не во всех уголках земли при каждом аполлонийском народе имеются собственные евреи, которые носят свои экзотические имена с таким же достоинством, с каким владыки базиса носят свои. Серьезное недовольство возникает только тогда, когда у наиболее эмансипированных меркурианцев появляется желание войти в аполлонийское общество. В которое их принимают с объятиями не настолько широко распространенными, как им хотелось бы.

И, если отказаться от прозрачных псевдонимов, именно в тот исторический момент наиболее оскорбленными себя и почувствовали отнюдь не самые сирые и убогие из еврейства, но прежде всего те, кто имел наилучшие шансы хорошо устроиться, — именно для них было невыносимо ощущать себя людьми второго сорта пускай в одном, но очень важном пункте — национальном. То есть именно в том, в котором люди обычно черпают свои важнейшие иллюзии. Можно было бы, конечно, предложить им быть поскромнее, но бог не создал человека скромным, он создал его по своему образу и подобию...

Выйти из нестерпимого для пассионариев унижения можно было разными путями: можно было завести собственный аполлонийский клуб (сионизм), можно было прийти до полной самоотверженности по отношению к тому престижному хозяйскому клубу, куда тебя не пускают, то есть сделаться аполлонийцем из аполлонийцев (русским из русских), но можно было попытаться и разрушить этот клуб. Это, в свою очередь, можно было сделать двумя путями: объединить все клубы (народы) в один — путь коммунизма — или, напротив, разложить все престижные национальные общности на атомы — путь либерализма. И вот тогда-то во всех общественных движениях, направленных на разрушение традиционных укладов (и в первую очередь своего, еврейского) евреи оказались едва ли не самой активной национальной группой.

Национальное аполлонийство всюду реагировало просто — досадой, ограничениями, а в самых крайних случаях попытками уничтожить хотя бы национально выделенную часть своих противников. С коммунистическим же аполлонийством, в теории считавшим нации временным пережитком до их слияния в одну, все оказалось гораздо сложнее. Ленинская национальная политика была задумана с большим умом. «Наш», «пролетарский» лагерь должен был быть предельно монолитным, «их», «буржуазный» — максимально раздробленным; поэтому в чужом лагере все национальные движения следовало максимально стимулировать, в своем — максимально подавлять; однако делать это так, чтобы зарубежные «националисты» до поры до времени не догадались, что их ждет.

Но невозможно ведь уничтожить патриотически настроенных представителей собственных национальных меньшинств и большинств так, чтобы чужие этого не заметили. Приходилось в пропаганде все национальное поддерживать — на деле выжигать каленым железом. Сталин, правда, с самого начала был склонен ставить на самую сильную лошадь — русскую, но, обруганный великорусским шовинистом, отступил практически до начала войны, когда вновь решил ставить не на новомодную интернациональную выдумку, а на проверенную веками и испытаниями национальную сказку.

Тогда-то и завершилось медовое двадцатилетие евреев и советской власти: советская власть начала распатывать иллюзию общей судьбы русских и евреев, больше воспевая классических аполлонийцев как действительно наиболее могучих и не акцентируя отдельно взятые подвиги и страдания новых аполлонийцев ленинского призыва. И оказалось, что страдания важнее, чем подвиги. Холокост пробудил национальное чувство в самых что ни на есть беззаветных комсомольцах-добровольцах, казалось бы, окончательно ассимилированных как в пролетарском интернационализме, так и в его будущем физическом теле — русском народе. А тут наконец подспела и вторая важнейшая компонента национальной идентичности — возможность гордиться подвигами своего народа... Героическое возрождение Израиля на древней Земле обетованной вывело сионистскую грезу в серьезные конкуренты русско-пролетарскому коктейлю. Быть может, еще и можно было бы как-то примирить две эти сказки, но Сталин желал монополии. Удар по «космополитам» все равно надолго породил бы взаимное недоверие между аполлонийством и меркурианством, если бы даже советская власть вновь вернулась от политики кнута к политике пряника. Но она предпочла не переманивать сомнительных, но, напротив, отделить их от наиболее надежных...

Результат мы все видели сами, а почти все испытали и на себе. И хуже всех снова пришлось тем, кто в одностороннем порядке вообразил себя полноправным членом хозяйского клуба. И какие же способы прорыва из гетто Ю.Слезкин рисует как наиболее удавшиеся из четырех главных —

бегство в интернационализм, бегство в русскую культуру, бегство в либерализм или бегство в собственную аполлонийскую историю?

Интернационализм, очевидно, приказал долго жить — он, по-видимому, вообще нежизнеспособен, поскольку неясно, каким образом он может воспроизводиться в веках. Ведь интернационалисты не составляют какого-то древнего влиятельного ордена, а чтобы такой орден мог возникнуть, они должны приобрести все признаки нации: грезу о собственной избранности, единые внешние признаки вплоть до языка и ритуалы, позволяющие отличать своих от чужих, дабы вступать в брачные союзы преимущественно друг с другом и воспитывать в детях это же предпочтение... Либерализм тоже не может создать самостоятельный социум, ибо не может существовать такое общество, которое прямо бы воспитывало в своих членах неприязнь и недоверие к себе. Либеральное меркурианство может жить и процветать лишь при каком-то аполлонийстве, которое станет обеспечивать физическое выживание в веках. Удачный пример — сегодняшняя еврейская община на берегах Гудзона, приносящая Америке огромную пользу на всех верхних этажах той пирамиды, которой издавна уподобляют систему разделения общественного труда. Похоже, эта община по-своему даже патриотична по отношению к аполлонийской Америке, — что не мешает ей издали любить и поддерживать Израиль, сделавшийся родиной некоего нового просвещенного аполлонийства. Возможно, не будь советская власть такой ревнивой, нечто подобное могло бы сложиться и у нас в России. Впрочем, оно отчасти и сложилось, но уж в очень мизерных и на глазах иссякающих размерах.

Бегство евреев в русскую культуру в ее утопической, чисто духовной форме тоже не может воспроизводиться особенно долго, тем более в сугубо либеральной версии: я-де люблю русский язык, русскую литературу и ненавижу русское государство, люблю поэму «Медный всадник» и ненавижу предметы, которые она воспевает (люблю свою жену и ненавижу ее скелет), — на такой совсем уж неземной, отрицающей свои истоки и свое собственное физическое тело сказке тоже долго не продержаться. Другое дело те евреи, которые ощущают своей родиной Россию, невзирая на все прошлые и неизбежные будущие осложнения, но они в большинстве

своем мало чем отличаются от обычной русской интеллигенции, соединенные с еврейством главным образом чувством личного достоинства да общей болью. Дети же их, а особенно внуки практически уже ничем не отличаются от русских.

Впрочем, за пределами главной Земли обетованной еврейская греза, похоже, иссякает всюду. В 1940 году, пишет Ю. Слезкин, в смешанных браках состояло 3% американских евреев, а к 1990-му году их доля превысила половину. Политика пряника все-таки оказалась эффективнее политики кнута, соблазн сильнее угрозы.

В сегодняшней России уже сама возрастная структура еврейского населения — демографический приговор: молодежи до 18 лет около 5%, пенсионеров же больше половины. И даже у двух третей активистов еврейских общественных организаций Петербурга, по данным известного историка и социолога Бориса Миронова, среди друзей преобладают неевреи, а 85% считают смешанный брак абсолютно нормальным делом.

Евреев, как видим, умиротворило не отторжение, но приятие. Удивительно, что так мало обнаружилось европейских мудрецов, которые приложили бы эти уроки к России. За ласковое слово она иногда бывает готова отпустить из своей империи целые страны, а уж что до русских европейцев, проповедников европейской культуры и европейского образа жизни — она сразу в них влюбляется, чуть только почувствует себя в экзистенциальной безопасности. Если даже проповедник окажется неблагонадежным по национальной линии.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТСКИЙ ЕВРОПЕЕЦ

По-настоящему любить, а особенно боготворить мы умеем лишь плоды собственной фантазии. Поэтому даже самая гениальная книга может облететь страну, а тем более земной шар только на гребне какой-то всеохватной грезы, ибо мир реальностей живет не книгами. Так прокатилась по миру слава Солженицына, а лет за двадцать до того, хотя и при неизмеримо меньшем накале, прогремел другой властитель наших дум Илья Эренбург. Который в ту пору казался почти что единомышленником Солженицына, будучи на самом деле едва ли не его антиподом. Антиподом, разумеется, не как еврей — как западник. Западничество — это сегодня, пожалуй, то главное, что раздражает в евреях русских патриотов. Ибо экзистенциальную их защиту создает привязанность к собственному, а не к чужим народам, как бы они ни были хороши.

* * *

Эренбург в последние годы его жизни был несомненно уже не столько реальным человеком из плоти и крови, сколько легендой. Особенно среди прогрессивно, то есть по-западному настроенной провинциальной интеллигенции. Это был образ даже не борца с режимом, а скорее олимпийца: власть постоянно осыпала его критическими стрелами, а он продолжал творить, провозжая в стремительное забвение одно поколение властителей за другим, демонстрируя тем самым, что он пребывает за пределами их досягаемости.

Поэтому номера «Нового мира», где с начала классических шестидесятых печатались его тоже легендарные воспоминания «Люди, годы, жизнь», воспринимались не иначе как откровение. Особенно символично было то, что и тогдашний «Новый мир» возглавлял человек-легенда — Александр

Трифонович Твардовский, уже не олимпиец, но деятель, заступник народа, то есть прежде всего русского крестьянства («тетки Дарьи»): таким образом, в этих мгновенно расхватывавшихся голубых номерах словно бы протягивали друг другу руки народ и интеллигенция, русские и евреи, воля и культура.

И когда, так и не завершив свой грандиозный труд, в августе 1967-го Эренбург отошел в иной мир, было особенно трогательно, что в ведущем журнале страны в последний путь его проводил именно Твардовский: «Писательскую судьбу Ильи Эренбурга можно смело назвать счастливой. Очень редко бывает, что художник уже на склоне лет создает свою самую значительную книгу, как бы итог всей своей творческой жизни.

...Романист, публицист, эссеист и поэт Илья Эренбург именно в этом жанре, привлекающем читателя искренностью и непосредственностью личного свидетельства о пережитом, в результате слияния всех сторон своего литературного таланта и жизненного опыта достигает, на мой взгляд, огромной творческой победы. Этой его книге, уже обошедшей весь мир в переводах на многие языки, безусловно, обеспечена прочная долговечность».

Предсказание, можно сказать, полностью оправдалось: по прошествии тех самых сорока лет, которые понадобились Моисею для обновления притерпевшегося к рабству народа, «Люди, годы, жизнь» переиздаются и читаются. Вопрос только в том, как читаются — с любознательностью и почтением, как читаются литературные памятники, или с личным сопереживанием, как читаются художественные исповеди. Ведь вино, заключенное в книгах, чаще всего умирает не только потому, что становятся неинтересными содержащиеся в них сведения, но еще и потому, что теряет обаяние образ того, кто все это рассказывает. А обаятельным мы можем ощущать только того, кто в достаточной степени напоминает нам нас самих — какими мы бываем в своих мечтах. Тот, кто вовсе лишен наших слабостей, может вызвать наше глубочайшее уважение, но не любовь.

И Эренбург, каким он является в своих мемуарах, слабостей почти не имеет: мы никогда не видим его растерянным,

мечущимся, творящим глупости, а то и подлости, что, увы, бывает практически с каждым из нас, — у него как будто бы даже нет тела: у него никогда не болит живот, не промокают ноги — я не уверен даже, что в его эпохальной книге можно отыскать такие слова. В ней и очень мало слов, характеризующих физические свойства предметов — горячие они или холодные, мягкие или твердые, красные или фиолетовые, — в ней даже почти нет возгласов удивления, негодования, восторга, отчаяния — всюду царит благородная сдержанность: «Сейчас у меня слишком много желаний и, боюсь, недостаточно сил. Кончу признанием: я ненавижу равнодушие, занавески на окнах, жесткость и жестокость отъединения. Когда я писал о друзьях, которых нет, порой я отрывался от работы, подходил к окну, стоял, как стоят на собраниях, желая почтить усопшего; я не глядел ни на листву, ни на сугробы, я видел милое мне лицо. Многие страницы этой книги продиктованы любовью. Я люблю жизнь, не каюсь, не жалею о прожитом и пережитом, мне только обидно, что я многого не сделал, не написал, не догоревал, не долюбил. Но таковы законы природы: зрители уже торопятся к вешалке, а на сцене герой еще восклицает: “Завтра я...” А что будет завтра? Другая пьеса и другие герои».

Увы, сегодня господствуют иные представления об искренности и непосредственности...

Но что, если взглянуть на главную, биографическую книгу Эренбурга сквозь призму других его книг, помнящихся в значительной степени уже одним только специалистам?..

Гении — самые пристрастные и субъективные люди на земле, но именно их приговоры чаще всего становятся окончательными. «Циник не может быть поэтом» — если бы эти слова Марины Цветаевой относились исключительно к сущности поэзии, их вполне стоило бы высечь на мраморе, ибо поэзия предполагает взгляд на жизнь как на нечто высокое, и сколько бы поэт ни бичевал ее, сколько бы ни выворачивал ее язвы и мерзости, он остается поэтом лишь до тех пор, пока каким-то образом дает понять, что его горечь и отвращение порождены обидой за поруганный идеал. Однако цветаевский афоризм относился к вполне конкретному литератору Илье Эренбургу, который до конца своих

дней желал считать себя поэтом и мог в этой своей мечте утешиться не только серьезными печатными отзывами Брюсова и Волошина, а также полуапокрифическим устным отзывом Блока, но и чеканной телеграммой Анны Ахматовой: «Строгого мыслителя, зоркого бытописателя, всегда поэта поздравляет сегодняшним днем его современница Анна Ахматова».

Приблизительно в это же самое время вступившего в восьмой десяток «циника» распекал Никита Сергеевич Хрущев за то, что Эренбург полушутя предлагал распространить борьбу за мир на сферу культуры. Мы стоим на классовых позициях в искусстве и решительно выступаем против мирного сосуществования социалистической и буржуазной идеологий, а искусство относится к сфере идеологии, строго напоминал партийный вождь, возможно, не догадываясь, что главный советский плюралист мог бы похвастаться куда более давними и высокими партийными знакомствами, нежели он сам.

* * *

Дерзкий московский гимназист Эренбург и в самом деле упоминался в жандармском рапорте в одном ряду с такими будущими большевистскими тузами, как Бухарин и Сокольников, но, после положенных отсидок и высылка унесши ноги в канонический Париж, где он позволил себе вступить в препирательства с самим Лениным, социал-демократический Павел внезапно преобразился в декадентского Савла:

В одежде гордого сеньора
На сцену выхода я ждал,
Но по ошибке режиссера
На пять столетий опоздал.

Прямо-таки сам Александр Александрович Блок, правда, сильно разбавленный:

Девушки печальные о Вашем царстве пели,
Замирая медленно в далеких алтарях...

И тем не менее все сопутствующие поиски, блуждания, метания от религиозности и эстетства к неопрIMITивизму были все-таки странноваты для начинающего циника, иногда впадающего почти в обериутскую чувствительность:

Ты любила утром приходить ко мне
И волосики любила на спине.
И над оспинкой родимое пятно, —
Ведь тебе же нравилось оно.

Эренбург сделался интересным поэтом лишь тогда, когда (в направлении поисков, похоже, опередив самого Маяковского) дал волю не сентиментальности, а отвращению:

Тошнит от жира и от пота,
От сотни мутных сальных глаз,
И как нечистая работа
Проходит этот душный час.
А нищие кричат до драки
Из-за окурков меж плевков
И, как паршивые собаки,
Блуждают возле кабаков.

Он и собой уже не умилялся:

Я пью и пью, в моем стакане
Уж не абсент, а мутный гной.

И если чем-то рисовался, то разве что подчеркнутым нежеланием заботиться о своем внешнем виде. «С болезненным, плохо выбритым лицом, с большими, нависшими, неуловимо косящими глазами, отяжелевшими семитическими губами, с очень длинными и прямыми волосами, свисающими несуразными космами, в широкополой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, сторбленный, с плечами и ногами, ввернутыми внутрь, в синей куртке, посыпанной пылью, перхотью и табачным пеплом» — таким увидел Эренбурга-монпарнасца Максимилиан Волошин в 1916 году.

В войне Эренбург-корреспондент тоже не желал видеть ничего красивого, поэтического, но — без этого невозможно и писать стихи о ней, ибо в поэзии ужас и отвращение не-

пременно должны перемешиваться с восторгом. Поэзия без «красивости» и «литературы» невозможна, поэзия и брюзгливость несовместимы.

Однако первые же известия о «бархатной» весенней революции пробудили боевой дух бывшего подпольщика: Эренбург устремляется в Россию и проживает вместе с нею все ее окаянные дни, уже в ноябре Семнадцатого сложив первую «Молитву о России»:

Господи, пьяна, обнажена,
Вот твоя великая страна!
Захотела с тоски повеселиться,
Загуляла, упала, в грязи и лежит.
Говорят — «не жилища».

.....

О России
Миром Господу помолимся.

«Молитвы» быстро сложились в целый сборник, полурасхваленный за искренность, полуобруганный за истерику и прозаизмы, но вызвавший острые столкновения мнений и не забытый даже через восемь лет как «один из самых ярких памятников контрреволюции нашей эпохи» (С. Родов). Хотя сегодня многие фрагменты этого памятника вполне могли бы использоваться коммунистической пропагандой, оплакивающей конец Советского Союза:

С севера, с юга народы кричали:
«Рвите ее! Она мертва!»
И тащили лохмотья с смердящего трупа.
Кто? Украинцы, татары, латгальцы.
Кто еще? Это под снегом ухает,
Вырывая свой клоч, мордва.

Эренбурга не отвращают от России даже ночные киевские погромы: «И теперь я хочу обратиться к тем евреям, у которых, как у меня, нет другой родины, кроме России, которые все хорошее и все плохое получили от нее, с призывом пронести сквозь эти ночи светильники любви». Однако решение уехать он принял еще в Москве, зимой 17–18-го: «Делаю это для того, чтобы спасти для себя Россию, возможность внутреннюю в ней жить».

И наконец после обычных в то героическое время приключений Эренбург (с советским паспортом в кармане) снова оказался за границей и, высланный из Франции, в бельгийском местечке Ля-Панн в течение одного летнего месяца 1921 года написал свой первый и лучший роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников». Роман был очень хорош как первое достижение в прозе и просто изумителен как обещание на будущее: Эренбург наконец-то нащупал главный свой талант — талант скепсиса, талант глумления над лицемерием и тупостью всех национальных и политических лагерей. Себя он тоже не пощадил — герой-рассказчик по имени Илья Эренбург, конечно, тоже не более чем карикатура, но... Но и не менее чем. Не всякий бы отважился живописать своего тезку и однофамильца, не гнушающегося и должностью кассира в публичном доме, такими, скажем, красками.

«Мне не свойственно мыслить возвышенно. С детства я горблюсь, на небо гляжу, лишь когда слышу треск самолета или когда колеблюсь, — надеть ли мне дождевик. В остальное время я гляжу под ноги, то есть на грязный, обшмыганный снег, на лужи, окурки, плевки». Угодив в немецкий лагерь (речь, напоминая, идет о Первой мировой войне), «я... скулил и всячески проклинал культуру, писал все, что писать русскому писателю при подобных обстоятельствах полагается: “Россия — Мессия, бес — воскрес, Русь — молюсь, смердящий — слаще”». Реальный Илья Эренбург устремился в Россию делать историю, а его персонаж Илья Эренбург в дни октябрьского переворота сидел в камерке, жевал холодную котлету и цитировал Тютчева: «Счастлив, кто посетил сей мир...». «Проклятые глаза, — косые, слепые или дальнотзоркие, во всяком случае, нехорошие. Зачем видеть тридцать три правды, если от этого не можешь схватить, зажать в кулак одну, пусть куцую, но свою, родную?»

Похоже, патетическую часть своей личности Эренбург передал демоническому Учителю и Провокатору, а скептическую — Илье Эренбургу, «автору посредственных стихов, исписавшемуся журналисту, трусу, отступнику, мелкому ханже, пакостнику с идейными задумчивыми глазами». Менее циничный писатель наверняка поступил бы обратным образом. И самолично воспел бы индустриальное будущее,

когда «Парфенон будет казаться жалкой детской игрушкой в столовых исполинских штатов. Пред мускулами водокачки застыдятся дряблые руки готических соборов. Простой уличный писсуар в величье бетона, в девственной чистоте стекла превзойдет пирамиду Хеопса». Но Эренбург-персонаж убежден, что если из двух слов «да» и «нет» потребуется оставить только одно, дело еврея держаться за «нет».

Это лучше всего удавалось и Эренбургу-художнику: «культурных» пошляков и лицемеров в своих первых романах он изображает с такой проникновенной ненавистью и даже некоторой живописной роскошью, что становится ясно: при всей своей международной известности и звании советского классика свой главный талант Эренбург зарыл-таки в землю. Он мог бы сделаться советским Свифтом, но эпоха требовала не издеваться над своими глупостями и мерзостями, а воспевать себя, к чему Эренбург был наименее приспособлен природой своего отнюдь не бытописательского дарования. Его героями были не индивиды, но идеи, мечты, типы, народы, социальные группы. Он, если угодно, был певец обобщений, что настрою воспрещалось в эру идеологически выдержанного неопереводимости.

Нет, Эренбургу и даже его однофамильцу был все-таки не чужд и пафос: «Только обросшие жиром сердца не поймут трогательного величия народа, прокричавшего в дождливую осеннюю ночь о приспевшем рае, с низведенными на землю звездами и потом занесенного метелью, умолкшего, героически жующего последнюю горсть зернышек, но не идущего к костру, у которого успел согреться не один апостол».

А в 1922 году в книжке «А все-таки она вертится!» (издательство «Геликон», Москва—Берлин) Эренбург в совершенно футуристическом и едва ли даже не фашистском духе воспел «конструкцию», волю и душевное здоровье, граничащее с кретинизмом («свежая струя идиотизма, влитая в головы читательниц Бергсона и Шестова»).

НОВОЕ ИСКУССТВО
ПЕРЕСТАЕТ
БЫТЬ ИСКУССТВОМ.
«Новый дух — это дух
КОНСТРУКЦИИ.

Святая троица нового искусства —
ТРУД. ЯСНОСТЬ.
ОРГАНИЗАЦИЯ.

Наставники современного писателя — детективщики, сценаристы, репортеры.

Смерть капиталистического либерализма кладет конец анархии и разброду и в искусстве тоже. Владыкой мира будет ТРУД.

* * *

По-видимому, рядом не нашлось своего Войновича, который поинтересовался бы: мерин тоже работает — почему же он не сделался человеком? Впрочем, мир и сегодня не понимает, что человека создал не труд, но воображение, то самое, которое двадцатый век стремился вытеснить действием...

Сам же Эренбург в том же «Геликоне» (и почти сразу же в Харькове и в Москве) в 1923 году издал фантазмагорию «Трест Д.Е.» об уничтожении растленной Европы еще одним гениальным циником. Правда, из-за стилистической и пластической обедненности автор представал здесь не столько наследником Свифта или тем более Анатоля Франса, сколько предтечей Виктора Пелевина, — он не зря учился у сценаристов и репортеров.

Но зато уже в ближайшие годы в очерке о Веймаре он горько сетует на то, что «у нас не стало вдохновения». О «правых» и говорить нечего, но и «левые» — вот они: «вычисляют, думают, изготавливают декларации, отлучают еретиков, покрывают стены и сердца диаграммами, уравнениями, схемами, — и все это, чтобы дойти до псевдоконструктивного стула, до покрашенных одной краской досок, до пуговиц». И даже молодой «конструктивист», глядя на чудесный город, меланхолически вопрошает: «А мы вот, оставим ли мы после себя такой Веймар?» Или только этот виадук, мосты, вокзалы, фабрику Цейса, красоту, вдоволь сухую и эгоистичную, современного Фауста с его стандартизированной, а следовательно и удешевленной душой...

Базаровское «да» миру-конвейеру ненадолго удержалось в душе главного советского еврея. О футуристических восторгах он весьма глумливо отозвался уже в эссе 1925 года «Романтизм наших дней»: несколько молодых людей, увидев американский автомобиль, стали от восторга прыгать, вопить и плевать, подобно дикарям, пляшущим вокруг потерянного рассеянным миссионером клистира. Но по настоящему культ пользы и гигиены расцвел среди голода и нищеты революционной разрухи: «Вместо традиционных муз поэтов стали посещать по ночам соблазнительные машины и даже сахарные головы... Мы мечтали о пустой по существу цивилизации, как мечтают пленники Уолл-стрита о девственных лесах». В голодной и раздетой Москве бритые спортсмены воспевали динамо и добротный драп, а в индустриальном Берлине растрепанные экспрессионисты вопили о рощах Индии, о любви зулусов и о человеческой душе.

Человеческая душа сложнее любого рационального идеала, ее невозможно насытить никакой фабричной продукцией, явственно давал понять «Романтизм наших дней». Особенно душу еврейскую, тут же добавил в «Романтизм» — «Ложку дегтя» несостоявшийся Свифт: «Я буду говорить сейчас о дегте, то есть о приливе еврейской крови в мировую литературу».

«Критицизм не программа. Это состояние. Народ, фабрикующий истины вот уже третье тысячелетие, всяческие истины — религиозные, социальные, философские... этот народ отнюдь не склонен верить в спасительность своих фабрикатов».

«Мир был поделен. На долю евреев досталась жажда. Лучшие виноделы, поставляющие человечеству романтиков, безумцев и юродивых, они сами не особенно-то ценят столь расхваливаемые ими лозы. Они предпочитают сухие губы и ясную голову.

При виде ребяческого фанатизма, начального благоговения еще не приглядевшихся к жизни племен усмешка кривит еврейские губы. Что касается глаз, то элегические глаза, классические глаза иудея, съеденные трахомой и фантазией, подымаются к жидкой лазури. Так рождается «романтическая

ирония”. Это не школа и не мировоззрение. Это самозащита, это вставные когти. Настоящих когтей давно нет, евреи давно стерли их, блуждая по всем шоссе мира».

«Всем известно, что евреи, несмотря на тщедушие, любят много ходить, даже бегать. Происходит это не от стремления к какой-либо цели, а от глубокой уверенности, что цели вовсе нет. Хороший моцион — и только. Как больные сыпняком, они хотят умереть на ходу. В конечном счете знаменитая легенда о Вечном жиде создана не христианской фантазией, а еврейскими икрами».

* * *

Все двадцатые Эренбург, подобно Вечному жиду, пропутешествовал по Европе, издавая сразу на многих языках книги превосходных очерков о королях автомобилей, спичек и грез (Голливуд), неизменно скептической интонацией давая понять, что пекутся все они о суете, — что было бы совершенно справедливо, если бы тому же скептическому кодексу подлежали тоже не вполне одетые короли страны Советов. Но там, в стране восходящего солнца Беломорканала тревогу и брезгливость вызывает все больше «мелко-собственническая накипь», изображенная в манере крепкой очеркистики. Правда, и большевики постоянно выглядят схематичными, хотя и честными болванами, слабо тем не менее воплощающими ЗДОРОВЬЕ и ВЕСЕЛЬЕ...

А большевистскому святому Николаю Курбову, мечтающему перестроить жизнь по геометрическим чертежам, Ленин представляется и вовсе идеальной фигурой — шаром. Любопытно, что зимой 17–18-го самый человечный человек вспоминался Эренбургу в более земном облике: «Приземистый лысый человек за кружкой пива, с лукавыми глазами на красном лице, похожий на добродушного бюргера, держал речь. Сорок унылых эмигрантов, с печатью на лице нужды, скуки, безделья, слушали его, бережно потягивая градина».

Тем не менее книги Эренбурга регулярно издавались в Советской России и неизменно оказывались в центре внима-

ния «мировой общественности», немедленно переводились на европейские языки.

Будни великих строек Эренбург впервые по-настоящему воспел лишь в «Дне втором», вышедшем в Париже в год прихода Гитлера к власти и практически сразу же в «Худлите». Повесть тоже была немедленно переведена на все основные европейские языки и тоже оказалась в центре критической бучи, хотя в художественном отношении и она стояла на уровне хорошего очерка, — лирические же сцены лишь едва подавали признаки жизни (только сам библейский образ второго дня творения обладал определенной изысканностью). Но советскую критику интересовало другое: как он посмел писать о неразберихе и «трудностях». Эренбург, уже вполне освоивший приемы советской демагогии, отбрехивался в манере вполне достойной тех шавок, о которых с большим опережением когда-то высказался лорд Байрон: им велят лаять, а они норовят укусить.

«Гражданская совесть», терпеливо разъяснял Эренбург, не позволила бы ему описывать эти трудности, если бы Кузнецк был только планом, но когда создан не только Кузнецк, но и люди, которые его построили... Правда, в переплавку сгодился не весь человеческий материал — сложный мятущийся интеллигент Володя Сафонов покончил с собой. И не последнюю роль в его гибели сыграла культура, этот наркотик, на котором, как бы выразились сегодня, он «сторчался» (сам Володя употребляет слово «спился»). Вероятно, по той же причине окружающий его триумф воли представлялся ему торжеством примитивности, душевного младенчества.

Критика упрекала Эренбурга и в том, что он не дал колеблющемуся интеллектуалу равно сложного, но не знающего сомнений оппонента, однако не сделал он этого, скорее всего, только потому, что негде было взять: неколебимость всегда обеспечивается эмоциональной обедненностью. Имитация которой и самому Эренбургу досталась с огромным трудом.

Он и в тридцатые годы беспрерывно колесил по Европе, подобно все тому же Вечному жиду, но пафос его очерковой публицистики и публицистической прозы становился все

более простым и отчетливым: фашизм наступал и наступал, и Эренбург становился все менее и менее требовательным к тем, кто теоретически способен был его остановить. Как всякий эстет, сформировавшийся в благополучное время, когда о простом выживании задумываться не приходится, он долгое время ощущал главным врагом пошляка и ханжу, склонного «между двумя свинствами декламировать Шелли или Верлена». Но когда на историческую сцену вышли искренние убийцы, при слове «культура» не только хватаящиеся за пистолет, но и стреляющие без всяких раздумий, Эренбург понял, что время капризов и парадоксов миновало, и принял верой и правдой служить тому, что представлялось ему наименьшим злом. Однако это не объясняет, почему он уцелел в 37-м, — верой и правдой служили многие. Конечно, он был очень полезен в качестве интеллигентного представителя варварской Совдепии, но такие мелочи Сталина не останавливали. Рулетка, скорее всего, или, как в своих мемуарах выразился сам Эренбург, лотерея. И все-таки ужасно хотелось бы узнать, что и на каких весах прикидывал Сталин, в 1942 году присуждая свою премию «Падению Парижа», роману, который и сейчас читается с интересом, а многие персонажи так даже и рельефны. Кроме положительных, разумеется.

После Двадцать второго июня голос Эренбурга звучит как колокол на башне вечевой. Временами его военную публицистику просто страшно читать: «Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово “немец” для нас самое страшное проклятье. Отныне слово “немец” разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал».

«Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей», — призывал Симонов, но Эренбург в интимной лирике говорит не о человеке — о стране:

Будь ты проклята, страна разбоя,
Чтоб погасло солнце над тобою,
Чтоб с твоих полей ушли колосья,
Чтобы крот и тот тебя забросил.
Чтоб сгорела ты и чтоб ослепла,
Чтоб ты ползала на куче пепла...

Нет, надо перевести дыхание — если в Эренбурге и жил циник, то с первых же дней войны он был поглощен ветхозаветным пророком: утонченный релятивист наконец-то схватил свою единственную, родную правду.

«Если дорог тебе твой дом» — таков был зачин знаменитого симоновского стихотворения, но Эренбург постоянно напоминал солдатам, что сражаются они не только за свой дом, но и за все человечество, за всю европейскую культуру: «Защищая родное село — Русский Брод, Успенку или Тарасовку, воины Красной Армии одновременно защищают “мыслящий тростник”, гений Пушкина, Шекспира, Гете, Гюго, Сервантеса, Данте, пламя Прометея, путь Галилея и Коперника, Ньютона и Дарвина, многообразие, глубину, полноту человека». И этот космополитизм, возвышавший читателя в его собственных глазах, сделал «сомнительного» Эренбурга любимцем и фронта, и тыла, в том числе и немецкого: в одной партизанской бригаде был издан специальный приказ, запрещающий пускать на самокрутки газеты со статьями Эренбурга. Он получал тысячи писем от фронтовиков и скрупулезнейшим образом отвечал на каждое.

Хотя он и написал однажды: «Мы ненавидим немцев не только за то, что они убивают беззащитных людей. Мы ненавидим немцев и за то, что мы должны их убивать», — но, несмотря на все подобные оговорки, фашистской пропаганде не так уж трудно было сделать из Эренбурга еврейско-комиссарское чудовище (даже полузабытый «Трест Д. Е.» был объявлен практической программой лично Эренбурга), специально отмеченное даже в одном из приказов самого фюрера, поэтому со стороны товарища Сталина было довольно-таки неглупым ходом ради дополнительного ослабления полуразрушенной немецкой обороны в апреле сорок пятого публично одернуть Эренбурга в «Правде» устами тогдашнего начальника агитпропа Г. Ф. Александрова: «Товарищ Эренбург упрощает», — немцы, мол, есть разные...

Утешением товарищу Эренбургу послужил резко возросший поток писем с фронта и трофейное охотничье ружье, когда-то поднесенное льежскими оружейниками консулу Бонапарту.

После войны — «борьба за мир», заграничные поездки, выступления, статьи, неизменно «отмеченные высокой культурой», насколько это было возможно, умные и даже во многом справедливые, если забыть, что разоружаться предлагалось лишь одной стороне. Однако и литературную работоспособность он сохранил фантастическую — уже в 1947 году «был удостоен» Сталинской премии его толстенный соцреалистический роман «Буря», в котором если что-то и было хорошее, то напоминание, что и за железным занавесом живут какие ни есть, но все-таки люди, а не уроды с плаката «Поджигатель бомбой машет и грозит отчизне нашей — с нами он не справится, бомбою подавится!»

Во время антизападной кампании, обрушившейся на русских европейцев главным образом еврейского происхождения, вожаки восставшего русско-советского патриотизма уже поздравляли друг друга с арестом главного космополита — Ильи Эренбурга. И тем не менее тысяча девятьсот пятьдесят второй год — год расстрела Еврейского антифашистского комитета, членом которого он тоже был — принес Эренбургу Международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами».

Эренбург, судя по всему, был против любых еврейских объединений, хоть сколько-нибудь напоминающих гетто, полагая, надо думать, что если еврей не способен занять достойное место в индивидуальном состязании, то он и не стоит того, чтобы его защищать. Но когда после «дела врачей» в 1953 году над русским еврейством нависла опасность — если и не депортации, то, во всяком случае, перехода гонений на какой-то качественно новый уровень, Эренбург сумел приостановить руку «красного фараона», — которую тут же перехватила сама смерть.

Сигналом к атаке должна была послужить публикация в «Правде» некоего письма, подписанного наиболее знатными советскими евреями. Смысл письма сводился к тому, что советская власть-де дала евреям все, а они платят за это черной неблагодарностью, сохраняя массовую приверженность буржуазному национализму...

Этим как бы оправдывались будущие действия власти, оправдывались, подчеркиваю, самой еврейской элитой. Но Эренбург в роковую минуту догадался сделать единственно верный ход — мгновенно настучал письмо Верховному Режиссеру: «Я считаю моим долгом поделиться с Вами моими сомнениями и попросить Вашего совета».

Знаменитый борец за мир между народами сумел найти безупречные идеологически, но при этом и убедительные прагматически дипломатические формулы, которых ему и по сей час не могут простить ни сионисты за отрицание самого существования еврейской нации, ни благородные интеллигенты из самопровозглашенного министерства праведности за приятие языка советской пропаганды, — но дело было сделано: тысячи и тысячи судеб были спасены. Только об этом и беспокоился «циник», лихорадочно подбирая идеологические штампы, чтобы обращаться к державцу полумира на его собственном языке.

«Мне кажется, что единственным радикальным решением еврейского вопроса в нашем социалистическом государстве является полная ассимиляция, слияние людей еврейского происхождения с народами, среди которых они живут, я боюсь, что выступление коллективное ряда деятелей советской русской культуры, объединенных только происхождением, может укрепить националистические тенденции. В тексте имеется определение «еврейский народ», которое может ободрить тех советских граждан, которые еще не поняли, что еврейской нации нет.

Особенно я озабочен влиянием такого «Письма в редакцию» с точки зрения расширения и укрепления мирового движения за мир. Когда на различных комиссиях, пресс-конференциях ставился вопрос, почему в Советском Союзе больше нет школ на еврейском языке или газет, я неизменно отвечал, что после войны не осталось очагов бывшей «черты оседлости» и что новые поколения советских граждан еврейского происхождения не желают обособляться от народов, среди которых они живут. Опубликование письма, подписанного учеными, писателями, композиторами, которые говорят о некоторой общности советских евреев, может раздуть отвратительную антисоветскую пропаганду, которую ведут теперь сионисты, бундовцы и другие враги нашей Родины.

С точки зрения прогрессивных французов, итальянцев, англичан и т. д., нет понятия “еврей” как представитель национальности, там “еврей” понятие религиозной принадлежности, и клеветники могут использовать “Письмо в редакцию” для своих низких целей».

Этот исторический документ стоит перечитать тогдашними глазами.

* * *

И затем уже браться за последний эпохальный труд Эренбурга «Люди, годы, жизнь» — как за старое, но грозное оружие. Эпитет «эпохальный» — не преувеличение. Воспоминания Эренбурга действительно составили эпоху в нашем постижении двадцатого века, — в отличие, скажем, от «Оттепели», которая дала эпохе имя, но сама, по-видимому, мало кем была прочитана. По крайней мере, пишущий эти строки при всем своем бесконечном пиетете не смог осилить такую примерно стилистику, которой все советские писатели учились неизвестно даже у кого, но уж во всяком случае не у сценаристов и репортеров: «На заводе все относились к Коротееву с уважением. Директор Иван Васильевич Журавлев недавно признался секретарю горкома, что без Коротеева выпуск станков для скоростного резания пришлось бы отложить на следующий квартал». Сейчас эта забытая манера вызывает нечто вроде даже почтительного удивления: это ж надо так суметь после знакомства с Брюсовым и Волошиным, Андреем Белым и Цветаевой, Мандельштамом и Хемингуэем, Андре Жидом и Ахматовой, Бабедем и Мориаком...

Но я уже невольно пересказываю, за что мы все ухватились, когда с невидимыми авангардными и шумными арьергардными боями к нам, часть за частью, начали пробиваться люди и годы жизни Эренбурга.

С точки зрения властей там все было не так — не те люди, не те годы, не та жизнь. Во-первых, слишком много всяких «формалистов», ради кого, собственно, мы и передавали из рук в руки сначала номера журнала, а затем и тома:

Модильяни, Шагал, Матисс, Мейерхольд, — ведь о них же почти ничего невозможно было отыскать, особенно в провинции, так что Эренбург, можно сказать, первым ввел эти имена в широкий культурный оборот. Во-вторых же, что с партийной точки зрения было еще более недопустимым, Эренбург позволил себе сказать вслух, что сталинским репрессиям сопутствовал некий заговор молчания, все всё понимали, но придерживали язык за зубами. «Нет, это вы, циники, понимали, а мы, кристальные большевики, не понимали!» — восклицали партийные идеологи, предпочитавшие титул дурака клейму труса (хотя обычно им хорошо давались обе роли).

Сегодня трудно даже представить, насколько расширила хотя бы полудозволенную картину мира эта книга — она прорубила новое окно не только в Европу, но и в наше собственное непредсказуемое прошлое. Но — падение царящего над социальным мирозданием советского небосвода породило и новые претензии к ней: если прежде ее ругали за то, что в ней есть, то теперь начали ругать за то, чего в ней нет. И подлинно: Эренбург не покушался на невозможное, а потому очень многое действительно обошел. А что еще хуже — кое о чем высказался прямо-таки в лакировочном духе: планомерное профилактическое истребление людей и структур, способных хотя бы теоретически когда-нибудь сделаться очагами сопротивления, Эренбург уподобил фронтовой ошибке, когда артиллерия бьет по своим. Это у Сталина-то были свои!

Тем не менее автор этих строк до сих пор испытывает неловкость, оттого что, глотнув пьянящего воздуха свободы, и он однажды тоже не удержался от соблазна покрасоваться на фоне покачнувшегося кумира, печатно назвав «Люди, годы, жизнь» энциклопедией советского либерального западничества, — как будто тогда было возможно какое-то иное западничество!.. А ведь пишущий эти строки никогда не претендовал на праведность, тогда как различие возможного и невозможного считается низким лишь в министерстве праведности...

С точки зрения этого министерства еще менее красиво выглядит многолетняя служба Эренбурга в качестве представителя Страны Советов в интеллектуальных западных кругах:

одного взгляда на этого лауреата и депутата, равноправного собеседника всех европейских знаменитостей, было достаточно, чтобы понять, что СССР совершенно европейская страна и что слухи о тамошних притеснениях евреев не имеют под собой никакой почвы. И это правда: Эренбург сделал очень много для улучшения образа Советского Союза в глазах Запада. Но он сделал еще больше для улучшения образа Запада в глазах Советского Союза. Он и впрямь был символом какой-то иной цивилизации, обратив тем самым тысячи и тысячи умов сначала к культурному, а потом и социальному обновлению. Эренбург создал новую для советских людей мечту сделаться европейцами, а именно творцы новых грез и есть тайные владыки мира.

* * *

Сегодня мы ездим в Париж как в Киев, а модернисты чувствуют себя в Москве как дома — интересно, признал бы Эренбург, что мечта его сбылась? Подозреваю, что нет. Вряд ли он одобрил бы наше стремление сделаться «нормальной европейской страной», принятое в качестве высшей цели. Его никогда не привлекала ординарность.

ОСОБЫЕ ПУТИ ИЗ-ПОД ОСОБЫХ КРЫШ

Чтобы быть сильными, нужно быть гордыми, чтобы быть гордыми, нужно чувствовать себя уникальными. Однако наши либеральные гувернеры считают всякие разговоры об особом пути России первым шагом к изоляции и агрессивному национализму, если не к полному нацизму.

В пионерлагере это было тоже самое страшное обвинение: ты что, особенный?! Но если бы этот вопрос услышала наша мама, она бы несомненно ответила: конечно, особенный! Те, кого мы любим, всегда особенные, ординарны и взаимозаменяемы только те, к кому мы равнодушны. И мир, а в первую очередь наши конкуренты, с утра до вечера учит нас скромности, поскольку именно высокая самооценка придает нам сил, и в конце концов мы овладеваем наукой ни на что не претендовать, пропускать вперед тех, кто помнее да покрасивее, чего они от нас, собственно, и добились. Но когда вдруг в нас кто-то влюбляется и говорит: ты единственный, таких, как ты, больше нет, наша душа отвечает не всплеском скромности: ну что ты, таких, как я, тысячи, — нет, всплеском радости. Именно об этом она и грезилась, не решаясь себе признаться.

Каждый человек и каждый народ может любить только тех, кто поддерживает в нем естественное для всякого живого существа чувство собственной уникальности. Зато когда нас оценивают по какому-то чужому критерию — в достаточной ли степени мы европейцы или в недостаточной? — да еще и выставляют не слишком высокую оценку: нет, в недостаточной, — тогда-то нам и хочется отвергнуть и оценщиков, и самое их шкалу. Но, поскольку глобализация все большее число стран и народов выстраивает по единому ранжиру, а высокие места в любом состязании достаются лишь немногим, то проигравшим поневоле приходится искать утешения в идеологиях особого пути — их расцвет есть реакция

на унификацию. И правительства, которые откажутся идти навстречу этой реакции, будут утрачивать популярность, уступая дорогу более услужливым.

Таким вот образом эта могучая психологическая потребность столь многих (в сущности, большинства) народов неизбежно найдет удовлетворение в разного рода идеологиях «особого пути» — только одни из них будут оборонительными, а другие наступательными. Оборонительными идеологиями я называю те, которые декларируют отказ от приза, за который ведется борьба, а наступательными те, которые призывают насильственно захватить этот приз или, по крайней мере, максимально отравить торжество победителей. Уничтожить этот механизм психологической компенсации никому не под силу — попытки его высмеять, изобразить архаической нелепостью могут разве что превратить оборонительные идеологии в агрессивные (направленные в том числе и на своих разоблачителей).

Многие социологические опросы отмечают у россиян симпатию к некоему особому пути, однако никто даже не задается вопросом, оборонительный или наступательный характер носит эта симпатия. Лично мне кажется, что в основном пока что оборонительный, но если почаще выводить этот способ самоутешения на чистую воду, то в конце концов удастся превратить его и в агрессивный.

На мой взгляд, гораздо более целесообразно не бороться с неодолимым стремлением (готовность соответствовать каким-то стандартам может быть проявлена только теми, кто этим стандартам уже соответствует либо находится в двух шагах от этого), а использовать его в разумных целях. Преимущества и соблазны модернизации по европейскому образцу настолько наглядны и огромны, что декларируемые отказы от нее суть, как правило, декларации лисицы, отказывающейся от недоступного винограда. Идеологии особого пути на первых порах чаще всего возникают не как оправдание агрессии, а как утешение в неудачах. И человек, и народ, когда их постигает поражение, говорят себе: «А я и не хотел». И здесь не нужно разоблачать их, повторяя как можно чаще: «Нет, ты хотел, да только у тебя не вышло. Так что не важничай, а учись у более умных и умелых, у более цивилизованных». Если даже это правда (а правдой это бывает

разве лишь наполовину, ибо любой успех наполовину определяется удачей), все равно она будет воспринята как соль на раны и лишь удвоит и без того всегда присутствующую неприязнь проигравших к победителям и даже к самой их цивилизованности. И уж тем более к их внутренним сторонникам, все тем же русским европейцам.

Поэтому правительству, желающему осуществить ненасильственную модернизацию, разумнее отводить нарастающую агрессию временными уловками в том духе, что мы-де сами отказались от упущенного приза, потому что это несвоевременно, слишком дорого, противоречит нашим нравственным принципам, традициям и т. д., и т. д., и т. д.; но мы спокойно все получим, двигаясь собственным особым путем — в свое время, без надрывов, без утраты самобытности, — все эти припевы давно известны. Нужно только не попадать в сети собственной пропаганды, а собирать силы для новой попытки, которую тоже нужно изображать как собственный, никем не вынужденный и никому не подражающий путь развития.

Разумеется, это дело тонкое, утешения и стимулы правящие должны дозировать очень осторожно и быть всегда готовыми что-то прибавить, а что-то убавить в зависимости от реакции управляемых — при неизбежно сохраняющемся риске внезапного выброса фундаментализма, агрессивной версии идеологии особого пути. Но полный отказ считаться с потребностью людей в мягком варианте такой идеологии обеспечивает ее жесткие выбросы со стопроцентной гарантией.

Однако все может оказаться и сложнее, и гораздо проще. Поэтому предлагаю задуматься, может ли обладать какая-то идеология особого пути модернизационным потенциалом? И как она может быть сконструирована, если такой потенциал имеется?

* * *

Модернизация Кавказа — эта тема с большим увлечением обсуждалась на организованном Ингушским государственным университетом конференции, в которой, кроме кавказских историков и социологов, приняли участие представители давно прорубившего окно в Европу Петербурга и активно

модернизирующегося Казахстана. И разговор не мог не зайти о раз за разом повторяющейся и все-таки каждый раз неожиданной истории: то один, то другой народ семимильными шагами нагоняет Европу — и ни с того, ни с сего вдруг поворачивает обратно, к каким-то полузабытым, а то и вовсе выдуманному архаическим (если не варварским) обычаям, институтам, персонажам...

Когда девушки в секулярном Казахстане начинают носить мусульманские платки, а юноши в либеральном Петербурге майки с надписью «СССР», это можно принять за молодежный выпендрейж; когда успешно модернизирующийся Иран взрывает исламская революция, это можно объяснить бедностью и малой образованностью; но вот когда в Российской империи на рубеже веков европейски образованные и индивидуально успешные представители народа, считающегося предельно рациональным, воспаляются грезой о восстановлении собственного государства, утраченного двадцать веков назад — я имею в виду светский сионизм, отказавшийся даже и от языка идиш, на котором говорили миллионы, — тут поневоле задумаешься: а нет ли общей причины в этом регулярном возрождении архаики?

Есть. Народы лихорадочно хватаются за отмирающие элементы своих национальных культур, чувствуя, что вот-вот останутся без крыши над головой. Ибо национальная культура — это система коллективных фантазий, заслоняющая от наших глаз унижительную жестокость жизни, подобно тому как крыша дома скрывает от наших глаз черную бездну космоса. Естественно, любой народ в такой ситуации будет держаться за каждую черепицу и каждый стальной лист с исчезающей крыши и станет, мягко говоря, относиться без симпатии к вольным или невольным разрушителям этой крыши — его экзистенциальной защиты.

* * *

Либеральные идеологи не раз дивились, почему народ не желает простить либеральным реформаторам таких лишений, которые можно считать разве что мелкими неприятностями в сравнении с теми страданиями, какие он претерпевал со стороны модернизаторов авторитарных вроде Петра или Стали-

на, которым, однако, прощается если не все, то очень многое. Ответ обычно дается самоуспоительный: азиатчина, варвары, дикое скопище пьяниц, страна рабов, страна господ...

Однако, к счастью и к несчастью, никакие нации рабов невозможны. Люди всегда испытывают неприязнь к тем, кому вынуждены подчиняться не по своей воле, и всегда ощущают тайную или явную ненависть ко всякому, кто внушает им страх. Люди почитают и охотно повинуются тирану лишь до тех пор, пока видят в нем орудие своих целей. И если какой-то тиран — особенно если не за их счет, а тем более в прошлом — наворотил целую гору подвигов вперемешку с горой ужасов, потомки стараются закрывать глаза на ужасы, ибо воспоминания о подвигах предков укрепляют их экзистенциальную защиту — ослабляют ощущение собственной ничтожности, а именно оно есть главный губитель человеческого счастья.

Модернизаторы же, которые не ставят перед народом великих целей, не поддерживают в нем абсолютно необходимое каждому народу ощущение собственной исключительности и красоты, но всего лишь предлагают ему уподобиться некоей норме, сделаться в лучшем случае двенадцатым в дюжине, — они экзистенциальную защиту разрушают. Ибо представление о собственной дюжинности разрушительно как для личности, так и, в неизмеримо большей степени, для народа. За какие же коврижки народ станет прощать хоть малейшие неудобства планировщикам, которые, перестраивая дом, оставят хозяев без крыши над головой? Пускай страдания не столь уж невыносимы, но зато они вовсе не имеют высокого оправдания, не создают ощущения собственной красоты и значительности. Лишения, вызываемые либеральными преобразованиями, могут быть оправданы только в том случае, если они будут сопровождаться укреплением национальной экзистенциальной крыши.

* * *

Один из наиболее эффективных способов ее ремонта — терапия успехами. Хотя бы небольшими. Хотя бы воображаемыми. Хотя бы не собственными, а успехами тех, с кем униженный и оскорбленный эмоционально себя отождествляет —

вплоть до любимой футбольной команды. Или тем более успехами его страны, эмоциональное слияние с которой являет собою главный слой его экзистенциальной защиты. Но какую красоту и значительность может подарить греза о «нормальности», то есть ординарности? Именно в кризисные эпохи государству необходимо сосредоточивать силы пускай на штучных, но выдающихся достижениях, на всякого рода рекордах — в науке, в искусстве, в технике, в спорте...

Однако такие рекорды не всем по плечу, а главное, их может оказаться недостаточно, если традиционные ценности очень уж далеко отстоят от ценностей модернизируемого общества. Особенно трудно приходится тем народам, чья историческая судьба была веками связана с войной: ценности воина, требующие презирать смерть и уют, почти несовместимы с ценностями строителя, требующими гуманности, умеренности и аккуратности. Если вчера считались высшей доблестью храбрость и щедрость, как шагнуть в новый мир, культивирующий трудовую дисциплину и бережливость? Пионеры модернизации, обладающие этими буржуазными добродетелями, будут отвергаемы традиционным миром: дисциплинированный работник будет окрещен подхалимом, бережливый хозяин скупердяем, предприимчивый бизнесмен проходимцем.

И здесь, в переходный период на помощь может прийти аристократическая модернизация. А именно: «передовой», наиболее модернизированный слой не только не утрачивает классических доблестей, в сущности не так уж необходимых или даже вредных для «новой жизни», но, напротив, концентрирует их в себе с особой силой, подобно тому как европейски образованная аристократия пушкинской поры с особой остротой культивировала физическую храбрость и готовность драться на дуэли из-за пустяковых на наш взгляд поводов. Люди, закладывавшие основы России как великой литературной державы, считали делом чести не уступать каким-нибудь гусарам даже и в бретерстве, казалось бы, совершенно излишнем для литературного труда. Два величайших поэта, Пушкин и Лермонтов, отдали жизнь в схватке с ничтожествами, Толстой был в шаге от дуэли с Тургеневым, крупный чиновник Грибоедов стрелялся с прославленным уж никак не литературными или дипломатическими подвигами Якубовичем...

Разумеется, в какой-то степени это было вынужденным, но вынужденным чем? Все тем же культом храбрости! Пушкин после встречи с гробом Грибоедова вспоминал о недооцененности его поэтического таланта, его государственных дарований и, самое обидное, даже его холодная и блестящая храбрость была в подозрении — все в одном ряду! (Нам, рассуждая о непризнанности Платонова или Булгакова, и в голову не придет размышлять, как бы они вели себя под пулями.)

Кого в Европе можно поставить рядом с этими русскими европейцами? Зачем им было нужно это мальчишество? Этим мальчишеством они защищали собственную экзистенциальную крышу, красоту собственного облика в соответствии с умирающими критериями. Утрированный культ Марса, Вакха и Венеры крышевал их измену заветам отцов. А вот их детям, родившимся уже под новой крышей, эта гиперболизация уходящих представлений о достоинстве более не требовалась — отсюда и сетование старых гусар на то, что молодежь измельчала: «Жомини да Жомини! А об водке — ни полслова». Этот конфликт отцов и детей отражен и в толстовских «Двух гусарах».

Но при этом не надо забывать, что после наполеоновских войн русское офицерство было охвачено сильнейшим порывом к просвещению: все общества, в которых обсуждались проблемы модернизации, трудно даже перечислить.

Я думаю, Кавказу тоже пришлось бы в пору аристократическая модернизация. Если модернизирующий слой станет культивировать в себе классические кавказские доблести (двигаясь при этом вперед, а не назад), это психологически защитит и самих модернизаторов и, что еще важнее, делает их личности, а значит и их миссию привлекательной для масс. Разумеется, я не имею в виду чего-нибудь вроде возрождения набеговой системы — это был бы отказ от модернизации, — я говорю о ее психологическом, экзистенциальном прикрытии. И эта временная крыша растворится сама собой, когда новая жизнь отыщет собственные способы видеть себя красивой и значительной. Тогда-то, сделавшись окончательно ненужной, улетучится и повышенная щепетильность в вопросах чести, склонность хвататься за кинжал, как у русского дворянства отмерла склонность

по любому поводу хвататься за пистолет — когда дуэль перестала служить экзистенциальной защитой.

Чтобы приблизить эту пору, российское государство должно не забывать, что модернизация никогда не принимается из рук чужаков (как русские не хотят считать себя учениками европейцев и оттого временами с большим раздражением отвергают русских европейцев, так и кавказцы не пожелают считать себя учениками русских). Нужно не забывать также, что героев рождает война, а беззаботность — консюмеристов. Если российское государство сумеет обеспечить Кавказу и кавказцам такой уровень безопасности, при котором физическая храбрость превратится в романтическое излишество, это сделается наилучшей предпосылкой для успеха аристократической модернизации Кавказа.

* * *

Итак, особых путей модернизации должно быть, минимум, столько, сколько имеется систем экзистенциальной защиты (общая система экзистенциальной защиты, признание совместной избранности и объединяет культуры в цивилизации). Ибо у каждого народа есть собственная романтизированная история, собственные культурные образцы — собственные герои и святые, предания о которых чаще всего просто несовместимы с современными представлениями о гуманности и рациональности. Для того чтобы примирить эти непримиримости, требуется прежде всего время и новые предания о новых героях и святых. И какой же должна быть экзистенциальная крыша для самой России? Ее базовая формула, мне кажется, может звучать примерно так: мы творим историю. Вместе с другими великими державами.

Здесь несомненно открывается масса роскошных возможностей осмеять желание народа не выходить из-под привычной крыши хотя бы одним прыжком: да разве-де у великой державы бывают такие сортиры, такие пенсии, такая коррупция — перечень наших слабостей и пороков можно длить бесконечно. И я даже не собираюсь возражать, что признаком великодержавности являются не пенсии и не сортиры, а возможность оказывать существенное влияние на ход исторических событий — неизмеримо важнее то, что

попытки лишить народ экзистенциальной защиты хотя бы и путем ее осмеяния вызовут (и уже вызывают) такую ненависть к обновлениям, что это может отбросить страну с осолобого пути модернизации к стандартному пути архаизации.

Есть еще одно попугайское клише, избавляющее от необходимости вдумываться и понимать побудительные мотивы своего народа: имперский синдром (постимперский синдром). Однако гордая риторика при умеренной политике — это отнюдь не скрытая агрессия и мечта о реконкисте, но всего лишь попытка людей хоть как-то сохранить остатки привычного собственного образа, покуда их дети обживутся в более тесном новом доме и возведут на нем новую крышу воодушевляющих и утешительных иллюзий и грез. Вот если бы русские действительно обрели имперский синдром, то есть ответственность за многонациональное целое... Впрочем, может быть, мы и сейчас все еще выживаем за счет имперского синдрома.

Так или иначе, бороться с экзистенциальной ущемленностью насмешками означает заливать угасающие угли бензином. Рационально настроенные наблюдатели месяцами дивились тому, что череда ближневосточных революций так и не выдвинула никакой позитивной программы. Хотя месть — ничуть не менее позитивная программа, чем всякая другая. Если не более. Сжечь дом обидчика — эта акция может очень даже возвысить поджигателя в собственных глазах.

Подарить ему выстраданную возможность ощутить себя красивым и значительным. А это главное, за что мы боремся на этой крошечной земле под бескрайними пустыми небесами.

И так не хотелось бы, чтобы и Россия начала поиски значительности в мести, а не в созидании.

* * *

А между тем в одном очень важном отношении она чуть ли не два века действительно шла особым путем, достигнув совершенно потрясающих результатов благодаря тому, что творческое меньшинство в ней оказывалось освобожденным

и от серпа, и от молота, и от безмена — и от труда, и от торговли. Этим творческим меньшинством оказывалось то дворянство, то научная интеллигенция, но результат каждый раз оказывался то великим, то просто великолепным.

Уже давно сделалась пошлостью констатация той очевидности, что в России всегда жестко, а то и до нелепости жестоко подавлялась политическая свобода. Однако очень редко или даже никогда не обращают внимания на то, что в России постоянно возникали свободные зоны. Зоны, свободные от корысти и заботы о бренном. Зоны, почти невозможные в более демократических странах, где требуется не только трудиться, но и обращать в товар продукты своего труда: недаром гениальнейший из смертных не желал зависеть ни от царя, ни от народа. Хрен редьки не слаще — Пушкин хотел служить лишь своей поэтической прихоти.

На таких-то островках свободы (праздность вольная — подруга размышленья) и рождалась величайшая литература, великая музыка, великолепная наука, позволявшая ученым утолять собственное любопытство за государственный счет. И как раз эти-то островки постаралась уничтожить революция лакеев и лавочников под знаменем рационалистического либерализма — якобы опять-таки последнего слова европейской цивилизации. Того самого рационалистического либерализма, против которого давно пора возвысить знамя либерализма романтического, отстаивающего для творческой личности принцип «не продается вдохновение». А служит красоте и величию человеческого образа. Творит бессмертные дела.

Гарантии свободы для служения не бренному, но бессмертному, идеология романтического либерализма хотя бы для узкого круга — это и есть особый путь России.

А аристократические обитатели этих свободных зон и творят подвиги, становящиеся предметом национальной гордости, и сами служат источником соблазна для творческих меньшинств входящих в Россию и окружающих ее этносов. Из двух главных орудий межнациональной конкуренции — угроза и соблазн — второе приносит многократно менее кровавые и более прочные победы. Но, чтобы соблазнять, надо быть красивыми. Разве гордая горская знать согла-

силась бы сделаться частью имперской аристократии, если бы ее ядро — русская аристократия — было менее блистательным?

Если бы Россия, как это было когда-то, слыла страной, живущей не очень богато и даже не слишком чисто, но регулярно порождающей людей, способных поражать воображение, она привлекла бы к себе сердца всех, кто ощущает в себе нереализованные дарования, чарующей молвой: «В России умеют ценить таланты».

Этот итог я, пожалуй, и назвал бы нашей сегодняшней национальной идеей.

Способной не только воодушевлять нас самих, но и привлекать к нам чужие сердца. Разумеется, аристократии духа тоже необходима красивая родословная, и вроде бы именно для этого и создана комиссия по противодействию фальсификации истории — чтобы бороться с попытками принизить образ России. Но стремление каждого народа иметь возвышенный образ самого себя настолько огромно, что попытка любой комиссии ограждать его репутацию напоминает попытку воробья опекать орла. Если мы начнем изо дня в день оплевывать все национальные святыни, этим мы только вырастим гиперромантическое движение, которое вообще объявит историю России абсолютно безупречной и неприкосновенной. Радикальный национализм в основном и порождается попытками преодолеть национализм нормальный, подобно тому как организм реагирует повышенной температурой на внедрение инородного тела. И вот эта реакция на попытки — безразлично, «объективные» или «необъективные» — принизить образ России в глазах ее населения гораздо опаснее, чем то потенциальное снижение ее репутации, для борьбы с которым и создается комиссия.

Хотя репутация каждого народа столь важный социальный капитал в международной конкуренции, что непрестанная борьба за увеличение собственного капитала и уменьшение чужого абсолютно неизбежна. И если внутри России в защите ее образа от принижения не заинтересованы лишь очень немногие, именно на этом принижении и построившие свою защиту от ужаса собственной ничтожности, то во вне ее тоже лишь очень немногие не пожелают приподнять

свою самооценку за счет страны, которая столько десятилетий внушала страх (да и кто ее знает, на что она способна в будущем). Вот эти-то психологические интересы и определяют все: есть потребность очернять — будут подтасовывать факты в пользу очернения, будет потребность обелять — будут подтасовывать в пользу отбеливания. Объективности не существует, всякое мышление есть подтасовка.

Но чужими репутациями озабочены больше не брокеры и не докеры, а интеллектуалы. И они всегда будут подтасовывать в пользу той картины мира, которая обеспечит им ощущение собственной избранности. Голод в Руанде или свобода слова в России волнуют их лишь в той степени, в какой борьба с ними увеличивает их собственный психологический комфорт. А если самые ужасающие нарушения прав человека станут приходиться в противоречие с какой-то их утешительной сказкой, они закроют на них глаза или найдут тысячи виртуозных оправданий. Мы же помним, как эти воплощения европейской совести, эти нобелевские лауреаты, Ромены Ролланы и Бернарды Шоу, воспевали сталинскую Россию, а Шоу, покидая голодающую страну, похвастался, что писал правду о Советском Союзе, даже еще и не побывав там: ему и видеть было не нужно, чтобы знать правду.

Умнейшие и гуманнейшие мужи Европы предпочитали держать свой скепсис в наморднике, если он угрожал их любимой сказке, дарившей им экзистенциальную защиту. В этом и заключается мой рецепт: будет Россия дарить интеллектуалам светлую сказку об их избранности — они будут нас высветлять, невзирая ни на что, потому что им есть дело только до самих себя. Не будет сказки — не поможет никакая пропаганда: не чиновникам тягаться в софистике с лучшими умами европейской цивилизации, проживающими в том числе и в России.

И какой же сказкой сегодняшняя Россия может очаровать эти лучшие умы? Наши обличители в воспитательных целях любят сопоставлять российский ВВП с какими-нибудь африканскими странами, дабы мы не слишком задирали нос (без чего ни один народ выжить не может), но трудно не видеть, что не в ВВП счастье. Уважают Италию не за ее средней руки достаток — ее чтут за Леонардо, Микеланджело, Ферми. А мы уже век проедаем авторитет

Толстого, Достоевского, Чехова, Чайковского, Мусоргского, Менделеева, Ляпунова...

А еще полвека авторитет Колмогорова, Понтрягина, Ландау, Прокофьева, Шостаковича, Булгакова...

Забыв при этом массу красивейших судеб двадцатого века. Чтобы создать красивую национальную родословную вплоть до нашего времени, нашему государству, благодарение небесам, вовсе не требуется прибегать к фальсификации. Нужно всего лишь регулярно проводить инвентаризацию и обновление своей сокровищницы.

Ее блеск способен очаровать и тех, кого принудить невозможно.

Иной раз переживания просто русских и русских европейцев, которых в сердцах часто готовы отождествить с евреями, в отношениях друг с другом и с воображаемой Европой напоминают любовный треугольник: русские ревнуют, что «жидовствующие» любят Европу больше, чем Россию; русские европейцы обижаются, что соотечественники не желают в них видеть лучших своих представителей; Европа же, подобно нарциссической красавице, хочет наслаждаться чужой любовью и восхищением, не расплачиваясь за них знаками внимания.

Однако любить без взаимности очень трудно. А если речь идет о целом народе, то и вовсе невозможно. Но взаимность Запада мы можем породить уж никак не производством или природными ресурсами. Если только не считать природными ресурсами таланты россиян, а производством — производство гениев. То есть постоянный отбор особо одаренной молодежи и развитие тех сфер — науки и культуры, — где гении выявляются.

Если повезет. Но до сих пор везло.

Только свершениями наших гениев мы и можем очаровать Запад. Российское западничество может принести какие-то плоды лишь тогда, когда будет делать ставку не на посредственный «средний класс», но на поиски и возвращение российских талантов.

Производство гениев — вот другая формула нашей национальной идеи. И если этот путь окажется особым — тем лучше. Это и будет та уникальная миссия, о которой тайно мечтает каждый народ.

Если эта миссия окажется успешной, если Россия снова начнет поставлять миру гениев, она сможет в отношениях с Западом освободиться от мнительности, всегда присущей экзистенциальной незащищенности.

* * *

А экзистенциальная защищенность, повторю под занавес, это главное, для чего возникли и борются за выживание и большие, и малые нации.

Восточный путь, западный путь... Все это тлен и суета. Никакой путь по горизонтали не может наполнить смыслом и красотой человеческую жизнь. И в «сфере образования», формирующей наше будущее, это ощущают особенно остро — ощущают отсутствие вертикали.

МОЖНО ЛИ УМЫВАТЬСЯ ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА?

Когда я в первый раз прочел этот роковой вопрос — можно ли писать стихи после Освенцима? — на меня произвела сильное впечатление высота духа того, кто его задал (Адорно, что ли?). Однако где-то после двухсотого повторения, как всякая настойчивая пошлость, он начал пробуждать протест: а почему, собственно, нет? Почему умываться после Освенцима можно, а писать стихи нельзя? Ведь не только поэзия, но и гигиена не сумела предотвратить кошмаров двадцатого века. Причем без умывания вполне можно обойтись, а без поэзии никак, ибо лишь она — важнейшая склонность нашей психики к самообороне, к изображению реальности не столь безжалостной и безобразной, какова она есть, — и позволяет нам выживать, а иногда даже чувствовать себя счастливыми. А потому и не опасными для окружающих, поскольку у счастливого человека нет причин что-то отнимать у других.

И вообще, откуда взялось такое тотальное разочарование в культуре, если массовые истребления людей — это вполне рутинные и многочисленные эпизоды человеческой истории? Они просто-напросто наконец-то коснулись если не нас самих, то наших родителей? Видимо, дело в другом — прежние зверства (хотя при чем тут звери, звери не убивают во имя идеалов), — прежние ужасы творили люди «дикие», а ужасы двадцатого века — люди «просвещенные». Поэтому разочарование в «просвещении» острее прочих и ощущают люди, работающие на ниве просвещения. Их чувства самым полным образом выражены в статье знаменитого деятеля школьного образования Евгения Ямбурга «Как слово наше отзовется?» («Новая газета», 16.04.2012).

«Вертикальная линия педагогического креста, возводимая столетиями с верой в бесконечные возможности человека, во всемогущество просвещения и связанного с ним поступательного прогресса, в двадцатом столетии с его потоками

пролитой крови дала трещину. Эта данность, осознаваемая сегодня интеллектуалами во многих странах мира, повсеместно порождает кросскультурный шок, всеобщую растерянность, которая в свою очередь оборачивается мрачным констатирующим приговором, на котором настаивают некоторые культурологи: просвещенческая парадигма себя исчерпала.

...Возможно, это и так, но что делать нам, педагогам? Прекратить просвещение детей и юношества на том основании, что его плоды оказались слишком горькими? Уйти в мистику, уповая исключительно на формирование у детей религиозного сознания, укрепляющего нравственную основу человеческого существования? Определенные шаги в этом направлении сегодня делаются. (Достаточно вспомнить о директивно вводимых курсах изучения основ мировых религий в четвертых классах российских школ.) Но если иметь мужество додумывать мысль до конца, то, говоря об исчерпанности просвещенческой парадигмы, такую же жесткую оценку можно дать и парадигме религиозной. Разве почти две тысячи лет существования христианства спасли человечество от ужасов ГУЛАГа и холокоста?

...Проблема эта общемировая, кросскультурная, суть ее сводится к главному вопросу: способно ли в принципе образование в широком смысле слова, включающее обучение и воспитание (на светской и религиозной почве), облагородить природу человека, привить ему нравственные устои, позволяющие сохранять основы нормальной социальной жизни? Вопрос остается открытым».

Так не пора ли наконец закрыть его, твердо и отчетливо ответив: разумеется, нет. Покуда у человека сохраняются индивидуальные потребности, до тех пор у него останутся и мотивы преступать общественные нормы, в чем бы эти нормы ни заключались. Пока сохранится конкуренция социальных и национальных групп, до тех пор сохранится и раздражение их друг против друга. И чем более драгоценен будет предмет, за который идет борьба, тем более страстную ненависть она будет порождать и в тем более священный долг каждая сторона станет возводить все, что помогает ей одержать победу. Ибо нравственность есть не что иное, как идеализация групповых интересов,

возведение интересов — как материальных, так и психологических — в ранг священных прав.

Поэтому мыслители, желающие видеть общество индивидуалистическим, конкурентным и законопослушным, желают впрячь в одну повозку еще более несовместимых лебедя, рака и щуку, чем это делали коммунисты, мечтавшие совместить в человеке самоотверженность и «материализм», то есть убежденность, что физические ощущения неизмеримо важнее всяких там фантазий. Однако для человека, доверяющего только наблюдениям, вполне очевидно, что любые нравственные ограничения лишь ослабляют его конкурентные возможности: всегда удобнее бороться, имея раскованные руки, и только имитировать их скованность для обмана дураков. Петербургский историк Валерий Столов очень убедительно разъяснил мне, что холокост был вовсе не взрывом иррациональности или «наследием Средневековья», но деянием самым что ни на есть рациональным: Средневековье требовало ограничивать и унижать, но не убивать евреев, это как раз рациональность предпочла не притеснять, а уничтожать конкурентов как реальных, так и кажущихся, — нет человека, нет проблемы.

И единственная сила, пока еще не позволяющая всем нам относиться друг к другу так же рационально, как в Освенциме, это поэзия в широком смысле слова — подсознательная уверенность в том, что есть что-то более важное, чем победа над конкурентом в борьбе за приятные ощущения. Сегодня, когда власть религий над человеческими душами многократно ослабела, этой драгоценной уверенностью обладают только те, кто хотя бы частично живет в мире искусства.

То есть, говоря упрощенно, именно после Освенцима нужно писать стихи в тысячу раз более страстно, — понимая, впрочем, что нравственной панацеей и они быть не могут, поскольку, повторяю, нравственной панацеей может быть лишь уничтожение всех индивидуальных интересов.

Е. Ямбург приводит горестные слова преподавательницы физики, испытавшей на себе, как порою начинают вести себя национальные меньшинства, когда им удается стать «большинствами»: «Что толку положить жизнь на алтарь образования,

обучая детей физике, коль скоро в итоге вместо благодарной улыбки за свой труд ты получаешь звериный оскал пещерного человека?»

Мне кажется, что не только учителям, но и всем нам давно пора понять, что, обучая детей физике, мы получаем людей, знающих физику, и не более того. Хотя и не менее: наука ослабляет желание человека рвать у других матценности лишь в той степени, в какой обеспечивает его более увлекательным занятием. Цель образования — распространение знаний, а улыбки лишь приятный побочный продукт, которого может и не быть. Преподаватель физики служит физике, а не морали, он должен именно физику считать самостоятельной профессиональной ценностью, физику как прекрасную и захватывающую науку, а не как хитроумный путь к нравственности, понимаемой как самоограничение неизвестно во имя чего.

Что вменяет человечеству в священный долг рационалистическая теория модернизации, отрицающая понятие священного, — совмещать культ материального успеха с трепетным уважением к чужой собственности.

«Для сторонников модернизации очевидно, — констатирует Е. Ямбург, — что традиционная российская культура критически утратила свою эффективность, она превращается в фактор, снижающий конкурентный потенциал ее носителей. Следовательно, необходимо избавиться от балласта, тормозящего стремительное освоение инноваций. В разряд такого балласта попадают русские народные сказки, воспевающие инертное существование главных персонажей в ожидании чуда, которое вмиг изменит жизнь не в результате собственных напряженных усилий, а по щучьему велению или по милости золотой рыбки. Таким же чемоданом без ручки, который нести неудобно, а выкинуть жалко, предстает весь идейно-ценностный бэкграунд русской классической литературы XIX века, поскольку он находится в неразрешимом конфликте с окружающим современным человека миром».

И слава богу, что находится! Если бы и мир мечты был так же подл и безжалостен, как мир экономической конкуренции, то отпали бы последние тормоза, еще мешающие устроить новый Освенцим для человеческого балласта, не

сумевшего с комфортом «вписаться в рынок». Только еще сохранившиеся в наших умах туманные грезы, что в каком-то ином и не совсем потустороннем мире в людях видят не только источник обогащения или препятствие на пути к оному, — только эти рудименты архаической человечности, наиболее полно сконцентрированные в классической литературе, и не позволяют все недостаточно современное принести в жертву — нет, не просто низкой выгоде — будущему!

Как будто это самое будущее кому-то может быть известно...

* * *

Если бы мы сегодня пожелали найти замену советскому клише «все прогрессивное человечество», это было бы словосочетание «все модернизированное человечество». Слово «модернизация», однако, означает всего лишь «осовременивание», уподобление каким-то современным стандартам. Стандарты при этом, как всегда, задают сильнейшие, победители, поэтому модернизироваться всего-навсего означает уподобляться сильнейшим. То есть в период расцвета арабского халифата или монгольской империи модернизация требовала бы уподобиться монголам либо арабам, а лет через сто, возможно, потребует уподобления китайцам либо индусам.

Лично же я склонен считать современными всех, у кого хватает сил выживать в современном мире, быть тем или иным способом конкурентоспособными. В биологическом мире конкурентоспособность обеспечивается самыми разными и даже противоположными доблестями, а с чьей-то точки зрения даже пороками — индивидуальной силой или плодовитостью, агрессией или робостью, напором или уклончивостью, коллективизмом или эгоцентризмом, стремительностью или неторопливостью, броскостью или скрытностью, способностью наедаться впрок или умением довольствоваться малым, — не странно ли, что в социальном мире конкурентоспособность начинает определяться лишь объемом ВВП или производительностью труда? Если бы в какую-то эпоху весь животный мир уподобился тогдашним победителям — каким-нибудь саблезубым тиграм или мамонтам, —

жизнь на земле давно прекратилась бы, ибо не раз оказывалось, что к новым вызовам лучше готовы не те, кто блистает на авансцене, но те, кто на заднем плане влачит незавидное, на первый взгляд, существование.

Драгоценно разнообразие не только доблестей, но и того, что сегодня представляется слабостями, ибо они, возможно, тоже доблести, еще не дождавшиеся своего вызова, — они составляют фонд рецессивных аллелей человечества, всего человечества, а не только прогрессивного. Энтузиаст-модернизатор, стремящийся всех причесать под одну передовую гребенку, подобен энтузиасту-агроному, желающему сровнять с землей бесполезные снежные вершины, не догадываясь, что они-то и собирают влагу для орошения.

Отсюда, в частности, следует, что высшая цель национальной политики многонациональных государств, квазиимперий, возможно, заключается вовсе не в том, чтобы подогнать все народы под единый «современный» стандарт, но, напротив, в том, чтобы сохранить заповедники «архаики», в которых еще теплятся такие устаревшие качества, как уважение к старшим, преданность семье, готовность производить на свет и воспитывать большое количество детей, презирать алкоголь и наркотики и так далее, и так далее: может оказаться, что именно захолустная архаика, а не торжествующая современность когда-нибудь вытащит человечество из очередного экзистенциального болота, в котором его обитатели утратят такой пустячок, без которого жизнь невозможна, — азарт, готовность к смертельному риску.

Словом, уверенность, что жизнь не тягомотина, но захватывающая драма, участие в которой стоит тех страданий, которые она причиняет.

В борьбе с экзистенциальным ужасом, с ощущением собственной мизерности человечество давным-давно изобрело такое мощное оружие, как трагедия: да, человек бессилен перед роком, но как же при этом прекрасен! И жизнь — да, она ужасна, но и как же грандиозна! И ощущение грандиозности наших бед служит нам таким утешением, что мы вот уже столько веков отправляемся в театр, чтобы со светлыми слезами в тридцатый раз полюбоваться несчастьями Гамлета и Антигоны.

Е. Ямбург совершенно справедливо пишет о том, что ежедневно, заходя в класс, учитель «должен ощущать безусловную ценность своей миссии, постоянно стремиться к обретению сокровенного смысла педагогического труда». И такой смысл ему сегодня может дать лишь трагическое мироощущение, хранимое именно классической литературой, в которой даже поражение, даже смерть оборачивается красотой!

Да, «вполне вероятно, что в одном классе сегодня окажутся юные стихийные фундаменталисты и глобалисты, верующие (разных вероисповеданий) и атеисты, либералы и консерваторы, демократы и сторонники авторитарных способов построения светлого будущего. ...И что прикажете делать учителю: недрогнувшей рукой навязывать свою единственно правильную позицию?»

Трагическое мироощущение в принципе не знает, что такое единственно правильная позиция, в трагедии каждый из соперников по-своему красив и по-своему прав. Если учитель проникнется трагическим мироощущением сам (будущее непредсказуемо, все ценности противоречат друг другу), можно надеяться, что средствами искусства и прежде всего литературы он сумеет внушить его и своим подопечным. И тогда эта архаика заставит непримиримых противников уважать и видеть красоту убеждений друг друга, а там, глядишь, еще и убьет их страсть к окончательным решениям серьезных вопросов.

Если даже это окончательное решение носит гордое имя Модернизация.

Только классическое прекраснодушие способно хоть немножко ограничить власть молоха рациональности (абсолютная власть и его развращает абсолютно). Трагическое искусство препятствует сильным пожирать слабых с полной беззастенчивостью, а остаток веры в детские сказки в роковые минуты способен смягчить отчаяние и ожесточение — авось, еще как-нибудь и обойдется! Таких идиотов, которые возжелали бы заменить упорство и расчет верой в чудеса, в современном мире нет и не предвидится: реальность дает слишком жестокие уроки. Однако жить одним расчетом тоже почти невозможно, ибо та же реальность на каждом шагу столь же безжалостно демонстрирует бессилие

всех расчетов. Уничтожив красивые сказки, рационалисты сами оказываются в экзистенциальном Освенциме.

И на Олимпе модернизации — в Америке — это, похоже, хорошо понимают. Я плохо знаю американские народные сказки — возможно, в них героям никогда не приходит на помощь чудо или удача, возможно, они с детства начинают готовить детей к реальности, стараясь им внушить, что зло в жизни побеждает уж никак не реже, чем добро, что хитрость, а не простодушие есть наилучшее орудие в социальной борьбе и так далее, и так далее. Но уж в сказках, тиражируемых Голливудом, все обстоит ровно наоборот.

Так почему бы нашим модернизаторам не поставить перед собой святотатственный вопрос: отчего образцово-показательная Америка не хочет расстаться со своими сказками?

* * *

И напоследок, на случай, если кому-то мои соображения покажутся недостаточно либеральными. Трагическое мироощущение либерально по своей природе, поскольку отказывает человеку в какой бы то ни было высшей инстанции, обрекая его тем самым на ежедневный и ежеминутный личный выбор. Отличие трагического либерализма от либерализма оптимистического с его лозунгом «Модернизация — светлое будущее всего человечества» прежде всего в том, что трагический либерализм не обещает ничего светлого.

Он обещает лишь грандиозное.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ С ВОСТОКА

В Анкаре, готовясь к первому завтраку, я не мог не вспомнить Марка Твена, пытавшегося закусить в тогдашней турецкой столице в эпоху первой российской либерализации: «Я один раз пытался позавтракать по-турецки, и второго такого завтрака мне уже до самой смерти не захочется. Двери маленькой закуской у самого базара были открыты настежь; тут и стряпали и ели. Повар был грязен, ничем не покрытый стол — тоже. Повар нанизал колбасу на проволоку и положил ее на жаровню. Когда блюдо было готово, он отложил его в сторонку, но тут вошел печальный, задумчивый пес и ухватил кусок; впрочем, сперва он обнюхал жаркое и, верно, признал в нем покойного друга. Повар отобрал мясо у пса и подал его нам. Джек сказал: “Я пас”, — он иногда играет в карты, — и все мы спасовали вслед за ним. Потом повар испек большую плоскую пшеничную лепешку, положил на нее жареную колбасу и направился к нам. По дороге он уронил ее в грязь — поднял, вытер о штаны и подал нам. Джек сказал: “Я пас”. И все мы спасовали. Повар вылил на сковороду несколько яиц и задумчиво поковырял вилкой в зубах, вытаскивая застрявшие куски мяса, — потом той же вилкой он перевернул яичницу и поднес ее нам. Джек сказал: “Опять пас”. Все последовали его примеру. Что же было делать? Мы снова заказали колбасу. Повар вытащил проволоку, отделил соответствующую порцию колбасы, поплевал на руки и принялся за работу. Тут мы все разом спасовали. Мы расплатились и вышли. Вот и все, что я узнал о турецких завтраках».

Дела давно минувших дней, — сегодняшний турецкий завтрак — это чистота, вкуснота и даже теплота, а не простая вежливость обслуживания, особенно если учесть, что подают, как правило, не девушки, а жгучие брюнетки, не видящие необходимости зазубрить сотню английских

ресторанных выражений (им и так хорошо) и возмещающие недостаток познаний терпением и доброжелательностью.

Великий юморист, отвесивший по хорошей затрепщине едва ли не всем святыням за исключением американской демократии, припечатал исламский мир даже еще более жестоко, чем российское самодержавие. Грязь, нищету и болезни он назвал самыми верными признаками мусульманского правления.

В турецких городах, которые мне пришлось объехать, я не заметил ни одного нищего и видел разве что пару человек, которые бы выглядели опустившимися. Разумеется, это не означает, что проблема бедности в Турции решена — при любом процветании какая-то часть населения будет жить беднее прочих, — однако проблемы нищеты и бездомности, похоже, остались позади.

У себя на родине турки не проявляют ни малейшей склонности к социальному паразитированию, в котором их обвиняет нашумевшая книга Тило Саррацина, — так, может быть, развращает их и радикализирует европейская среда? Ибо в метрополии успешная модернизация позволила ядру развалившейся империи обеспечить себя всем, что необходимо для пристойной жизни. Кроме красоты и высоты: архитектура в основном напоминает лужковскую Москву — помесь сундука и аквариума, а в высоту заметным образом устремлены одни лишь минареты, как в современной Москве одни только сталинские высотки. Что неизбежно ведет к усилению ислама в Турции и к романтизации сталинской эпохи в России, ибо ни один народ не может жить ради бытового самообслуживания, он должен постоянно расширять пределы человеческих возможностей, ставить какие-то мировые рекорды, чтобы избавлять своих сочленов от ощущения исторической второсортности.

И советская империя об этом старалась не забывать даже на пороге последней либерализации. Однако презрение к общепиту ее добило.

Потому что он был унизителен. Народ можно обирать ради какого-то высокого дела практически безнаказанно. А вот унижать его нельзя — на длительное унижение он отвечает распадом.

Но что, если он унижает себя сам, принимая унижение за возвышение?

Я не заметил, чтобы турки при всех своих разительных успехах стремились изображать европейцев — даже сквозь сверкающие в телевизоре рок-концерты, при всех европейских вроде бы воплях и корчах, все равно звучит печальный восточный напев. И уровень самоубийств — едва ли не важнейший индикатор экзистенциальной защиты — в Турции сегодня один из самых низких в мире. Зато Южная Корея часто и с гордостью именуется самой западной страной Востока, и тем не менее один из самых высоких в мире уровней самоубийства в этой замечательной стране свидетельствует о том, что пышный титул «западный» не обеспечивает очень уж прочной экзистенциальной защиты. Без которой невозможно человеческое счастье даже при самых выдающихся экономических успехах.

Когда южнокорейское министерство культуры и физкультуры заказало мне книгу о своей стране, я не смог приехать вовремя из-за того, что на переходе к Казанскому собору меня стукнула по колену хоть и легковая, но очень тяжелая машина. Мое столкновение с автомобилем, между прочим, произошло, когда я спешил на Круглый стол по поводу вулкана Эйфьятпопocateпeтль или как там его, на целую неделю отеснившего все прочие новости. Хотя что, собственно, случилось? Ну пришлось европейцам три дня поспать в аэропортах на раскладушке, о чем в советские времена, случалось, мечтал каждый из нас в ночном холле провинциальной гостиницы (не в неге, но в холле). Возведение рядовой неприятности в ранг вселенской катастрофы говорит лишь о том, до чего изнежилась современная Европа — так избалованный ребенок ревет на весь мир из-за оцарапанного пальчика.

Но, что гораздо более удивительно, мир прислушивается к этому реву и транслирует его даже в такие края, где и при благоприятном течении событий люди живут куда менее комфортабельно. А масса народу в какой-нибудь Океании так и вообще и рождаются, и умирают под вулканами. Да только их беды мало кого интересуют, кроме них самих.

Пожалуй, только европоцентрическая цивилизация имеет возможность возводить как свои ценности, так и свои

неприятности в ранг общечеловеческих. Вулканический эпизод еще раз показал, кто хозяин в доме. Кто определяет стандарты важного и неважного.

Те стандарты, что порождают неумолчные толки об экономическом росте-спаде и оттирают сведения о росте-спаде самоубийств, потребления наркотиков, транквилизаторов и антидепрессантов, то есть индикаторы действительного счастья и несчастья, которые зависят не столько от того, что мы едим и на чем спим, а от того, о чем грезим, во что верим...

Блистательные небоскребы Сеула, рядом с которыми даже пышность королевских дворцов начинает теряться у их подножий, — конечно, в этом есть свое величие (хоть и огорчает погоня за евростандартом, когда такая сокровищница архитектурных форм лежит буквально у стандартов под ногами). И вообще, идея Вавилонской башни — будем как боги! — дьявольски обаятельна. Более того, окончательно отказавшись от стремления быть чем-то большим, чем просто человек, мы неизбежно окажемся чем-то меньшим. Скорее всего, не строительство Магнитки и Днепрогэса, а возведение новой Вавилонской башни когда-то и влекло властителей дум европейской интеллигенции в сталинский кабинет. И даже сейчас «бренд» своей страны резко возвысят те народы, которые вновь замахнутся на что-то богоравное. Не слишком, может быть, полезное для здоровья и комфорта (какая польза от покорения Эвереста?), но вызывающее гордость за человека и этим убивающее главного врага нашего счастья — я имею в виду, разумеется, все тот же ужас нашей мизерности в безбрежном и безжалостном космосе.

Но может ли вызвать гордость за человека повторение того, что уже есть? Наша психика устроена так, что новые явления, которые можно классифицировать по уже существующим рубрикам, не производят на нас особенно сильного впечатления — нас поражает лишь создание новых рубрик, новых качеств. Именно поэтому ребенка поражает все, поскольку едва ли не каждая новая вещь порождает и новую рубрику. Увидел первого петуха — потрясение: новая рубрика. А десятый петух, если даже он ярче и крупнее, потрясения уже не вызывает: все равно это пе-

тух, мы примерно такое уже видали. И выдающихся скрипачей мы видали (культурный символ великого скрипача уже есть — Паганини). И каких бы высот новые скрипачи ни достигали, вакансия культурного символа, «первого скрипача» уже занята. И вакансия «первого ученого» тоже занята — какой-нибудь Ньютон либо Эйнштейн. Занята и вакансия «первого живописца» — Рафаэль, Микеланджело, Леонардо (нужное подчеркнуть). И «первого поэта» — Гомер, Шекспир... И «первого прозаика» — Толстой, Достоевский... И...

Да осталась ли вообще хоть одна незаполненная ячейка, раскрывающая какую-то качественно новую грань человеческого образа? Если нет, то все новые сочлены европейской цивилизации навеки обречены на роли пускай и очень одаренных, но все-таки учеников. И единственный способ избежать этой роли — не искать признания слишком уж усердно: стоит народу признать чужой суд над собой, как его примутся судить с удвоенной строгостью. Или с обидной снисходительностью. И если однажды ему и отстегнут от щедрот своих залежавшуюся Нобелевку, то и это будет воспринято как проявление политкорректности.

Давно стало общим местом, что, читая Диккенса, мы чувствуем себя англичанами, читая Ремарка, немцами и так далее. Но вот корейцем, обнаружил я, себя почувствовать заметно труднее. Открывая книгу европейского автора, с первых страниц погружаешься в привычный мир, а в корейском мире то и дело вспыхивают имена и предметы, невольно воспринимаемые как экзотика — читать занятно, а идентифицироваться трудно. Скажем, тот же «маленький человек», беззаветно сражающийся за свое достоинство в мире Ганса Фаллады, носит почти родное имя Йоганнес Пиннеберг, — ясно, что это любой из нас. А вот когда герой по имени Гилнам с братом Гилчуном и сестрой Солле проживает в центральной части Тэгу Чангвандоне, то на одно лишь привыкание и запоминание имен — сестра Мисон, отец Чунхо, брат Мини, сын Чонтхэ-ши, кухарка Ан, сестра Сунхва — уходит полкниги.

Невольно вспоминается разговор двух прапорщиков над списком новобранцев: «Дывысь, Дэрижопэнко, яка смешна фамылыя — Кац». Чувствуя себя этим самым прапорщи-

ком, только и начинаешь понимать, что и русские имена для Запада, по-видимому, так же экзотичны, как корейские для нас. И покуда это так, мы не будем восприниматься там своими.

Но почему же нам европейские имена не кажутся экзотичными?.. Да потому, что мы с детства покорены мягкой силой европейской культуры. Имена Петя Иванов и Катя Латкина входят в нашу жизнь почти одновременно с именами Том Соьер, Бекки Тэтчер, Оливер Твист... «Ты читал про Гельбекерри Финна?» — спрашивал меня приятель классе что-нибудь во втором. Неудивительно, что и в юности нам сразу же казались родными имена Роберта Локампа, Джейка Барнса, Холдена Колфилда...

Для нас, не нюхавших ничего кроме сучка и бормотухи, ром, дайкири и кальвадос становились манящей сказкой, но не экзотической, а родной: мы только из-за несносной власти были их лишены. И в этом отношении Россия, несомненно, принадлежит европейской цивилизации, если даже последняя не спешит это признавать: уже в пору позднего железного занавеса недоступная европейская жизнь представлялась нам не экзотической, но естественной. А те, кто задает стандарты естественности, и есть хозяева мира.

Герой потягивает двойной дайкири, которого мы никогда не видели, — это нормально. А вот если он пропускает стаканчик макколи — это экзотично. Когда героиня носит корсет, которого мы ни разу не видели, — и это нормально. А вот когда на ней надето чогами, когда она расплачивается не франками, а хванами — это экзотично. Черепашков суп — нормально, а твентянгук экзотично, круассан нормально, а пхульпан экзотично...

Бессознательное разделение на норму и экзотику едва ли не важнейший критерий принадлежности к той или иной цивилизации.

Но тогда на ум приходит еретическая мысль: а не принадлежат ли европейской цивилизации только те россияне, кто едва ли не с младенчества начинал читать западную литературу?..

А следом рождается мысль и более практическая: если новая культура желает войти в избранный клуб доминирующей цивилизации (а именно представление о совместной избранности, коллективная система экзистенциальной защиты, смею напомнить, и объединяет культуры в цивилизацию), то самый надежный вход туда пролегает через детскую. Точнее, через детское чтение. Если одной культуре удастся создать героя, которого полюбит детвора другой, «бренд» соблазнительницы стремительно взлетит вверх.

И здесь, пожалуй, стоит вспомнить, что в детской сегодня правят бал не столько книжки, сколько кино, видео, поп-музыка, компьютерные игры...

Чтобы сделать русские, равно как и корейские имена и реалии привычными, снять с них налет экзотики — это работа всерьез и надолго для целого коллектива переводчиков, популяризаторов, распространителей при длительной поддержке государства, понимающего, что достижение привычности, подобно завоеванию любви, не может быть коммерческим проектом.

Равно как и защита собственной культуры. Хотя культурное наследие, не выполняющее главной миссии культуры — экзистенциальной защиты от ужаса ничтожности, обречено превратиться в музейную экзотику, охраняй его или не охраняй. Зато, откуда культура защищает человека, наделяет его чувством собственной значительности, красоты и правоты, любые соблазны для нее не более опасны, чем горох для стены — чужая греза может овладеть только трупом. Если новая культура хочет войти в сложившуюся цивилизацию и не раствориться в ней, она должна принести туда нечто невиданное, расширяющее представления о возможностях человека. Стремление же к цивилизованности, понятое как стремление к ординарности, вернейший способ культурного самоубийства.

И все попытки остановить принуждением распад национальной мечты (непреренно включающей убежденность в собственной уникальности) лишь ускоряют ее гибель, заменяя равнодушие к ней неприязнью, а то и ненавистью. Национальная мечта может возродиться лишь тогда, когда сумеет осуществить более надежную экзистенциальную

защиту, чем ее соперницы, сумеет наделить более мощным ощущением собственного достоинства и долговечности, чем внешние соблазнительницы. И рост ВВП как в качестве соблазна, так и в качестве защиты от соблазна почти бессилен — мы никогда никого не полюбим за что-то материальное, мы полюбим лишь того, кто ослабит наш страх какой-то прекрасной сказкой. Или подвигом, если он сам обернется сказкой.

Подвиг за плечами у корейцев, как и у нас, имеется, и еще какой. Но будет до крайности обидно, если энергия уникального подвига пойдет на умножение ординарности! А стремление уподобиться господствующей цивилизации и не может породить ничего иного, ибо и сама она в своем массовом выражении есть не что иное, как движение от дикости к пошлости. Даже государства, чья миссия творить Историю, то есть созидать нечто бессмертное, сегодня состязаются по самому плоскому и ничего не выражающему показателю — по производству денег. Валовой внутренний продукт, выраженный в деньгах, — о чем он говорит? Выражает он стоимость Парфенона или тысячи бетонных параллелепипедов? Стоимость Девятой симфонии Бетховена или тысячи неотличимых мяуканий и брэнчаний под неотличимые вспышки?

Воистину сбылось: на вес Кумир ты ценишь Бельведерский...

При таких расценках, когда ценность сводится к цене, бельведерским кумирам и взяться будет неоткуда.

Республика Корея, точно так же, как и Россия, сумеет приковать к себе благодарный взор мира, только если ее прежний подвиг породит новый.

Я не исключаю, что эпоха массовых подвигов на какое-то время вообще миновала, настала пора делать ставку на штучных гениев. То есть поддерживать романтиков, устремленных не к воспроизводству уже известного, а к созданию чего-то небывалого. Это и есть разумная культурная политика. А поддерживать тех, кто всего лишь желает встроиться в господствующие культурные структуры, означает тратить дрова на отапливание чужого дома — который, кстати, и от своих дров не знает как отделаться.

Нет, я не предлагаю ни уходить в монастырь, ни возвращаться в крестьянскую избу. Раз уж мир помешался на том, что каждый должен иметь то же, что и все («все», как обычно, означает «немногие» — повелители стандартов), только больше, больше, больше, то нужно это и нам заполучить, чтобы пренебрежение стандартами ординарности нельзя было бы расценить как охаивание недоступного винограда. Но, получив то, что есть у всех, необходимо взяться за нечто такое, чего нет больше ни у кого.

Народ, который считает себя ординарным решительно во всем, не способен обеспечить экзистенциальную защиту: людям лучше уж тогда идентифицироваться с лидером, с оригиналом, а не копией. Это и есть культурное поглощение — чужая жизнь начинает казаться более красивой, чем своя.

В судьбе России много общего с судьбой Кореи, они стояли перед сходными вызовами и справились с ними в разные сроки, разной ценой, а главное — только на время: теперь перед ними снова стоят сходные проблемы.

И тот и другой народ оказались между высокоразвитой цивилизацией, способствующей развитию, но и грозящей культурным поглощением, и цивилизацией военной, грозящей поглощением физическим — для Кореи это были Китай и Япония, а для России Европа и Степь (при том, что и культуртрегеры иной раз доходили до самой Москвы). В итоге Корея была поглощена, а Россия выстояла и перед военной экспансией, превратившись в военную державу, и перед экспансией культурной, создав аристократию, способную успешно конкурировать с европейской культурой, по крайней мере, внутри страны, а кое в чем — прежде всего в литературе — даже и вовне. Но цена независимости оказалась огромной: война требует презирать человеческую жизнь и комфорт, а мирная жизнь требует ровно обратного. В значительной степени поэтому Корею было легче преодолеть свое поражение, чем России свой успех.

Но теперь культурное поглощение угрожает им обоим. А оборонительной силы ни в виде погруженного в национальные сказки патриархального крестьянства, ни в виде гордой просвещенной аристократии уже нет ни у той, ни

у другой. И возродить патриархальное крестьянство задача совершенно неисполнимая (и к тому же лишившая бы страну экономической конкурентоспособности). Задача же возрождения национальной аристократии — общественно-го слоя, одновременно влиятельного, культурного и патриотичного — задача непростая, но все же, на мой взгляд, осуществимая.

Общая задача, которую каждому государству придется решать своим особым методом. Если они не хотят раствориться в окружающей среде.

В борьбе с подступающим растворением у России и у Кореи есть свои слабости и свои преимущества. Русские при крайне ослабленной религиозной защите неизбежно нуждаются в защите национально-государственной; корейцы же, отчасти нашедшие утешение в иноземной религии — пресвитерианстве, нуждаются в слиянии с государством гораздо меньше. Тем более что они неизмеримо более сильно связаны со своими предками (во время праздника Чхусок вся Корея отправляется к могилам предков, билеты заказывают за месяц), но родовая, клановая сплоченность все же не есть сплоченность национальная. Не говоря уже о том, что в родовое единство невозможно влиться многочисленным мигрантам, а проблема их ассимиляции скоро, возможно, станет одной из важнейших как для России, так и для Кореи. А потому объединяющие верования должны быть открытыми и для чужаков — иначе они постараются как можно сильнее отравить жизнь хозяевам дома, где они чувствуют себя гражданами второго сорта.

Если не они, то их дети.

Значит нам нужна уникальность, открытая всем желающим.

Такие вот заказы нам снова и снова выдает история: явитесь не голыми и не одетыми, принесите то, не знаю что. А назавтра я обращу добытое потом и кровью золото в груду черепков. А черепки, наоборот, обращу в золото.

И вечный бой, покой нам только снится.

Европе тоже снится культурное поглощение выходцами с Ближнего Востока. Чернь на это уже отвечает вспышками погромов, ненавистью к собственным космополитически настроенным либералам (Брейвик, боюсь, только первая ласточка) и даже в уважаемых кругах уже обсуждают меры, которые бы вынуждали иммигрантов ассимилироваться. Однако, напоминаю, главное орудие ассимиляции все-таки не принуждение, но соблазн. А сегодняшней Европе нечем соблазнить пришельцев — не издали, а изнутри. «Продемонстрируйте сначала, что вы красивее и счастливее нас», — если не думают отчетливо, так чувствуют чужаки. Да, да, чтобы ассимилировать, надо обольщать! А что в нас обольстительного — и в европейцах, и в россиянах, включая русских европейцев? Еще раз напомним, что когда кавказские джигиты, десятилетиями сражавшиеся с российской армией, со временем превратились в самые надежные ее подразделения, то обольстил их не русский мужик, не мещанин и не интеллигент, но русский аристократ, не уступавший горцам в доблести. Именно аристократия каждого народа есть главное незримое орудие и ассимиляции, и контрассимиляции.

Вытеснение конкуренции сотрудничеством, вовлечение конфликтующих этносов в захватывающее историческое дело, формирование полинациональной аристократии, способной пленять и обольщать, — или уж отделение сильных от слабых, успешных от неуспешных стеной если не материальной, то хотя бы информационной, — я не вижу других путей для ослабления межнациональной и межрасовой ненависти.

Максимальный информационный апартеид. С глаз долой — из сердца вон. Это, по крайней мере, оттянет взрыв.

И притом останется надежда, что когда глаза в конце концов откроются, для взрыва уже не будет сил. Проигравшая культура уступит пьедестал, не успев хлопнуть дверью погромов и концлагерей.

Жалко ее, сердешную, конечно, но погромы и концлагеря все равно бы ее доконали. Европа, отстоявшая себя гитлеровскими методами, была бы уже совсем не той Европой, которая живет в сказках русских европейцев.

СОДЕРЖАНИЕ

РУССКИЕ, ЕВРОПЕЙЦЫ, РУССКИЕ ЕВРОПЕЙЦЫ	
ЗОЩЕНКО И ЕВРОПА.....	7
ЕВРОСТАЛИНИЗМ.....	15
КОММУНИЗМ, НАЦИОНАЛИЗМ, ЛИБЕРАЛИЗМ —	
КОНКУРЕНЦИЯ ГРЕЗ.....	20
ГЕНИИ ПРОТИВ СЕПАРАТИЗМА	31
ЗВЕЗДНАЯ КВАДРИГА	45
Великий кормчий.....	45
Памятник всем известному солдату	55
Третий путь	65
Противоположности суть дополнения	77
ВДОХНОВИТЕЛИ И СОБЛАЗНИТЕЛИ.....	90
Немецкий экспрессионизм в советском зеркале	90
ИСКУССТВО ГОСПОД.....	105
Сюрреализм — это я	105
Гвардия сюра	123
Щи из топора.....	129
СПАСИБО ПАРТИИ!.....	135
ТРИ АМЕРИКИ	149
Звездное трио.....	149
Без банкиров и раздолбаев	158
АВАНГАРД АРЬЕРГАРДА.....	163
Fortissimo огромного оркестра	163
Искусство вас не спрашивает	168
Знающий глаз	173
ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПЛЕВКИ	178
Янки в гарольдовом плаще.....	178
Странствующий рыцарь	184
Герой и создатель	188
ФАБРИКА ФАЛЬШИВОГО ЗОЛОТА	195
КАЛЕННЫЙ КЛИН.....	205
Устами младенцев глаголет национальная вражда	205
Не надо дразнить детей	218
Три послания	226
О национальной стыдливости великороссов	238
Двойные стандарты и народное перевоспитание	244

ЗАВАЛ ОБИД НА ПУТИ К ОБЩЕЙ СКАЗКЕ.....	255
В уяснении	255
В уяснении уяснений	259
Этапы большого пути	264
УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА.....	287
ГЛАВНЫЙ СОВЕТСКИЙ ЕВРОПЕЕЦ	292
ОСОБЫЕ ПУТИ ИЗ-ПОД ОСОБЫХ КРЫШ	311
МОЖНО ЛИ УМЫВАТЬСЯ ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА?	325
ОГЛЯДЫВАЯСЬ С ВОСТОКА	333

**«ПУШКИНСКИМ ФОНДОМ»
В СЕРИИ «ИМЯ СОБСТВЕННОЕ» ВЫПУЩЕНЫ:**

- **К. Победин.** Поэмы эпохи отмены рабства
- **А. Генис.** Темнота и тишина
- **О. Шамборант.** Признаки жизни
- **А. Генис.** Пейзажи
- **С. Лурье.** Успехи ясновидения
- **О. Шамборант.** Срок годности
- **О. Исаева.** Мой папа Штирлиц
- **В. Соснора.** 15
- **С. Гандлевский.** Странные сближения
- **С. Лурье.** Нечто и взгляд
- **С. Лурье.** Изломанный аршин

**В СЕРИИ КНИГ «ЗЕРКАЛО»
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ТОМА:**

- **В. Яновский.** Поля Елисейские
- **Б. Ахмадулина.** Однажды в декабре
- **С. Гандлевский.** Трепанация черепа
- **В. Соснора.** Дом дней
- **Е. Шварц.** Определение в дурную погоду
- **А. Битов.** Дерево
- **С. Гандлевский.** Поэтическая кухня
- **В. Соснора.** Книга пустот
- **В. Соснора.** Камни NEGEREP
- **И. Бродский.** Горбунов и Горчаков
- **Л. Петрушевская.** Карамзин деревенский дневник

**ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ
ТАКЖЕ ВНЕСЕРИЙНЫЕ КНИГИ:**

- **В. Кальпиди.** Ресницы
- **Б. Ахмадулина.** Зимняя замкнутость
- **Л. Лосев.** Стихотворения из четырех книг
- **А. Ерёмченко.** Горизонтальная страна
- **Гильгамеш.** Аккадское сказание
- **А. Цветков.** Дивно молвить
- **Е. Шварц.** Сочинения в 4 томах
- **С. Гандлевский.** Найти охотника
- **Б. Рыжий.** Стихи
- **В. Соснора.** Всадники
- **В. Павлова.** По обе стороны поцелуя
- **М. Дидусенко.** Полоса отчуждения
- **Н. Уперс.** Апокрифы Феогнида
- **А. Березин.** Пики-козыри
- **Т. Кибиров.** Внеклассное чтение
- **А. Березин.** Самоорганизация материи
- **Е. Мороз.** Евреи и Рим
- **А. Мелихов.** Колючий треугольник

М47

Мелихов А.

Колючий треугольник.

— СПб.: «Пушкинский фонд», 2013. — 348 с.

ISBN 978-5-89803-232-6

ББК 63.3(0)3

Мелихов Александр Мотелевич

Колючий треугольник.

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 2013

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071541 от 21 ноября 1997 года

«Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

ПУШКИНСКИЙ ФОНД